



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (490)

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Аркадий Штыпель. Восьмистишия.....	3
Владимир Шапко. Настольная памятка по редактированию замужних женщин и книг. <i>Роман</i>	11
Игорь Силантьев. Молоко и трава и жить. <i>Стихи</i>	110
Илья Оганджанов. Радио Шансон. Дребезги. Аттракционы. <i>Рассказы</i>	116
Люба Макаревская. Девять песен. <i>Стихи</i>	124
Марина Бувайло. У нас на районе. Квартира 13. <i>Рассказы</i>	131
Павел Чхартисвили. Букетик от Рамуте. <i>Рассказ</i>	135
Эдуард Розенштейн. «Такие романы хорошо идут в Германии...» и др. <i>стихи</i>	140
Иван Гобзев. Моя демонка. <i>Рассказ</i>	145
Татьяна Нешумова. «Душа обитает, а тело живет...» и др. <i>стихи</i>	150
Александр Вергелис. Сквозняк. <i>Рассказ</i>	153
Александр Корамыслов. «НБ» и др. <i>стихи</i>	156

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Андрей Таюшев. «В кинотеатре “Победа” похожем на праздничный торт...» и др.....	160
Геннадий Кацов. «династия мин разгромлена, универсам закрыт...» и др.....	161
Павел Рыбкин. Из цикла «Стихи к сыну».....	164

ПЕРЕВОД

Андрей Корчевский. Падая и поднимаясь.....	170
Дэвид Довалос. Кто-то и компания, или Темнопад. <i>Перевод Андрея Корчевского</i>	171

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Татьяна Грауз. Айги – Мандельштам: в могучей и блаженной нищете (разрозненные заметки).....	214
---	-----

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Валерий Шубинский. «С поэзией никогда не бывает благополучно». <i>Беседа с Борисом Кутенковым к выходу книги: Валерий Шубинский. Тёмная ночь</i>	220
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Владимир Коркунов. Вывернутая перчатка мира <i>О кн.: Павел Кричевский. Над плечами минут</i>	225
---	-----

Юрий Рыдкин. Поэзия равновесия <i>О кн.: Александр Уланов. В месте здесь</i>	227
--	-----

Алексей Мошков. «Боже, прекрасен твой мир» <i>О кн.: Максим Матковский. Бельё землян</i>	230
--	-----

Елена Елина. «В амфоре, ярко расцвечённой...» <i>О кн.: Монахов С.Ю., Кузнецова Е.В., Толстиков В.П., Чурекова Н.Б. Амфоры VI–I вв. до н.э. из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина</i>	233
--	-----

Аркадий ШТЫПЕЛЬ

ВОСЬМИСТИШИЯ

1.
сонной тетерей
ляг на бочок
серый волчок
в вене катетер

вене не больно
луч маячок
тень безглагольна
ляг и молчок

2.
кумач или глазет
в сухом остатке вечность
всю вечность бы глазеть
на буфера буфетчиц

на бу- на буфера
и все такое прочее
и вроде бы вчера
а дальше многоточие

3.
позор позор позорище
щелястые года
то мнется то топорщится
а вроде ерунда

а вроде бы сбежала бы
соленая вода
ни похвальбы ни жалобы
ну да нудануда

Аркадий Штыпель родился в 1944 году в городе Каттакургане (Узбекистан). Детство и юность провел в городе Днепрпетровске, ныне Днепр (Украина). Учился на физическом факультете Днепрпетровского университета. В 1965 году был исключен из университета за литературную деятельность. После службы в армии закончил учебу заочно. С 1968 года жил в Подмосковье, затем в Москве. Работал инженером, а также учителем математики, уличным фотографом, наладчиком, сторожем. Первая публикация в 1990 году в антологии «Граждане ночи». Публиковался в журналах «Арион», «Воздух», «Новый мир», «Волга». Автор пяти поэтических книг, книги переводов сонетов Шекспира, а также вышедшей в Киеве книги переводов русской поэтической классики на украинский язык. Неоднократный победитель поэтических слэмов.

4.
в старческих мокроступах
вышел в тираж в разряд
тугоухих беззубых
уж и этому рад

вот так и сложишь замри
зеленым богомол
небес по счету три
с железным дыроколом

5.
точенная листва
и ветер впопыхах
толченная трава
балдеть и припухать

серебряная ветвь
на ней слепые груши
не лучше ль протрезветь
не лучше

6.
чудной какой-то грач
не то ворона черная
и улица нагорная
и волейбольный мяч

и профиля сурового
неправильный овал
своровывал своровывал
да не уворовал

7.
лампочка вполнакала
и плита с живым огнем
с конфоркой алого накала
еще б взгрустнуть о чем

о своей ли телесной малости
когда за окном снега
на железе цвета побежалости
и корявое слово кочерга

8.
на виноград садились осы
бродили кошки по двору
и нас тревожили вопросы
которые не ко двору

два полотенца на ветру
и все вопросы безголосы
припомнишь разную муру
и танго: *дымок от папирсы*

9.
попыхиваешь как паровоз
ведешь воображаемые диалоги
вопрос ответ ответ вопрос
в доме тепло но ноги

зябнут и тут всплывает слово зябь
за ним накатывает слово зыбь
следом открывается слово хлябь
а за ним рябь голубь глыбь

10.
все устаканивается все
возвращается на круги
крутится-вертится колесо
и притормозить не моги

то в садах соловьи то на реках забереги
пялишься в экран домосед и нытик
чудеса-шмудеса глаза береги
а наука умеет много гитик

11.
стих отухав
стих ждет эха
аха оха эха
набор букв

набор звуков
стонов смехов
клавишью отстукав
на отточье съехав

12.
глядишь сугробы подрастают
и облачко аэростат
и человечки подрастают
с чего бы им не подрастать

с чего б с уроков не сбегать им
когда не выучен урок
и облако плывет фрегатом
и небо движется у ног

13.
гуляют тени веток
каляк-маляк

можно так и этак
и наперекосяк

все можно был бы толк бы
глядишь и повезло
алхимические колбы
копченное стекло

14.
ничего не будет ничевок
кочумай чудить и кочевряжить
лопается слово-новичок
вечность изливается в овражек

отмотав отбормотав избыв
позабудешь вечные обиды
свилеватые стволы олив
римский ветер мартовские иды

15.
канули в никуда пальто из драпа
с их цигейковыми воротниками
все случилось некуда драпать
время деньги сердце не камень

вот человек аксоны синапсы
дата черточка дата а кругом чернота
что ж ты милая смотришь искоса
с сигаретой у бледного рта

16.
секретики скелетики в шкафу
жгучие такие тайны
ненароком бочком на фуфу
все связи случайны

счастливый случай несчастный случай
порой случается связный текст
кто везучий а кто невезучий
бог не выдаст свинья не съест

17.
острого воздуха хлеба ли черствого
не фильтруй музон
не резон резонерствовать
резонировать не резон

глаз на резкость наводит голубь
глядя зрением боковым
вот и скатался снежный колоб
чисто звуком как таковым

18.
бутылочка бутылочка
крутись давай
притирочка развилочка
месяц май

время самолучшее
природы торжество
все это дело случая
и больше ничего

19.
было дело загорали
было дело было де
уж зима не за горами
в посеребренной ладье

что случилось с тем и маяться
гаснут годы и гнетут
вроде как бы эмиграция
где уже ни там ни тут

20.
распылались сухие колеры
листопад такой листопад
наступает радость горе ли
жаль на палый лист наступать

что ли давняя вспыхнет досада
дивная дева обида
средняя группа детсада
девочка фрида

21.
балконные балясины
куда ни кинешь взгляд
цветные свистоплясины
мигаючи горят

кислотным или гниlostным
окрашена кудель
огни москвы огни москвы
злопамятный коктейль

22.
свернись личинкой эмбрионом
а на дворе играют в мяч
и как во время оно
долдонит в голову не плачь

вот так калачиком свернись-ка
ведь сам уже тертый калач

а мяч летает где-то близко
и ничего не клянчъ

23.

два лопауких сопляка
любой контекст случаен
пора покровы совлекать
и приобщаться таин

кому какой с того ущерб
когда свободным выпасом
цветущий отрочества герб
на всех заборах выписан

24.

замочи заливай да сливай
хрусток соленый груздь
теплятся ласковые слова
тихая грусть

засоли да на зиму прибереги
водочка хлебушек ржан
осень гонит горожан по грибы
гонит по грибы горожан

25.

струйка дыма а то и колечко
запечатлены навечно
папироса казбек
прошлый век

прошлый снег
а на нем человек
понимаем конечно
все на свете конечно

26.

сурик охра
сыро мокро
лист палый
пятипалый

тут меж туч
зажегся луч
гуляй ханурик
охра сурик

27.

древний печной горшок
с барахолки взятый
его копченый бок
украшает пенаты

скучает по живому огню
по гуденью печи в дому
а к чему я это клоню
сам не знаю к чему

28.
не кисни не кисни
а кто без греха
мысли не мысли
а так чепуха

дунуть плюнуть
глядеть бодрей
трудно не думать
думать трудней

29.
осеннее быстрое солнце
листвы дымок
просится рифма оконце
время выдумок

о том чего не случилось
что бы там ни случилось
вот и солнце отлучилось
на ночь отлучилось

30.
и месяцы миги
и книги вериги
а было в карманах
крутили фиги

плясали буги
на сладком юге
плясали вьюги
в глазах подруги

32.
как млел немел как
ни дать ни взять
ничто не мелко
при взгляде вспять

время в проточинах
там звук глух
тает на обочинах
тополей пух

33.
прошлого нет
нет и не на

след ли не след
смыла волна

все имена
просто слова
вспомни меня
если жива

32.

я ли не колдун
затейник не я ли
все семнадцать лун
разом поскакали

вот и кот баюн
и глиняный голем
доставай колун
новых лун наколем

33.

стрептоцид люголь
аптекарского племени
вот стоит глагол
в почтипрошедшем времени

обремененный знанием
прошедшим почти
нечаянным вниманием
ты его почти

34.

вот день непрожитый еще
блестит как новый гвоздь и
гремит железо и еще
сиреней крепнут грозди

в цвету бульвары и сады
опохмеляются земли
и музыка на все лады
и вкус молочной карамели

35.

эту планету
окутала дымка
бродит по свету
смерть-невидимка

сказка-опаска
китайская фирма
потная маска
больничная ширма

НАСТОЛЬНАЯ ПАМЯТКА ПО РЕДАКТИРОВАНИЮ ЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН И КНИГ

Роман

Глава первая

I.

Яшумов устало снимал в прихожей зимние ботинки. Сначала левый. Затем правый. Снял шапку. Прицелился, кинул на олений рог. Довольно ловко. Не промахнулся.

Бездумно посидел. Поднялся, вошёл в гостиную.

На столе под светом люстры было брошено женское чаепитие. Как всегда – неприглядное. Пустые чашки с лапками ложек кверху походили на побитых цыплят. На целый побитый выводок. Толстый торт резали как попало. Почему-то кухонным длинным ножом. (Сверху, что ли, рубили?) Сам нож-палач валялся здесь же. Как пьяный. Весь в креме, в крошках... Это называется – попили сороки чайку. Хорошо, что без бутылок сегодня. Без пепельниц, без сигарет. Курильщицы и выпивохи Гулькиной, значит, не было.

Принялся собирать и уносить всё на кухню. Труп торта забил в холодильник. Остальное мыл под лейкой в раковине. Зло протирал блюдца и чашки. До хруста фарфора, до плача. С полотенцем походил на обиженного бармена за стойкой.

– Ты уже дома? Извини, не успела убрать. Девочек провожала до метро.

«Не успела» она. Седьмой час вечера. Целый день просидела с подругами. Конечно, все дружно удрали из своего бибколлектора.

Освобождается от тёплой кофты по колено. Женская зимняя шапка на голове – как шалаш Ильича, по меньшей мере. В Разливе.

Но о чём можно было столько времени трещать? Уму непостижимо!

Ещё на лестнице почувствовала – дома. Наверняка на кухне. Точно. Уже работает. Помыл, теперь протирает блюдца и чашки. Лицо – в сторону. В упор не видит жену. Раздевшись, попыталась забрать полотенце и чашку. Какой там! Локти выставил. Как мальчишка. Ни за что не отдам! Лишь бы повод был надуться.

Сидела в кухне. Рядом с обиженным. Изображала заботливую жену. Пододвигала еду. Всё время молочник со сметаной. Участиливо расспрашивала о работе. Как там Акимов? Опять доставал? Однако дундук кривил губы. На всё – односложно: да, нет. И косит, главное, опять в сторону. Ну, чего там увидел? Мартышку свою на календаре? Или петуха рядом? Расфуфыренного? Всю кухню календарями оклеил. И ведь не снять. Не содрать со стен. Не даёт. Как за кровное, за календари свои хватается. Три года назад таким не был. Стены кухни были в красивый цветочек. Теперь всё заклеил!

Владимир Шапко родился в 1938 году. Окончил Уфимское музыкальное училище. Печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «День и Ночь», альманахе «Енисей». С 1997 года – постоянный автор журнала «Волга». Автор книг «Деревенский городок» (1991), «Муравейник Russia» (2012), «Лаковый "икарус"» (2015). «У подножия необъятного мира» (2017). В 2018 году переехал из Усть-Каменогорска в Ейск. Предыдущая публикация в «Волге» – повесть «Переезд» (2019, № 9-10).

Яшумов ел. Вчерашние сырники. Жена раздражала. Жена на глазах превращалась в *эту женщину*. которая непонятно как тут оказалась. В его кухне. В его квартире. А ведь когда-то он любил её. После загса в свадебном лимузине даже целовал. При всех, кто ехал в длинной машине. Один раз, если пошло выразиться – поцеловал *взасос*. Захотелось даже высунуться из окна и прокричать что-нибудь дикое. Как это делают молодые. Но вовремя одумался. Словом – любил. А теперь риторика без ответа: правда ли, что это всё было с ним, Яшумовым?

Косился. На эту женщину. Шапка волос вокруг лица и лба – будто чёрная муравьиная армия. Как можно добиться такой густоты муравьёв? Три года назад были локоны. Притом жёлтого цвета. Полное перевоплощение. Этой Женщины. И ещё лезет. Всё время двигает молочник. Ну вот – опрокинула. Жидкая сметана хлынул на живот. На выходные брюки. А?

– Сейчас я! сейчас! не вставай!

Работает полотенцем на животе, на брюках. Стареется. А? Куда я теперь? Не успел переодеться в домашнее. Идиот.

– Да дай тряпку! Я сам.

Пошёл в ванную. Снял брюки, бросил в машинку. Туда же рубашку. Вернулся. В майке и трусах, носки на ногах – шахматные. Жених. Прошу любить и жаловать!

Уселся. Упорно доедал сырники. Кидал по одному в молочник и оттуда вычерпывал. Большой ложкой. Будто прямо сейчас разучился культурно есть!

Женщина молчала. И Эта женщина, и не Эта.

– Хорошо, Жанна. Прости. Сам виноват. Нужно было переодеться.

Вскочила, сзади обняла, прижала голову. Где-то вверху глубоко задышал катарсис. Мяла лицо. Обеими руками. Работала вслепую. Скульптор Мухина. Что-то должно получиться. Рабочий с молотом. Как мог, удерживал: «Ну-ну, успокойся. Прости». Но всё равно мяли. Ещё сильнее.

– Да хватит, Жанна, хватит! – грубо оттолкнул руки.

Женщина раздувала ноздри. Женщина не знала уже, что сделать ещё, чтобы этот козёл относился к ней по-человечески.

Тем не менее после ужина как ни в чём не бывало сидели на диване перед телевизором. Голова с чёрным муравейником уютно устроилась чуть ниже плеча мужчины.

Показывалось удивительное зрелище. За катером по реке летел на доске мясистый бульдог. Серьёзный, бесстрашный. Непонятно как, но держался на голой доске. Впечатав в доску все четыре лапы.

Жанна начала смеяться, фыркать. Яшумов серьёзно пояснял:

– Есть люди, занимающиеся этим. Есть даже редкая специальность: *инструктор по сёрфингу для собак*. Эти люди обучают братьев наших меньших освоить доску для движения по волнам.

Жанна начала подкидываться. Но Яшумову мало:

– Есть ещё одна редкая специальность у мужчин. *Продавец слёз*. Это специальный плакальщик в азиатских странах. Который работает на похоронах. Его зарплата зависит от интенсивности плача и драматургии действия. Больше всех получает человек, который громко рыдает, рвёт на себе одежду и падает от «горя» на землю.

Жанна встала, согнулась в три погибели и пошла из комнаты, дёргая ногами у живота. Видимо, в туалет.

2.

В полной тьме запыкал будильник. Шарила, шарил по тумбочке. Придавила.

Лежала, приходила в себя. Сегодня у зануды библиотечный день. Должен быть дома, лежать рядом. Но рука чувствовала только холодную простыню. Ни свет ни заря смылся на работу. Как всегда. Чтобы пялиться из окна на свою зимнюю Мойку. Делать всякие селфи на фоне её. Или во-все – пойти на канал Грибоедова и стоять на мосту о четырёх львах. Принимать вместе со львами энергию космоса. Рассказать девчонкам – не поверят.

После всех туалетов в ванной – быстро одевалась. Кот мяукал, путался под ногами. Сыпанула ему в чашку.

Быстро ела завтрак. Приготовленный занудой. Опаздывала. До коллектора хоть и на метро, но нужно прогнать четыре остановки. А другой зануда – Шубин – ох не любит, когда «его девушки» опаздывают. На входе всегда стоит. Усатый, строгий. Как швейцар.

Скатывалась по лестнице с четвёртого этажа. Лестница широкая, но старуха Тихомирова всё равно шарханулась к стенке. Прижала к груди свою моську. В тёплом жилетике и пинетках.

– Здравствуйте, Марья Николаевна! Как наша Берточка сегодня?

Успела даже сделать Берточке «козу»: «Ах ты моя милая!»

– Р-рииии! – ответила собачонка.

Яшумов стоял у окна, смотрел со второго этажа на зимнюю Мойку. Пепельно-голубой гладкий лёд в реке походил на стиснутое небо, упавшее меж берегов. Дома на левой стороне от изморози и солнца стояли белыми, слепыми.

Захотелось сфотографировать (*сфоткать!*) это редкое для Петербурга погожее утро. Небесный лёд, осолнеченные дома.

Достал телефон. Начал отстранять от себя, выцеливать, наводить. Но сзади зазвонил редакционный.

Пришлось вернуться к столу. Снял трубку. Галя из приёмной Акимова: «Глеб Владимирович, доброе утро. Вас Анатолий Трофимович опять вызывает. По поводу Савостина».

Быстро собирал рукопись проклятого Савостина. Поглядывал то на Бунина, то на Алексея Толстого. Рядом на стене. Как на чудотворные иконы. Поддержите, оградите от графомана. Потянулся, чтобы схватить блокнот и ручку. Зацепил стопку папок на столе (папки полетели на пол). Мимо папок из кабинета.

Быстро шёл вдоль всей редакции. Вдоль плохо организованных столов, моноблоков, телефонов и сотрудников.

Как в контраст, впал в громадный кабинет Акимова.

Сидел с бумагами у груди – словно с увечными голубями. Под потолком дворцовым, поднебесным. Но даже там не полетят. Как ни старайся, ни лечи.

За большим столом кругленький Акимов гневался. Голова его без волос имела вид красного пузыря с маленькими ушками, носиком и ртом:

– Глеб Владимирович, сколько можно говорить! Почему вы терроризируете Савостина? Он опять приходил. Чуть не плакал.

– Кто? Савостин чуть не плакал? Ха! Ха! Ха!

Директор издательства смотрел на главного редактора. Непокорного. Очки главреда зло-радно поблескивали. Ну натуральный Берия, чёрт побери! Хоть и нос картошкой. И голову будто накрыли сивым сеном.

– Ну вот что, Глеб Владимирович, как хотите, а к 20-му рукопись должна быть готова! Всё! Срабатывайтесь с Савостиным. Найдите с ним общий язык, в конце концов!

– С кем? С Савостиным? Да вы послушайте, как он пишет.

Яшумов начал искать в бумагах на груди. Убийственную компрометацию на Савостина. Убийственный абзац. Предложение. Слово. «Сейчас. Подождите». Бумаги посыпались на пол. Опять.

Яшумом приседал, собирал по паркету листы Савостина. Как будто каялся. Гипертонический пузырь за столом надувался, постукивал карандашиком.

Собрал листы главный редактор. Без всяких церемоний раскинул на столе начальника. «Вот. Навскидку. Послушайте: “Артур улыбался Регине крупными зубами...”» Держал лист чуть в стороне от себя (вынужден был его держать), ждал, когда директор переварит перл.

Акимов напрягся:

– Ну... ну поправить же можно. Например: «Артур кивнул ей, обнажив крупные зубы».

– Обнажать можно тело, даже душу, но не зубы, Анатолий Трофимович.

Поднял второй лист перед собой: «Изнасилованные девушки были возбуждены и казались... почти весёлыми...»

– Продолжить, Анатолий Трофимович?

– Не надо.

Яшумов собирал рукопись.

Уходя, посоветовал:

– Пусть наймёт литературного раба. Раз так жаждет напечататься. Тот, может быть, и состряпает что-нибудь.

Акимов остался за столом. Как объяснить этому упрямому дураку, что Савостин из команды губернатора!

Яшумов опять шёл вдоль редакции. Сотрудники, как мыши лапками, аплодировали. Почти все они уже прошли через Савостина. Отбились. Теперь очередь Главного. Героя. Тореадора.

У себя Яшумов собрал с полу все папки. Листы Савостина бросил на подоконник. Подальше с глаз. Сегодня хотя бы будет передышка.

Не тут-то было. Как только начал читать рукопись Голубкиной Галины – стоящую рукопись – в дверях появился Савостин. Повесил модную шубу (лохмы первобытного человека!) на вешалку. Предстал перед редактором в шейном платке, в рубашке апаш, в обтягивающих кальсонах цвета беж. По внешнему виду – классический графоман. Желаящийся выделиться в серой толпе. У зеркала взбадривал модного петуха на голове. Как допускают в таком виде к губернатору – непонятно. Наверное, переодевается. А петуха зализывает. Ну а здесь всё можно – во всей красе.

Наконец сел. Через стол протянул руку. Куда же тут? – пришлось пожать.

Редактор помимо воли хмурился. Сказал, что после всех домашних исправлений автора стало ещё хуже. Автор сразу выпрямился и побледнел. В подтверждение своих слов редактор стал выискивать в рукописи не просто блох, нет – бесстрашно вытаскивал на свет целых крокодилов. «Вот вам некоторые примеры. Из самого начала: “Вдруг сердце Артура судорожно забилося”. Было подчеркнuto мною *судорожно забилося*. Вы исправили: “Вдруг сердце Артура в *судорогах* забилося”. Дальше. Через страницу. Подчёркнуто: “Возмущённый Артур светил во тьме *взглядом*”. Вы исправили: “Артур светил во тьме *глазами*”. Опять. То “зубами улыбается”», то “глазами светит”. Ну и вот наконец. Жирно подчеркнул: “Она портнихой Артуру представилась. А он ей – электрический монтёр”.

– Видите, слышите?

Но Савостин не видел, не слышал, не понимал. Принялся защищаться, спорить, агрессивно наступать. Да я! да у меня! Да обо мне даже Даниил знает! (Да. Покойный.) Да у меня два высших образования! Два диплома! (Точно. Купленных в переходе.) А вы тут! (Окопались.)

Редактор смотрел на автора с петухом на голове... Мужской сделанный утром макияж не скрыл, что парню уже за сорок – на лице проступили морщинки. И под глазами, и на подбородке...

Неожиданно Яшумов сказал:

– Может быть, вам бросить писать?

Савостин вскочил:

– Да как вы смее! Кто вы такой? У меня три романа напечатано! (Точно. За свой счёт, – пригибался от крика Яшумов.) Куча рецензий! Положительных! (Да. Все оплачены.) Я грант получил! (Правильно. Губернатор дал. Непосредственный начальник.) Да вы обязаны напечатать мой роман. Обязаны! Я жаловаться буду, в конце концов! (Конечно. Своему губернатору. Чтобы тот всю редакцию выпорол.)

Яшумов кипел, сдерживался из последних сил. Хотел сказать этому попугаю, что он, Яшумов, не с неба упал в издательство. На этом стуле сидит как раз для того, чтобы разоблачать всяких графоманов. Его долго учили этому. И в университете, и в литинституте в Москве. Писатели, профессора. Учили любить Слово, любить Литературу. Оберегать, защищать её от всяких проходимцев. Поэтому он имеет право сказать так называемому автору прямо в лицо: ваш роман, уважаемый, – издевательство над Литературой. Издевательство над Словом. И пока он, Яшумов, здесь – графоманы не пройдут. Даже с грантами, с губернаторскими крышами...

Всё это пронеслось в голове. Вслух сказал:

– Я не буду с вами спорить и что-то доказывать. – Хотел сказать, бесполезно, но удержался. – Я уже сказал Акимову: вам поможет только костолом. Он всё сделает.

- Это кто ещё такой?
 - Литературный работник. Писатель. Сидящий на мели. Найдите такого. Он сделает что-нибудь из вашей... рукописи.
 - И что – я – с грантом – должен ещё и заплатить кому-то?
 - Да, только так.
 - Да не будет этого никогда!
- Савостин хватал свои листы.
Яшумов устало сказал:
– Воля ваша.

В обед теснился на раздаче в кафе самообслуживания неподалёку от редакции. В затылок дышал Григорий Плоткин. Оба с большими подносами в рисованных цветах, как, по меньшей мере, с красивейшими индulgенциями к вкусной еде. Плоткин советовал главреду взять тарелочку с пятью кружками колбасы. Колбаски. Копчёной. «Вкуснейшая, Глеб Владимирович. Уверяю вас!» Разрезанное крутое яйцо заодно подсовывал. Облитое майонезом. «Язык проглотите, Глеб Владимирович!» Но Яшумов противился, отвергал, брал хоть какое-то подобие диетического. Салатик из свёклы, сметанку в стаканчике, борщ и котлетку без гарнира. И компот. Пресловутый компот. Вместо кофе, как у Плоткина на подносе.

Уплатив, расположились возле высокого окна с мельканием зимних чёрных людей. Плоткин убежал с подносами к специальному столику. Бросил там их без всякого уважения.

Уселся. К колбаске. К крутому яйцу в майонезе. К железной лопатке с залитым соусом бефстроганов и к крепкому кофе. Ну и обжорка тощенький мужчина. Яшумов не уставал удивляться аппетиту коллеги.

– Как сегодня Савостин? Как прошла битва за Слово? Отважно отбились, Глеб Владимирович? Или пришлось бежать с поля боя? – (Декларация Яшумова о Слове, о Литературе с большой буквы – была известна всей редакции.)

Яшумов смотрел на весёлого, хорошо закусывающего Плоткина. Рассказывал, как прошло всё. Что опять был скандал.

– ...А ведь это всё вы, Григорий Аркадьевич. Это вы его вывели на наше издательство. Прямо за рукав. Если б не вы – может и прошёл бы мимо. Мало ли издательств в Петербурге.

– Было дело, – согласился Плоткин. – Было, Глеб Владимирович. Случайно познакомился с ним в весёлой компании. Вышли вдвоём покурить на площадку. Чёрт дернул сказать, что работаю в издательстве. После его похвалы. Спьяну посоветовал прийти даже к нам. С рукописью. Мол, я всё могу! Ну а дальше завертелось... Тут и грант появился у Савостина, и липовые рецензии, и рекомендации писателей. Всё по схеме. Акимов сначала отпрянул. Ручками замахал. Но узнав, что губернатор за спиной, сразу сдался. Выходит, виноват я один, Глеб Владимирович. Похвалился по пьянке. Направил. Привёл. Прошу любить и жаловать, господа – новый писатель!

Посмеялись. Плоткин уже удивлялся зигзагу судьбы:

– Он даже живёт, как оказалось, неподалёку от меня, Глеб Владимирович! Нередко пролетает моим двором на своем Рендж Ровере. Ладно хоть не знает, где я в доме спрятался.

– Вам нужно было прочесть хотя бы пару строк у него, – по-отечески пенял коллеге Яшумов, проглотив слова «прежде чем тащить в издательство».

– Каюсь, Глеб Владимирович, каюсь. Но и вы виноваты. Зачем прогоняли его через трёх редакторов? Он же пришёл сначала к вам. Посланный Акимовым. Нужно было сразу убить его. На месте. Без жалости. А, Глеб Владимирович?

Ведущий редактор Гриша Плоткин имел весёлые глаза и кудрявую голову Пушкина.

3.

Когда-то она пришла в его кабинет и важно представилась:

– Я из библиотечного коллектора. Жанна Каменская.

Фу, графоманство какое, наморщился Яшумов. Переплюнула даже Маринину. Но опомнился: «Проходите, проходите! Садитесь, пожалуйста». И пока дама усаживалась, бормотал:

– Яшумов. Глеб. Глеб Владимирович.

Дама оказалась специалистом по бухгалтерскому учёту и документации.

– Очень хорошо. Внимательно слушаю вас.

– Вы недопоставили нам более 1000 экземпляров. По четырём названиям. Вот список названий. У нас договора с библиотеками, сроки. Мы вам заплатили. Где книги?

Однако тон!

– Нам что, в арбитраж идти? – наседала дама.

– Минуту. Сейчас выясним. – Яшумов потыкал кнопки редакционного.

– Григорий Аркадьевич... А где он? Сейчас же вытащите его – и ко мне.

Пока ждали Плоткина, Яшумов поглядывал на самоуверенную. Лет сорок, наверное, даме. Знает себе цену. В красивых жёлтых локонах до плеч.

Бухгалтерша строго смотрела на Алексея Толстого на стене. Почему-то на него одного. Будто знала его давно. И он тоже ей остался должен.

Прибежал наконец Плоткин. Прямо из курилки. Вместе с дымом и табачным перегаром.

Сразу объяснил, что тормознула типография. Деньги мы им не перевели. Денег пока нет. Как только – так сразу, уважаемая. Получите свои экземпляры.

– А вы кто? – строго спросили у Плоткина.

– Я – ведущий редактор, – гордо ответил Плоткин

Каменская повернулась к Яшумову.

– Главбух в декретном отпуске, – торопливо пояснил тот. – Женщина, знаете ли. А Григорий Аркадьевич пока замещает её. Временно, временно! – как бы успокоил.

Каменская уже поднялась. Постояла, переваривая всё. Уходя, всё же ввернула:

– Что же вы, тиражи у вас растут, а косите под нищих. Бухгалтера даже не имеете. Стыдно, господа. Ждём две недели. Если экземпляры не придут – арбитраж, санкции.

В дверь ушла большая попа. В легкомысленном коротком ситчике.

Два борца за чистоту языка пропустили даже слово «косите», жаргонизм! Просто замерли. С раскрытыми ртами.

– Да-а, у такой не забалуешь, – пришёл в себя Плоткин. – Помните, Глеб Владимирович, идею о самокупаемости библиотек? О ликвидации всех бибколлекторов? Этих монстров? Как один наш министр рассуждал на эту тему: «Может, в ней, библиотеке, организовать клуб с шестом. А?» Помните?

Нервно рассмеялись.

Через неделю Яшумов почему-то сам поехал с типографскими в старом уазике с упаковками книг. Даже кучерявого лжебухгалтера не взял. Плоткин не обиделся. Сказал двум мужчинам-курильщикам в курилке: «Запал наш Главный. И есть на что. Телеса, доложу я вам, у дамы мощнейшие!»

Долго ехали вдоль рябой Невы. И выехали куда нужно: к трехэтажному дому с табличкой на торце – Строение 25.

Яшумова встретил уса́тый директор. И пока типографские таскали упаковки, с гордостью водил, показывал своё хозяйство. (О конфликте, о том, что недопоставили вовремя книги – ни звука.)

В довольно большом помещении вдоль трёх стен стояли длинные стеллажи, набитые книгами. Тут же возле стеллажей, на полу, стояли так называемые «лодки» для нераспакованных, необработанных книг. В одну такую лодку и складывали упаковки типографские. И со всем этим богатством вокруг управлялись всего лишь пять сотрудниц за столами с компьютерами. Включая и бухгалтера Каменскую, которая находилась, правда, ото всех чуть в стороне, огороженная невысокими стеллажами с документацией в папках.

Она даже встала, подошла и поздоровалась. Она была неузнаваема. Она извинялась, что «так наехала» на издательство. (Опять жаргонизм!) Она улыбалась. Была всё в том же ситцевом платьице.

– Жанна Фёдоровна у нас такая, – восхищался бухгалтером усач. – Ух!

Все улыбались, все были счастливы.

С тем и расстались.

В машине, рядом с шофёром, Яшумов не видел летящей улицы, а потом и нескончаемых бликов Невы. Всё вспоминал улыбку Каменской. С поперечными складочками в углах губ. Похожую на предложение, взятое в скобки. Вспоминал её рельефные мощные ноги из-под короткого платья.

Через полгода, уже зимой, он увидел её в вагоне метро. Было часов девять вечера. Прямо напротив него она сидела-покачивалась с другими задумчивыми пассажирами.

Тогда на голове её был не зимний стог, не шалаш, как сейчас, а красивая вязаная шапка со сверкающими мелкими стразами.

Он неуверенно кивнул ей. Но она сразу увела взгляд в сторону. К парню и девчонке возле нерабочей двери. Которые висели друг на дружке, толклись на месте. Точно танцевали в вагоне очень медленный танец.

Когда вагон влетел на станцию «Сенная площадь» и начал тормозить, она вдруг посмотрела на него и кивнула. Даже задержала на губах «здрости». И пошла к двери.

Ему нужно было на следующей. Но, поколебавшись, ринулся за ней и в последний момент выскочил из вагона. Увернулся от схлопнувшихся половинок двери.

Людей из поезда вышло довольно много. Он вертелся и никак не находил её.

Увидел наконец сверкающую шапку, лохматую доху и крепкие ноги в мужских берцах.

– Пойдите! Жанна! Жанна Фёдоровна!

Догнал. Пошагал с ней в ногу. Заглядывал в лицо. Себя не узнавая, говорил и говорил о чём-то. О чём? – вспомнить потом не смог.

Она шла, смотрела себе под ноги, улыбалась.

На эскалаторе всплыли в вестибюль и вышли из здания.

Спускались с лестницы на площадь. Она спросила, в какую ему сторону. Да мне вообще-то на следующей нужно было, ответил он, точно извиняясь.

Остановились.

– Тогда, может, ко мне зайдёте? Я тут рядом. Чаю попью. А потом вызовем такси.

Яшумов колебался.

Женщина, внутренне смеясь, смотрела на кавалера. Созрел? Или ещё зелёный?

– Ну же, Глеб Владимирович! Я вас не съем.

И Яшумов... пошёл за Каменской. И в тот же вечер оказался в её постели.

Но странно – уверенная в себе женщина во время близости была безвольной, податливой. Он даже чувствовал её слёзы на своем лице. «Милый, милый», – только и шептала она ему в темноте.

Утром была прежней. Спокойной, надменной. Такой же спокойной была и забота её на кухне за завтраком. Он чувствовал себя напряжённо. Хотелось скорее уйти... Однако вечером вновь был у неё. А ночью обнимал безвольное тело, опять ощущал на своём лице её слёзы.

«Странная женщина», – думал он, поматываясь в вагоне метро рано утром. И не одна даже женщина, а две. Одна высокомерная, независимая. Другая безвольная, податливая, плаксивая. Потом это больше всего раздражало его. Он терялся. Никак не мог объединить этих женщин. Чтобы была одна, понятная, родная. И по ночам от жалости ему сжимало душу. Хотелось плакать вместе с ней. Но днём всё менялось. Он чувствовал какой-то стыд. Не мог взглянуть на властное лицо. Он просто отворачивался.

4.

После работы заехала к себе на Сенную. Сегодня 21-е. Срок квартирантам. Поднимаясь на третий этаж, думала: повысит цену или пока подождать? Аспирант из Волгограда открыл и попятился. Как всегда. Никак не может привыкнуть. Как будто полиция пришла. А чего пугаться? Деньги у парня есть. Папа – шишка в волгоградской администрации. Но сынок пугается. Язык проглотил.

Вошла. Поздоровалась. Тут только включился: «Здравствуйте, Жанна Фёдоровна! Здравствуйте!» Ужимается. Бойтся. Это хорошо. Хозяйка пришла в свою квартиру. Двинулась в большую комнату. Так. Всё вроде бы на месте. Люстру не оборвали, плазменный на стене – работает. Тощая жена промелькнула в спальню. Халат еле успел за ней. Бэби уполз за диван. Выглядывает оттуда с испугом: тётка явилась, в жуткой шапке! Так. Все боятся. «Сегодня 21-е. Не забыли?» – «Что вы, Жанна Фёдоровна! Вот, пожалуйста. Всё приготовлено вам. Вся сумма». Протягивают чуть ли не вдвоём с женой. В конверте. Приучены. Ванну и спальню проверять не стала. Всё равно тощая замела следы. Все пошли в прихожую. И бэби на руках у матери. Ручку даже протянул. Шапку потрогал. Стог. Стильный, наверно, отметил про себя. Посмеялись. Квартиранты с восторгом смотрели на хозяйку. Как на родную. Так повысить квартплату или нет пока? Хитрый бэби палец закусил. Он не знает. «Ладно. До 21-го!» – «До свидания, до свидания, Жанна Фёдоровна!» Из дверей ещё кричали. В спину. Пока спускалась до площадки меж этажами. И с грохотом захлопнулись. От радости. Что не содрала с них лишних пару-тройку тысяч. Да-а. Тоже мытарилась-кантовалась в своё время по съёмным. «Ты почему опять мочу оставила? В унитазе? Сколько учить! Смыть надо, смывать! Даже если просто сикнула. Смой! Здесь тебе не деревня твоя». Старуха Студеникина. Хозяйка первой квартиры. Зверь была баба. Колпино считала деревней. «И чтоб свет нигде не горел! Поняла?» Сама квартирантка работала тогда где попало. Считала чужие деньги. За сущие гроши. И только когда устроилась в Фирму – расправилась, поднялась. Уже через год наколотила на эту вот квартиру в центре. Подумывала уже о Бентли Континенталь. И чтобы розового цвета. Но накрыли Фирму. Попались с офшорами. Генерального и главбуха почти сразу посадили. Чудом уцелела тогда. Была в бухгалтерии на вторых ролях. И вашим и нашим. Но всё равно долго таскали. На всякие очные ставки, экспертизы. Перепугалась тогда до смерти. Хотела продать квартиру и бежать сломя голову. К маме с папой. В Колпино. Но опомнилась. Раз не загребли в первый месяц, значит, отстали. Зацепилась на окраине. В библиотечном коллере. Подруга привела. Здесь схемами и не пахло. И директор был трус и слабак, и на федеральном бюджете. Да оно и лучше. Нищая, зато честная. Знал бы Яшумов, с кем связался. Хотя и пытался выведать, откуда квартира. Да ещё в центре. У девушки из Колпино. Простого бухгалтера. – Да от родной тётки! После её смерти! По её завещанию, не смогнула глазом. Филолог-криминалист хренов!

Ещё на площадке, доставая ключи, Яшумов услышал мяуканье кота. За дверью. Опять ушла, не покормила!

Пока раздевался, Терентий ходил вокруг и требовательно орал. Сразу повёл Яшумова к своей чашке. Пустой, конечно. Вылизанной до блеска.

Бодал руку хозяина с коробкой китикета, не давал сыпать в чашку. Ну, ну, ешь давай, не бойся! Припал, наконец, котярка и начал жадно есть, раздувшись рыжим шаром. А ведь когда-то прибыл сюда вместе с хозяйкой. Её приданым...

Сел к столу, развернул газету, стал ждать.

Уже из прихожей увидела – муж опять надулся. Сидит за столом, прикрылся газетой.

Обнаружила кота над чашкой.

– Да милый мой Терёша! Голодный! – Присела, стала гладить: – Прости нехорошую хозяйку, прости.

Кот передёрнулся: отстань! не мешай!

– Ты уподобляешься пустой девчонке, – докторально начал нотацию Яшумов. – Которая долго просит родителей купить кошечку. А когда получает её – не кормит. Играет, делает с ней умильные селфи, выкладывает в сеть. И только. Покормить кошку, тем более убрать за ней в туалете – этому девчонку не научили. – Яшумов прищурился: – Может, и подружки у тебя такие же?.. – И прокричал вдруг пласиво: – Пожалей животное!

Защитник стоял как клоун, но был вообще-то прав. По утрам бедный Терентий только отлетал от бегающей хозяйки. Осознавала базлания кота лишь на лестнице. Иногда пересиливала себя,

быстро возвращалась, сыпала ему прямо в прихожей на пол. И снова катилась по лестнице. Но так бывало не всегда.

– Бедный, бедный Терентий, – всё гладила кота.

– Длинную палку свою возьми. С камерой, – ехидничал супруг. – *Сфоткайся* с ним. Сделай милое селфи на память. *Себяшку*.

Муж и жена ужинали. В большой комнате. Молчали. Сытый кот, виновник размолвки, резко сгребался на паркете, вылизывал своё богатство. Правая вытянутая лапа его тоже подёргивалась, участвовала в упражнении.

Кастрировать бы его. Всё бы меньше мяукал. Так другой орёл сразу встанет на защиту: не тронь животное! Даже не вздумай! А ведь март надвигается. Снова форточки не забывай закрывать. Чтоб не орал подругам наружу.

С другого боку Терентий стал гнущся-вылизывать. Другая задняя лапа вздёрнулась и стала делать упражнение.

Сходила в прихожую, принесла книгу. «Вот. Купила в переходе. Стейнбек. “Гроздь гнева”. Читал? Интересная?» Зануда только покосился на увесистый том. В чудесное преображение жены уже не верил.

Не забыть его лица, когда привезла свою небольшую библиотечку. И разложила на столе. Донцова, Маринина, Серова. Полякова. Филолог увидел цветастые обложки и натурально закачался. Точно попал под газ. Под газовую атаку. «Убери. Прошу тебя». Да почему же! «Я заболел». Пришлось увезти назад. На Сennую.

Пыталась сначала читать из его библиотеки – такое же занудство, как и владелец. Иногда попадались, правда, ничего, стоящие, интересные. Филолог тогда потирал руки, надеялся. Подсовывал ещё книги. Потом махнул рукой. Безнадёжна.

– И зачем ты купила Стейнбека? Для чего он тебе? Тем более, он есть у меня. Со второй полки стеллажа на тебя смотрит.

Понятно. Бухгалтерша перед ним. Из Колпина. Колпинка. 26 км до Питера. Тянуться – не дотянуться. А то, что в школе имела почти пятерку по русскому – это не считается. И в техникуме всегда успевала. Ну а тут, конечно. Университет с красным дипломом. Литинститут в Москве. Папа всю жизнь профессор. Мама на скрипке пилила. Где уж нам. Деревенским из Колпина. Отец до пенсии простым шофёром был. Мама бухгалтером в садовом хозяйстве. Боятся лишний раз приехать к дочери. Увидеть монумент за столом. Который слова доброго не скажет. Зато в прихожей: мы вам рады! Почаще приезжайте! Вдевает стариков в одежду. Чуть не подбрасывает. Будьте здоровы, кричит от радости на лестнице. Мы вас всегда ждём! Ни разу не оставил ночевать.

Демонстративно взяла мобильник и тронула пальцем фотку с мамой:

– Ало, мама! Привет! Ну как вы? Почему не звоните? (Нарочно сказала «не звоните».)

Занудный вздрогнул. Как от удара. Стал собирать всё на столе. Понёс на кухню. Терентий тоже сразу снялся и помёлся у ноги хозяина. Сопровождал. Указывал направление. (Не нажрался.)

Яшумов мыл посуду. Старался не слушать, о чём говорит жена с родителями.

Сильно опаздывая на регистрацию дочери, они примчались тогда в Петербург на такси. Как рассказывали потом, шофёр попался неопытный, местный, колпинский, долго искали с ним улицу Фурштатскую и Дворец бракосочетания на ней. Нашли, наконец. Расплатились, заторопились к большому двухэтажному зданию. Показали пригласительные и поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Но всё равно не успели – возле высокой красивой двери их остановил служитель: уже нельзя, уважаемые. В расшитой куртке и белых перчатках. Натуральный швейцар при ресторане. Когда ресторан забит под завязку.

Ходили возле двери и слушали недоступного мендельсона. Встретили молодых только когда те вышли из зала. Обняли, поздравили.

В буфете тесть хлопнул зятя по плечу: «Молодец, афганец! Укротил!» Яшумов растерялся. Поперхнулся даже и пролил шампанское. Дочь задёрнула отца, зашептала в бестолковое ухо: «Папа, ты спутал. Он не афганец. Не Валентин. Он – Глеб. Глеб Владимирович». А-а, Глеб, значит. Глеб Владимирович, не поверили мать и отец.

В длинной машине с низким потолком они сидели прямо напротив молодых. Но не сводили глаз только с «афганца». Точно боялись, что он дочь изнасилует. Прямо здесь, в длинной машине. А когда афганец поцеловал невесту, поцеловал крепко, взасос – они как по команде выдернули платки и начали вытирать лица.

В первое время в квартире Яшумова они вели себя точно в музее. Рассматривали на стенах бородатых корифеев под стеклом. Подолгу стояли перед двумя стеллажами с книгами (библиотекой Яшумова). Невольно оборачивались к хозяину: неужели осилил все, укротил?

Яшумов самодовольно улыбался: да, укротил.

Потом всегда был обед. Или завтрак. Или вечерний чай. Это зависело от того, в какое время тесть и тёща приезжали к дочери.

За столом Яшумов чувствовал себя неудобно. Смутился. Выросшему и воспитанному в профессорской семье, ему было трудно разговаривать с простыми людьми. С *простолюдинами*, как говорил сам Владимир Петрович Яшумов, отец, профессор, всю жизнь занимавшийся культурой Византии и Среднего Востока. Как и отец, Яшумов-младший иногда просто не понимал, о чём говорят простолюдины за столом. Все эти их словечки: *небось, бесперечь* (Что это! – пугался Яшумов), *лупалки* («Идёт, лупалки вылупила», – это они дочери, понимающей, кивающей согласно). Словечки эти били в голову Яшумова, как в пустой барабан. Не могли в ней остаться, не осмысливались никак. Это был даже не жаргон, (жаргонизмы он определял мгновенно), это был язык такой. Хотя муж и жена, сидящие перед ним, выросли в городе. (Колпино – это же город, в конце концов.) Впрочем, как выяснилось, росли на окраине его, в частном доме, где был огород, своё хозяйство и даже корова. Вместе с родителями-сельчанами, которые от коллективизации переехали в город. (Сбежали! Смылись! Филолог!) Сама Жанна, их дочь, к чести её, вышла на более высокий уровень. Сыпала современным: *отпад, отстой* и даже *откён*. Однажды она сказала: «Яшумов – ты полный отстой». – «Нет, – возразил Яшумов. – Я полный *откён*».

Иногда невольно думал, почему дочь свою Анна Ивановна и Фёдор Иванович назвали – Жанной. Именем не простым. Как рассказала однажды сама Анна Ивановна, в молодости, когда была беременной (будучи *на сносях*, чёрт побери!), они с Фёдором (мужем) попали на концерт приехавших в Колпино Жанны Болотовой и Николая Губенко. Концерт так их поразил, так понравился, что когда шли из Дома культуры домой по ночной тёмной окраине, молодая Аня остановилась под светом фонаря, потрогала большой живот, хорошо укутанный под пальто ещё и шалью, и сказала, что если родится девочка, то назовём Жанной, если мальчик, то Николаем. Родилась девочка, дочка. И сразу стала Жанной, Жанночкой. В тот поздний вечер, надо думать, молодые муж и жена шли и видели впереди не просто редкие столбы с тусклыми фонарями, а по меньшей мере новогодние сверкающие ёлки. Сверкающие даже не игрушками – бриллиантами.

В следующий приезд родителей Яшумов вдруг узнал, что дочь их вовсе не Каменская, а *Силкова*. Фамилию «Каменская» она оставила после развода с первым мужем, с которым прожила всего полгода. Конечно, Силкова – далеко не Жанна Каменская. Это даже Яшумову было понятно. Но родители, по всему было видно, остались довольны. С такой фамилией их Жанка далеко пойдёт.

После таких откровений Анны Ивановны и Фёдора Ивановича Яшумов почему-то становилось стыдно. Стыдно за своё высокомерие, за снобизм. Искренне кричал им вслед на лестнице. Приглашал приезжать в любое время. Но предложить остаться ночевать – почему-то в голову не приходило. *Тяма* не хватало, как сказала бы Анна Ивановна.

5.

Вдоль канала Грибоедова Яшумов шёл в сторону Невского. К Дому книги. К Дому Зингера на перекрёстке. Со стеклянной башней, увенчанной земным шаром, с бронзовыми девами-валькириями на угловой части фасада.

Всё время почему-то лезло в голову из Савостина. Как будто гриппом заразился. Фолликулярной ангиной: «Суровый Артур угрожающе вращал автоматом. Его низкий голос напоминал дребезжание ржавой пилы». Яшумов останавливался и смеялся. Как будто плакал. Прохожие оборачивались. Приблудный финн в туристских ботинках и с рюкзаком разом остановился и смотрел

на него как на достопримечательность города. На ожившую скульптуру. Жестом Яшумов успокоил его. Дальше шёл. «Орлиный нос и мясистые щёки со злыми усами придавали лицу его суровое выражение». Да что же это такое! Лёд в канале не казался чистым, небесным, как в Мойке – говяжьим студнем лёд казался в канале Грибоедова. В пятнах белого свиного жира.

Выдвинулся наконец Дом Зингера. Гигантский корабль на приколе. Ну, сейчас будет легче. Уйдёт проклятый Савостин. Яшумов пошёл к зданию. Но – «Послышалась мелодичная музыка, означающая, что Артур хочет войти». Да чёрт же побори!

В отделе Анны Ильиничны ещё не было, работала одна Мария. Помощница Анны. Которая сразу предложила раздеться. Сказала, что есть новые поступления.

Повесив пальто и шапку, продвигался вдоль стеллажа и, точно слепой, трепетно трогал антикварные новые-старые книги: «Кривоглазый солдат довольно улыбался щербатым ртом, швырнул кумулятивную гранату косой рукой».

Остановился в растерянности.

– Что с вами, Глеб Владимирович? Вам нехорошо?

– Ничего, ничего, Мария. Сейчас я присяду, отдохну. – Яшумов сел на диванчик. Вытирал выступивший пот.

Пришла наконец Анна Ильинична. Поднялся, обнял невысокую женщину, погладил плечи. Волосы Ани пахли свежестью утра, которую принесли с собой. Помог снять поддутое, как матрац, пальто, повесил рядом со своим.

Аня прошла вдоль стеллажа, сняла три книги, о которых он говорил на прошлой неделе.

Заворачивала на столе в бумагу:

– Вот, Глебушка. Только долго не задерживай. Чтобы клиенты не обнаружили, так сказать, «пропажи». Сам знаешь, как у нас тут. (А «тут» была просто бесплатная библиотека для Яшумова, а не букинистический магазин, где нужно за всё платить.)

По традиции спустились на первый этаж в кафе. Посидеть, попить кофе. Яшумов снова разделся. Взял кофе и пирожные в буфете.

Сидели возле арочного высокого окна, от которого навечно отдалился Казанский собор, похожий на конгресс США. Яшумов расспрашивал о сыновьях Анны Ильиничны, о четырёх её внуках. А та, чтобы не говорить о Жанне Каменской, жаловалась на большую плату за аренду, которую всё поднимают и поднимают. Что скоро придётся, наверное, сворачиваться и искать другое место.

Женщина смотрела на друга покойного мужа. На его длинные волосы, будто прихваченные утренним заморозком. Так с молодости и не сменил причёску. Бедный Глебушка. Тоже уже потерял близких родных. Мать умерла три года назад. Отец ушёл ещё раньше. И в личном Глебу всё так же не везёт. И первая жена-сожительница давала концерты, и вторая теперь, законная, похоже, от первой не отстаёт.

О многом хотелось поговорить мужчине и женщине. Но молчали. Пили кофе, смотрели на Казанский собор. На его закинувшийся к небу купол, казавшийся самостоятельным, на арочный римский форум внизу на переднем плане. Тоже – как на отдельное (самостоятельное) строение.

На выходе обнялись, и Яшумов вышел из здания. О муже Ани, незабвенном Толе, не сказали ни слова. Словно не захотели тревожить память о нём.

Шёл той же дорогой вдоль канала. Размытым взглядом не видел его льда. Забыто удерживал у груди книги. Так шёл бы, наверное, вдоль канала князь Мышкин, прижимая к груди свой бедный узелок.

Поженились Аня и Толя перед самым поступлением жениха в литинститут. Где Яшумов и познакомился неожиданно с земляком из Питера. На вступительных. Сидели локоть к локтю, писали диктант. Попали даже к одному Мастеру в семинар. Оба заочники, вместе ездили на сессии все четыре года.

После института у Колосова не задалось с публикациями. Издал только одну книжку рассказов. (Яшумов целых две!) Как и Глеб, Толя тоже работал редактором. Только на телевидении. Аня. Семья. Два сына-погодка. Выросли. Женились. Внуки пошли.

Пять лет назад Анатолий Колесов погиб. Погиб трагически. В метро упал с перрона под поезд. То ли сам оступился, то ли помогли.

В то февральское утро Яшумов сильно опаздывал на работу, метался возле метро, ловил такси: станция Владимирская оказалось закрытой. Почему-то на целых два часа. Но ничего не ёкнуло внутри, ни о чём плохом не подумал.

На поминках в кафе за скорбным длинным столом он как заведённый говорил мужчине с Толиной работы: «Люди утверждают, что если умирает близкий человек – муж, жена, ребёнок да даже друг, близкий друг, – умирают внезапно, погибают где-то неподалёку, как Толя, то близкие всегда чувствуют это. Но я был там, наверху, у метро, совсем рядом, но ничего не почувствовал. Понимаете – ничего. Бегал в это время, искал такси... Ничего. Понимаете? Может быть, жизнь наша – череда случайностей? Просто случайностей?»

Телевизионщик хмурился, не знал, что ответить. Поглядывал на вдову в чёрном. На её взрослых двух сыновей рядом с ней. Словно извинялся за ненормального. Который, правда, уже заткнулся, ничего не ел и только хлопал рюмку за рюмкой.

Яшумов долго думал потом о гибели друга. Свидетелями трагедии были все утренние пассажиры, приготовившиеся штурмовать влетевший на станцию поезд. А дальше никто ничего не понял – мгновение – и человек упал на рельсы. Ещё мгновение – исчез под головным вагоном. И вся толпа в испуге отшатнулась от края платформы – самоубийца!

Но ведь Толю мог столкнуть какой-нибудь урод. Просто так. Из природного своего садизма. И когда люди отхлынули – больше всех бегать, стенать и размахивать руками.

Алкоголя в крови Анатолия не оказалось. Хотя бывало, что он выпивал. Врагов у него, открытого, доброго – точно не было. Вызвавшиеся свидетели говорили разное, абсолютно противоположное. И следствие приняло от них единственную, *правильную*, версию – несчастный случай. Оступился.

Иногда вечерами представлял (видел), как Толя погиб... – Вылетевший на станцию поезд, готовящаяся штурмовать его утренняя толпа. И вдруг человек падает прямо на рельсы и исчезает под головным вагоном...

Сидел с закрытыми глазами. Часы громко щёлкали на стене. Как будто цапля била клювом прямо в темя.

Старался гнать от себя видение. Старался вспоминать только хорошее.

6.

Когда молодой Глеб Яшумов впервые подошёл к памятнику Герцену позади литинститута – сразу подумал: слишком маленький постамент. Не удержаться на нём. Чтобы поцеловать корифея сзади. Ниже поясницы. Разве только цепко обнять и повиснуть. Но будет ли тогда действовать примета? Будет ли в дальнейшем нобелевская? Вопрос...

Ещё вспомнилось далёкое: «Яшумов, вы пишете слишком грамотно и сухо, – сказал тогда же при всех на курсе художественный наставник (Мастер). – По возрасту вы ещё молодой человек, но почему-то боитесь молодёжного сленга. Боитесь придумывать свои слова. – Яшумов встал из-за стола, но Мастер поднял руку: – Знаю, знаю, что вы ответите. Всё перечисленное мною – классические признаки графоманства. И в чём-то будете правы, но! – Был поднят указательный палец: – Но слишком грамотная дистиллированная проза – это еда для диабетиков. Без перца, без уксуса, без соли. Поэтому, если хотите, чтобы вас читали – солите прозу, перчите. Мажьте русской горчицей, чёрт побери! – Смотрел на упрямого студента. С длинным сеном по голове: – У вас же не к чему придраться, Яшумов. Пишите плохо, в конце концов! Тогда будет получаться хорошо. И у вас всё сдвинется».

Вот именно – «сдвинется», смотрел в сторону Яшумов. Как тот волк. Которого сколько ни корми.

Однако однокурсники (и не только) перед обсуждениями по вторникам своих сочинений нередко говорили друг другу: «Перед семинаром, перед читкой, дай рукопись Яшумову – он посмотрит». И больше всех подсовывал свои листы Толя Колесов: «Посмотри, Глеб. Почисти, пожалуйста».

А семинары всё равно проходили убийственно. Убийственно для любого автора. Разносили на них в пух, прах, пыль и пепел. Эти четыре «П» всегда витали в аудитории, где устраивался разнос.

Но Яшумов – чистил рукописи. Почти на бессознательном уровне уже тогда уничтожал в чужих писаниях всякого рода красоты, жаргонизмы, всякое «ботанье по фене». Уже тогда в нём поселился безжалостный редактор.

Однажды Толя, всегда сидящий рядом с Яшумовым, спросил Мастера, как избежать застоя в письме. «Как с этим бороться, Владимир Викторович?» Мастер тут же ответил: «Пишите много, пишите плохо. Но пишите постоянно, не останавливаясь ни на неделю, ни на день. О вдохновении забудьте. Всегда можно извлечь что-то даже из плохой страницы. Но ничего не вытащишь из ненаписанного. Из белого листа. Запомните это, друзья».

В столовой института, где студентам полагался бесплатный обед, Мастер сидел как сокол среди своих голодных птенцов, которые, растопыривая крылышки, набивались на халяву, и поучал неторопливого Яшумова, выделяя его из других. Как пример как не нужно писать: «Вы перфекционист, Глеб. Вы всё время добиваетесь совершенства в своём письме. Которого добиться невозможно. – Смотрел на культурного студента, умеющего обращаться с вилкой и ножом. Закончил с улыбкой: – Вам нужно пожить в нашем общежитии. На Добролюбова. Пройти горнило его. Остаться целым. Тогда и писать будете хорошо. Сочно».

У Яшумова как будто заболели зубы. Откладывал нож и вилку.

В легендарном общежитии литинститута он был всего один раз. Когда приехал на первую сессию и получил в деканате направление, чтобы заселиться. На четвёртом этаже семизэтажного, на-верное, ещё сталинского дома он прошёл длинным тесным коридором, удивившись чрезвычайно. Обшарпанные грязные стены с надписями разного содержания, часто нецензурного, рваный линолеум под ногами, свет вверх только изредка, как в тюрьме. Это был коридор натуральной *общаги*, ночлежки, трущобы. Такой коридор уместен где-нибудь в Бронксе, в Гарлеме. Но вместо негров в коридор выскакивали жизнерадостные русаки. И парни, и даже девицы. Один высокий загнутый литератор стоял со скрещенными на груди руками, а другой – маленький – тянулся на носочках, обкуривал его стихами. Прямо под ноги Яшумову вдруг выпал ещё один долгогривый поэт. Видимо, после крепкого удара в челюсть. Яшумов поставил чемодан и помог парню сесть к стене.

С расстройства вдруг захотелось сильно в туалет. По маленькому. Зашёл за дверь с буквой М.

Грязь и едкий запах убивали. Покачивался над унитазом, закрывал глаза. Вдруг с удивлением прочитал надпись на стенке – ДЕРЖИ ПРИЦЕЛ! Попятился: чёрт! Хотел помыть руки – кран сорван. Вышел в коридор так.

Увидел, что чемодан потащил тот парень, которому помог. Долгогривый пьяно раскачивался, цеплял чемоданом стену. Яшумов догнал, отобрал чемодан.

Словом, Глеб прошёл тогда весь коридор. Прошёл. И больше в него не вернулся. Пришлось пойти опять на квартиру друга отца, профессора Саблина. В Палашевский переулок. Куда звали всегда, и где уже жил во время вступительных.

Толя тоже жил в Москве у знакомых, но в общагу наведывался. И частенько. С бутылкой ходил по комнатам. Чувствовал себя своим. Садился на чью-нибудь кровать, дымил, выпивал, спорил до хрипоты. О литературе, конечно. О том, как писать. Один раз зажгли хороший фонарь. Под левым глазом. Мастер на занятии удивился – чёрный фонарь хорошо гармонировал с волнистыми рыжими волосами студента. И походило, что студент фонарём гордился. Учись, глазами показал Яшумову на соседа с фонарём Мастер.

После лекций Колосов и сам не раз пытался затащить друга в общагу. Но – у Яшумова возле метро сразу начинали заплетаться ноги, и с прямой спиной он уходил куда-то вдале. По-видимому, к своему Палашевскому переулку.

Возвращались с сессий всегда в дешёвом летящем плацкарте. Утром, проснувшись, хорошо закусывали. На боковушке в проходе вагона выкладывали еду на столик. Еды было много. И Саблины наталкивали Глебу в сумку, и Толю знакомые пустым не отпускали.

«Станция Колпино, – проходя вагон, громко объявляла проводница. – Стоянка одна минута». Железнодорожный вокзал в Колпино и не вокзал вовсе – вокзальчик. Глеб смотрел на низкое здание в форме ангара. Которое через минуту поплыло, поехало назад, побежало и исчезло.

Яшумов не мог знать в то время, что где-то здесь, за этим вокзалом, уже бегают в школу его судьба в коротком коричневом платице с фартуком на ляпочках...

– Ну, будем! – подлаживаясь к лексикону друга, тыкал в его стакан своим. Впрочем, перед этим всегда взглянув на просыпающихся перед Питером зевающих пассажиров. В раскрытом купе. Наискосок.

Демократичный и нищий как церковная мышь Колесов не признавал никаких СВ и Красных стрел, профессорский сынок Яшумов – тоже. Только плацкарт.

– Ну, будем! Бывай!

– Неправильно тостуешь. «Будь здоров» надо говорить. «Не кашляй».

Точно!

Глава вторая

I.

Яшумов колебался, ехать в Колпино или нет. Простудившаяся жена уже три дня лежит в постели в родном доме. Окружена заботой родителей. Медсестра с уколами приходит каждый день – так нужно ли ему быть там? Мешаться, путаться под ногами? И все же решил – нужно. В воскресенье – поехал. И поездка его в Колпино и обратно – превратилась в незабываемое путешествие.

Утром на Московском он брал штурмом восьмичасовую электричку. Влез. В вагоне стоял в длинной шеренге людей в затылок друг к другу. Когда шеренга немного рассосалась после остановки, даже сел. Между полной женщиной с большой коробкой и мужчиной, худым, но с купленным пылесосом в обнимку.

В Колпино сошло много людей. Толпа с огороженного перрона, точно в контрольно-пропускной пункт, теснилась в небольшой вокзальчик (неужели всё тот же?), проходила через него и вытекала на привокзальную площадь.

Ну а дальше, как сказала однажды жена, нужно пройти вдоль шоссе метров сто, не сворачивая никуда, повернуть на Ижорскую улицу – и на четной стороне третья усадьба от угла.

Шёл вдоль довольно оживлённого шоссе. Смотрел на чёрные зимние деревья, уходящие в небо, на частные дома с обеих сторон шоссе.

Из одного дома, видимо, недавно на заснеженный газон выкинули пластиковый синий стул со спинкой. Прямо к дороге, где пролетали машины. Бесплатным подарком. Идущему человеку (Яшумову) можно было теперь представить картину: многопудовый дядя пришёл доверчиво в гости, сел на этот стул, стул треснул, и многопудовый опрокинулся на пол. «Что такое! Вы так меня встречаете!» Дядю с трудом подняли под руки и посадили. К примеру, на диван: «Извините, дорогой гостенёк! Выпейте поскорее рюмочку!» Яшумов улыбался.

По левой стороне шоссе прямо навстречу машинам ехала грузная старуха в коротком пальто. Старательно надавливала на педали явно маленького для неё велосипеда. На багажнике укреплена была продуктовая корзинка. Корзинка – полная.

От удивления встречный водитель на Тойоте разом стал. Лёг, высунул из двери:

– Куда ж ты едешь, старая дура? Навстречу движению? А?

– Ничего. – крутила педали дальше отважная. – Объедешь. Рули себе знай.

Для петербуржца Яшумова всё это казалось удивительным. В *диковинку*, как сказали бы простые жители Колпино. Только покачивал головой.

Родительский дом Силковой-Каменской оказался каким-то плоским. Походил на китайскую фанзу. Но раскрытые ставенки – русские, под старину, в рисованных цветочках.

Надавил кнопку звонка на простых деревянных воротах. Надавил ещё. Ждал. Тишина. Осторожно вошёл во двор. С горба крыши на край сразу сбежал кот. Чёрный. Как антрацит. И смотрит. Жёлтыми фонариками... Мимо пролетел, сиганув на землю. И побежал к крыльцу. Смурной,

непредсказуемый. Чёрт бы тебя побрал! По дорожке, расчищенной от снега, пробирался следом, оглядываясь. Кого ещё тут ждать? Маленькую шавку на штанину? Волкодава?

Но его уже увидели из окошка – и на крыльцо выбежали Анна Ивановна и Фёдор Иванович. Хозяева. Прямо раздетыми:

– Проходите, проходите, дорогой гостенёк! Ждём, ждём вас не дождёмся!

Яшумов вытирал ноги о половик на крыльце, здоровался и зачем-то говорил:

– Только стул синий не подставьте.

– Какой стул? Какой синий? – не поняли супруги.

Яшумов покрутил неопределённо рукой, извинился и вошёл в услужливо распахнутую дверь. А потом ещё в одну, тоже раскрытую Фёдором Ивановичем.

В прихожей разделся. Его сразу повели к больной. Шёл через проходные низкие комнатки, заставленные старой, советской ещё мебелью. Инстинктивно пригибал голову, боясь удариться о притолоки дверей. «Она в комнате бабушки и дедушки. Любимой своей комнате», – сообщали ему.

Жена полусидела в старинной железной кровати с пампушками, укутанная до пояса тёплым одеялом. В шерстяном свитере и ко всему – с завязанным горлом. Чёрный муравейник её как-то примялся и словно поблек.

Припал к больной, обнял, почувствовал, что и у самого заскребло в горле. Гладил спину жены, смотрел в коврик на стене, ничего на нём не понимая.

– Ну-ну, – успокаивали его. – Не заразись только. Видишь, я уже вполне. Сижу. И температура нормальная. Только к вечеру. – Подмигнула родителям: – Как доехал? В электричке не раздавили?

Яшумов уже сидел на стуле. Но не говорил. Поворачивался к её родителям. Словно за поддержкой. Но те улыбались от умиления, глядя на мужа и жену. Прямо лебедь и лебедушка. Вон, как на мамином коврике на стене. Встретились.

– Гостя-то покормить, наверное, надо, – стряхнула их сладкий сон дочь. – С дороги ведь человек.

Родители всполошились. Опять повели «дорогостоящего гостеньку». И тут Яшумов повёз за собой какую-то собачонку. Дрыгал, дрыгал ногами. Собачонка не отцеплялась. (Не зря опасался во дворе.) «Зигмунд, место!» И Зигмунд разом исчез. Как будто и не было его. Яшумов продвигался, отряхивал штанину. Колпинские чудеса продолжались.

Кухня оказалась самой большой комнатой в доме. Это была, как теперь говорят, кухня-столовая. С современными ящиками по стенам, с мойкой, разделочным столом, со всякими кухонными приборами (*прибамбасами!*). Яшумова посадили за длинный (крестьянский?) стол лицом к двум светлым окнам на улицу.

Подкладывали еду хозяева и справа, и слева. Яшумов не отказывался, с аппетитом ел. Особенно нравился ему холодец. Из свиных ножек. Такой же нередко готовила незабвенная няня, Арина Михайловна. Но рюмку свою закрывал рукой. И всё же прямо спросил, как так получилось, что Жанна заболела. Ведь поехала в Колпино абсолютно здоровой. Родители на мгновение смутились. И стали объяснять. В баньке нашей простудилась, в баньке. На огороде. (Как это?)

– Понимаете, – говорила Анна Ивановна, – у дочи привычка. Когда приезжает из Питера, обязательно моется в баньке. Вы не подумайте! У нас и ванная есть, в доме, но у Жанки привычка такая, смывать всю грязь после Питера. В баньке. Понимаете? И я с ней тоже пошла. Уже вечером. Разделись. Только намылились, и котел опять полетел. (У нас газовый котёл там, газовый. Понимаете?) И вот сидим на полке. Обе в мыле. Я высунулась на волю, стала отца кричать, а он в это время, как всегда, у соседа болтал. Понимаете? В доме. Ничего не слышал. Ну и пришлось холодной водой кое-как смыть мыло, накинуть одежку да бежать в дом. Я-то ничего, привычная, а Жанку прохватило. И всё ты! – глянула на мужа. – Сколько говорю: наладь котёл!

Слушая супругов, Яшумов ощущал себя иностранцем, не понимающим половины слов. Всё время переспрашивал: что вы сказали? как? Однако понял главное: простыла в бане, в своей, крестьянской. Был поражён: XXI век, живут в городе, и такие патриархальные привычки. Хотя... хотя зачем Жанна сказала неправду по телефону, что после вокзала простудилась? Когда шла сюда, в этот дом, и была в тонких колготках?

В простенке между окнами висела какая-то исписанная фломастером бумага. Всё время отвлекала. Всё время хотелось прочесть её. Поправил очки, привстал, взгляделся:

«Инструкция. Настенная. Если кот насрал прямо в доме – его сперва активно тычут в дерьмо. И выкидывают во двор. Только так можно добиться какого-то порядка. Другой вариант. Везде в углах наставить больших чаш. Типа артезианских колодцев. Или микро джакузи. Но тут может возникнуть одна заваyka: кот присядет в чашу, но струями будет лупить в стену. Вроде парикмахера в парикмахерской. С пульверизатором. Чёрт бы задрал его совсем! И придётся опять вышвыривать его во двор. Мать его за ногу! В общем – инструкция. Настенная».

– Что это? – с растерянной улыбкой повернулся к хозяевам.

Силковы с облегчением рассмеялись. Фёдор Иванович с готовностью стал пояснять:

– Это Николай наш повесил. Брат Жанки. Он у нас военный. Вот и привык как в казарме. В позапрошлом году был с семьёй. Вот и учудил.

Брат Жанны, оказывается, не без юмора. Только чёрного. Яшумов посматривал на гуляющего возле стола кота. По кличке Барс.

– А как же ваш Зигмунд? К нему инструкция относится?

– Не-ет, – смеялся Фёдор Иванович. – Зигмунд молодец. Всегда серет в одном месте. Только под яблоней возле ворот. Удобрят.

Скабрённости простодушных колпинцев, и вывешанные на стену когда-то, и произносимые сейчас за столом – удручали. От стыда Яшумов не знал, куда смотреть.

Видя, что гость напрягся, Анна Ивановна подёрнула мужа: придержи язык, не в гараже своём среди забулды!

Когда шёл обратно к жене, Зигмунд попытался было опять... Его куда-то разом задвинули.

– Что же ты сказала мне, что простудилась, когда шла сюда с вокзала? Оказалось, всё из-за бани.

– Я правда сильно промёрзла в тонких колготках. Ну а банькой, холодной водой, добавила... Ты горчичники мне лучше поставь. Не разучился?

Яшумов побежал к Анне Ивановне.

Обратно явился с полотенцем, тёплой водой и горчичниками. Покорно согнутая голая спина жены вызывала слёзы. Осторожно накладывал мокрые листики. «Щекотно!» – кокетничала Жанна. Накрыв полотенцем и укутал одеялом. «Сиди. Десять минут». Сам сидел рядом и рассказывал, что уже звонил ей на работу. «Знаю, что ты тоже позвонила. Но так будет надёжней. Бюллетень здесь тебе откроют? Уколы не болезненны?»

Потом кормил. Как маленькую. С ложечки. Анна Ивановна помогала. Подавала и уносила.

Позвали самого обедать в столовую. Тесть попытался завести с образованным зятем умный разговор. Начал очень озабоченно:

– Смотри-ка, чего хохлы удумали. Да и наши. У меня друг закадычный на Украине живёт. Ваня Нечипор. Вместе служили. И как я теперь к нему? Или он ко мне? С какими шарами? Что думаешь по этому поводу, Глеб Владимирович?

Яшумов чурался всякой политики. Всегда. Какой бы она ни была. Во что бы ни рядилась. (Хотя избегать, чураться – это тоже политика.) Как и отец когда-то. Яшумов Владимир Константинович. Которого в институте за аполитичность всё время задвигали. (Не выступал, не поддерживал «нашу родную», а уж о том, чтобы вступить в неё – это только в страшном сне.) Нередко Владимир Константинович говорил со смехом домочадцам: «Я семафор на железной дороге. Притом всегда открытый. Даю дорогу молодым». Поэтому его потомок, сын, просто не знал, что ответить тестю с требовательными, «переживательными» глазами... Как будто не услышав вопроса, стал спрашивать Фёдора Ивановича о домашнем его хозяйстве. Каких животных он содержит.

Фёдор Иванович смотрел на длинные волосы зятя. Под пятьдесят уже, а всё под стилигу косит. Да ещё нос картофелиной. Разделённой надвое... Не хочет говорить, скрывает, а сам знает всё. В столицах все всё знают. Фёдор Иванович нехотя говорил о скотине и птице на подворье. Держим хряка, на мясо, десяток кур, двух индюшек. Посмотрел ещё раз на зятя. Добавил: – Петуха. – Яшумов, как понимающий, кивал.

После обеда смело уже один пошёл в комнату бабушки и дедушки. От Зигмунда, который втайне от хозяев повис и поехал... отбилась самостоятельно.

Но в комнате у жены ждало другое испытание.

Здесь при полной свободе от Яшумова в маленьком переносном телевизоре царил любимец Жанны – непревзойдённый Макс. Пинальщик и костолом на все времена. С душевным басом. Его железобетонной лысой головой, казалось, можно было пробивать стены!..

Яшумова поражало всегда, что неудавшаяся студентка медучилища, бросившая его после первого курса, трусящая ставить даже уколы на практике, до жути боящаяся трупов в морге – так любит теперь смотреть подобные фильмы. С драками, убийствами, с расчленинными трупами, с натурализмом запредельным. Невольно напрашивалась мысль – девушка вытесняет (да уже вытеснила!) такими фильмами студенческий свой страх. Всё это очень соотносилось с теорией Фрейда. Сама же «студентка» была спокойна – уж здесь-то зануда не будет ехидничать и насмехаться. Не то место, не дома. И зануда покорно сел рядом.

Перебирал на тумбочке шприцы в упаковках, лекарства, плоские коробки с ампулами. Припоминал, какое лекарство от чего. На экран не смотрел. Впрочем, от примитивнейших двух мелодий, повторяющихся постоянно, от истеричных громких криков, мата, всяких мужских смачных криков при мордобое – деваться было некуда.

Жанна сама выключила своего Макса.

– Ночевать, конечно, ты не останешься. Поэтому отправляйся на вокзал сейчас. Поедешь дневной электричкой. Вечером тебя просто задавят. Колпинцы ринутся в Питер. Обратно. К завтрашней работе. Не волнуйся, я буду всё время звонить.

Ну что ж. Яшумов обнял жену, опять похлопал по спине, разглядывая Лебеда и Лебедушку, и вышел из комнаты бабушки и дедушки.

На крыльце обнял тещу и тестя и пошёл позади катящегося под свою яблоню Зигмунда. Который торопился облегчиться там. Чтобы успеть потом цапнуть. Зацепиться и поехать на уходящем госте.

В вагоне, в промёрзшей, словно лубочной, раме окна Яшумов смотрел на движущийся зимний пейзаж. С улыбкой думал: «Барс» – это можно как-то понять. Но почему – «Зигмунд»? Где, на каком концерте услышали?

2.

«Не-ет! – кричал Яшумов во сне. – Не буду переходить на виндовс то! Не буду!» Зайчик в майке джорасел убежал от проклятой винды. Винда, как прыгающий осьминог, гналась за зайчиком, пыталась ухватить щупальцем, зажать. «Не-ет! – кричал Яшумов. – Я буду жаловаться президенту! На горячей линии!»

Схватился за руку жены. «А! – вздрогнула та. – Чего тебе?» И снова засопела.

За завтраком она сказала:

– Сегодня прямая линия с президентом. О пенсиях будет говорить.

– И что?

– У нас никто не будет работать.

Хотелось сказать: да вам-то всем какое дело до президента? Кроме усатого пенсионера Шубина? Вам всем до пенсии – как до луны.

Недавно обедал с Плоткиным и тоже удивлялся: «Сколько можно о пенсиях говорить? О пенсионном возрасте? Григорий Аркадьевич? Что ни включишь – только об этом». – «Ну, эта тема навек. Как пропавшая группа Дятлова. А вообще, Глеб Владимирович, не загадывайте, не зарекайтесь – судьба за дверью стоит». Умный чёрт, посмотрел тогда на ведуну главный...

На работе всё было обычно, спокойно. Редакторы сидели, уткнутые в мониторы. Плоткин катался с креслом, подбадривал команду. Но Акимов, который, казалось, никогда не вылезал из-за своего стола (жил возле него, ел за ним, спал, другие дела делал) – сейчас ходил по кабинету и зябко ёжился. Был весь в себе.

Яшумов ждал.

– Глеб Владимирович, меня сегодня не будет. Всё оставляю на вас. Смотрите в двенадцать прямую линию. Вас ждёт сюрприз. – И он продолжил ходить. Но поглядывал на подчинённого уже со значением.

Яшумов вернулся к себе. Занялся привычным. Просматривал две новые рукописи, которые принесли сегодня редакторы. На папку Савостина, которая так и валялась на подоконнике... не смотрел. Забыл о ней. Навсегда!

В обед увидел всех сотрудников, сгрудившихся у монитора Плоткина. Сам Гриша тут же позвал:

– Глеб Владимирович, подойдите скорей! Смотрите – наш Пузырь!

Яшумов не поверил глазам своим: директор Акимов стоял рядом с Савостиным в группе петербуржцев. Построенных для прямой линии. Пузырь и Соломина рядом. От восторга у Пузыря глаза готовы были выпрыгнуть и пуститься в пляс. Савостин криво, снисходительно улыбался.

Яшумов не слышал, не понимал, о чём говорит человек впереди, перед которым держат микрофон. Яшумов не мог оторвать взгляд от двух... *кореефанов*. «И куда теперь мне от них деться?» – повернулся к сотрудникам. «Нам, Глеб Владимирович. Нам», – уточнил Плоткин.

Савостин явился на следующий же день. У Яшумова, как всегда, без всяких церемоний развесил свои первобытные лохмы по вешалке. Поправил перед зеркалом петуха (или попугая?) и предстал перед главным редактором в своём *рабочем прикиде* – обтягивающие штаны цвета беж, шейный платок, рубашка апаш.

По-хозяйски сел, через стол протянул руку:

– Смотрели вчера прямую линию с президентом, Глеб Владимирович?

– Нет, – сказал Яшумов, глядя в сторону. – Не смотрел. – Стал перебирать листы рукописи, готовя себя к испытанию.

На этот раз встреча редактора и автора прошла без скандала. Хотя бы без скандала.

Но вечером в вагоне метро Яшумов не мог никуда деться от проклятых цитат Савостина. Которые начали возникать везде. Прямо в воздухе.

Первое предложение появилось над лохматой шапкой старика, сидящего напротив: «Макс атаковал сверху, как противный двуногий бульдог, а поросычьим носом успел хрюкнуть». Яшумов зажмурился, затряс головой. Старик же мгновенно понял, что напротив сидит сумасшедший. «Так обычно и действовал российский спецназ, но вот проблема, не люди это!» – добавилось над несчастным стариком. О, господи!

Другая цитата выползла прямо из маленького уха полной дамы. В виде облачка: «Как Артур и ожидал, это была девушка, с вполне сформированными нормами. Тощие ножки неожиданно оказались босыми и загорелыми». Яшумов готов был плакать. Полная дама передёргивалась от брезгливости и возмущения. Даже встала и пошла к двери. «Артур плюнул ей вдаль», – добавил Савостин даме. Коротко, как всё гениальное. Да что же это такое-то, а?

«Теперь Макс лишился возможности осуществить свою давнюю мечту – стать всемирным кронштейном», – возникло вдруг из носа у длинного парня, висящего на верхней штанге. Парень был удивлен. Поворачивал голову, искал: откуда это? Даже не мог подумать на пригнувшегося Яшумова.

Выпав из вагона, Яшумов потащил цитаты с собой. Они стали возникать поверх людей, торопящихся из метро наверх. Яшумов не успевал читать их!

Измученный, брёл к дому: «Несмотря на короткую седую бороду, лысую и выбритую голову, худощавое туловище, он не выглядел конченным человеком». Господи-и.

Дома увидел испуганную жену: «Девушка была умная, кроме того, её насиловали не в первый раз, и от этого действия терять голову и разум – непросительная роскошь».

– Что с тобой? На тебе лица нет. Ты заболел? Отравился в своём кафе?

«Артур напустил на себя выражение погрязшей невинности и ушёл в ванную».

«Не-ет! – опять кричал ночью во сне Яшумов. – Не-ет! Не буду переучиваться на виндовс 10! Не буду! Я – Яшустин! (Несчастный забыл свою фамилию. Создал гибрид.) Я не хочу выходить на прямую линию с Президентом! Не хочу! Не-ет! Я не Савостин! Я – Яшустин! Спаси-ите!»

3.

На симфоническом концерте в филармонии жена сидела рядом. Почему-то ужималась в кресле, пригибала голову. Точно притащили её сюда насильно, и теперь она не знает, как отсюда сбегать.

Яшумов тоже был напряжён. Переживал за музыку, за музыкантов на сцене. Как будто те не соответствовали. Как будто плохо играли. Как будто были виноваты, что рядом с ним сидит испуганная жена.

Он привёл Каменскую в филармонию в первый раз. Он хотел поразить её. Однако та, подняв голову, уже рассматривала завитушки на колоннах. И дирижёр на сцене только разводил руки. Как бы говорил Яшумову: ничего не попишешь, дорогой, – деревня. Точнее – Колпино.

Во время пронзительного, щемящего адажио, от которого у Яшумова навернулись слёзы, она вдруг стала смотреть круто вверх, на люстру. Точно та должна была вот-вот оборваться и полететь ей на голову.

Невольно Яшумов тоже смотрел вверх. Люстра походила на гигантское яйцо Фаберже. И, действительно, сорвись она – трудно даже представить, что началось бы в зале. Страх жены оказался заразительным.

Яшумов вывел жену из филармонии. Сразу же после первого отделения. От греха подальше.

В детстве Глеб Яшумов переиграл почти все упражнения и этюды Черни. В пять лет он старательно долбил их под руководством мамы. А уже в семь – наяривал. В быстром темпе. Старинное пианино с подсвечниками постоянно гудело, тряслось в гостиной и как будто даже передвигалось. «Держи темп! Не убейся! Держи спинку!» – командовала мама.

Деревенская Алёнка (внучка домработницы), в первый раз увидев пианино в гостиной Яшумовых, осторожно подошла к нему и спросила у бабушки: «В этом ящике прячется музыка, да?» Бабушка Арина, но не Родионовна, а лишь Михайловна, только гордо усмехнулась. В фартуке в кружевах продолжила обметать большую вазу мягким султаном на палке.

А когда, поев, выбежал маленький Моцарт и с прямой спинкой задал 25-й этюд Черни, когда всё загудело и затряслось – Алёнка отпрянула, схватилась за руку бабушки. «Вот тебе и ящик!» – рассмеялась Арина Михайловна.

Через год-полтора юные Алёнка и Глеб играли «на ящике» уже в четыре руки. «Держите темп! – командовала мама, подсовывая к детям щёлкающий метроном. – Темп! У обоих прямые спинки! Темп! Раз-два! Раз-два! Глеб, не гони! Алёна, молодец!»

Иногда сама выходила со скрипкой, упирала её в подбородок и играла с детьми легкие пьесы для скрипки и фортепиано. Приучая их к ансамблю. «Глеб, не колошмать! Забиваешь меня! Алёна, молодец! Умница», – гладила талантливую головку с косичками.

Нередко брала детей с собой на репетиции оркестра. В филармонию.

Мама была *вторая скрипка* и *библиотекарь*. Перед началом репетиции всем музыкантам она раздавала ноты. Ходила и раздавала, чтобы те смогли играть. Получалось, что без мамы репетиция была бы просто невозможна (как же играть музыкантам без нот?). Дирижёр, сидящий на высоком стуле, говорил маме: «Спасибо, Надежда Николаевна». И поднимал руки. И начинал дирижировать.

Странный был этот дирижёр. С руками-дрожаками. С пальцами как будто без костей. Он особенно трепетал ими, когда хотел добиться от оркестра пианиссимо (очень тихой игры).

В пустом зале маленький Глеб сидел далеко от сцены. Как будто прятался за кресло. Алёнка всегда начинала подкрадываться к играющему оркестру. На цыпочках. И застывала прямо под махающим дирижёром за отгородкой.

В паузах тот поворачивал голову и смотрел вниз, поджав на высоком стуле одну ногу, как аист: «Что ты хочешь, девочка?» Мама на сцене сразу громко говорила из своего ряда: «Алёна! Пойди и

сядь на место!» Но Алёнка как будто не слышала – во все глаза смотрела снизу на чудо-дирижёра. С пальчиками-дрожалками, которые сейчас свисли для отдыха. «Пусть стоит, – улыбался дирижёр. – Будет получать музыку из первых рук». Отворачивался и снова начинал потрясывать оркестру кисельковыми своими ручками.

Сам глава семьи Владимир Константинович Яшумов на премьеры новых симфоний ходил всегда. Он сидел в центре зала с двумя детьми. Мальчиком и девочкой. Девочка по правую руку от него, мальчик – по левую. Честно говоря, профессору Яшумову медведь на ухо наступил, но Владимир Константинович очень гордился своей женой-скрипачкой, всегда уверенно и чётко ударяющей смычком по струнам. И особенно был горд, когда та вставала со всем оркестром под аплодисменты зала – высокая, статная, в концертном длинном платье с цветком у плеча и совсем крохотной скрипкой, похожей на ребёнка. В такие минуты Владимир Константинович хлопал и испытывал настоящий катарсис. А дети рядом (Глебка и Алёнка) тоже хлопали. Но изо всех сил. Глебка дубасил в ладошки, Алёнка готова была лететь на сцену за своими ручками. Как за птичками.

«Она ведь на колу дырки вертит», – говорила про внучку хозяйке Арина Михайловна, отпивая чай с блюдца по-крестьянски – обстоятельно, не торопясь. Глебка уже знал, что означают слова «на колу дырки вертеть». Это когда тебя постоянно дёргают за руки, не дают играть этюд Черни. Чтобы самой поскорей сесть к пианино и «вертеть на колу дырки».

«У неё ведь мать запойная», – иногда, словно вспомнив, говорила хозяйке Арина Михайловна. И вздыхала. «Как это?» – сразу возникал маленький Глебка. Вопросительным знаком. Но мама и няня сразу переводили разговор на другое.

Алёнка жила где-то на Петроградской стороне. Вместе с «запойной». В каком-то общежитии. Но дневала и ночевала у Яшумовых, у бабушки. «У девочки абсолютный слух, – за бокалом вина говорила подруге своей, виолончелистке Кургузовой, Надежда Николаевна. Под грохот пианино с усердными детьми. – Её нужно серьёзно учить. За полтора года она обошла даже Глеба. Который играет с пяти лет».

Подруги смотрели на двух усердных, которые в четыре руки наяривали шестой этюд Черни.

Мать Алёнки (запойную) Глебка видел только один раз. Возвращаясь однажды из школы. «Я вам не отдам дочь! – кричала растрёпанная странная тётенька на площадке, вытолкнутая туда бабушкой Ариной. – Не получите её! Алёнка моя! Слышите? Никогда! Я вам не запойная! Вот вам, вот! – показывала она закрытой двери целых две фиги. – Слышите? Куркули?»

Качаясь, опасная тётенька стала спускаться по лестнице. Глебка с портфелем распластался на стене. «Не бзди, малый. Тебя не трону», – дыхнули Глебке прямо в лицо. И она дальше спускалась, мотаясь из стороны в сторону. Ей было тесно даже на широкой лестнице!

Потом она, как сказала бабушка Арина, «умотала в Сибирь». С каким-то «хахалем». Глебка спросил у Алёнки: кто такой «хахаль»? Семилетняя Алёнка любовно выводила на бумаге карандашом абрис китайской вазы Яшумовых, которую всегда обмахивала султаном бабушка: «Это фамилия такая. У дяди Гены. Дядя Гена Хахаль. – И добавила, любовно выводя последний, крутой изгиб: – Мама всегда любит его, любит, а дядя Гена Хахаль лежит и избегает... Смотри, как красиво получилось».

Алёнка поселилась у Яшумовых (у бабушки). А через год, прослушав, её взяли в ССМШ (среднюю специальную музыкальную школу). По специальности фортепьяно.

Яшумовы купили второе пианино. И его пришлось поставить в комнатку Арины Михайловны. Бабушка юной музыкантши теперь постоянно вздрагивала на кровати, когда отдыхала вечерами. А иногда от бурных напорных звуков пианино её начинало трясти. Как на катящейся по плохой дороге телеге. «Чёрт тебя! – просыпалась Арина Михайловна и утирала слюну. – Перестанешь ты или нет? Одиннадцатый час ночи!»

– До одиннадцати имею право! – весело отвечала внучка. И ещё пуще надавала.

– Наш маленький Ломоносов в юбке, – всегда гладил головку маленькой музыкантши Владимир Константинович. По утрам, за завтраками.

Глебка от Алёнки безнадежно отстал.

4.

Глеб Владимирович смотрел в окно на весеннюю Мойку. На Мойку уже без льда.

Сегодня в небе обычное для весеннего Петербурга солнце. Затёртое, скудное. Упали в воду Мойки перевёрнутые дома. Вода меж берегов гладкая, тишайшая. Будто и не вода это вовсе, а перевёрнутое небо, упавшее в реку вместе с домами. Яшумов всё смотрел. Думалось о чём-то далёком, несбывшемся, потерянном.

Как всегда, привёл в чувство зазвонивший телефон. Конечно, опять к Акимову. И понятно зачем. Даже не стал собирать всю рукопись на окне, просто затолкал часть её в папку и понёс как мусор.

Проходя редакцию, удивился – на своих местах были только художник Гербов и верстальщик-компьютерщик Колобов. И оба они сомкнули ладони в замок и помотали Главному, мол, держитесь, Глеб Владимирович, мы с вами.

В кабинете Акимова вся редакция сидела вдоль двух стен. Шпалерой к внушительному столу с директором. Никакого другого стола (для сотрудников) предусмотрено не было. Просто сидели бедные родственники. Которых зовут сюда раз, ну, много два раза в году.

Все заулыбались, когда вошёл Яшумов. Пришёл спаситель. Спаситель поможет. Один только Плоткин не повернулся. Подавшись вперёд, смотрел на начальника за столом. Смотрел неотрывно. С каким-то разоблачающим восторгом: ну, что ещё сегодня выдумаете? Но Акимов не видел никакого Плоткина, Акимов перебирал на столе бумажки.

Показал Яшумову на стул. Получалось, Глеб Владимирович удостоился чести сесть даже перед начальником.

– Галина Петровна, все собрались? – повернулся начальник к секретарше, сидящей с блокнотом и ручкой. Та подтвердила: все, Анатолий Трофимович.

Акимов откашлялся и начал как на сцене в театре:

– Господа, я собрал вас...

Гриша Плоткин тут же подхватил:

– ...чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие: к нам едет ревизор!

Все рассмеялись.

Акимов смотрел на храброго еврея: умный, да? отважный, да?

Тот сразу на попятную: цитата, всего лишь цитата, Анатолий Трофимович. Мол, продолжайте. Внимательно слушаем вас.

Акимов продолжил:

– Буду краток. Вчера я был в отделе культуры. В администрации губернатора. У Воскового Вениамина Антоновича. Он сообщил мне приятную новость: администрация губернатора приняла решение выделить нашему издательству пять грантов. Для пяти наших молодых, но перспективных авторов, которые не могут опубликоваться за свой счёт. Голубкиной Галине, Гриндбергу Михаилу... ну и остальным. Вы их знаете.

Все сразу оживились, а женщины даже зааплодировали.

– Но есть ещё один вопрос, – поднял руку Акимов. – Наш, текущий... Как вы знаете, в наше издательство ходит уже несколько месяцев Виталий Савостин. Тоже молодой и тоже перспективный автор. Ходит, повторяю, уже не один месяц. Но почему-то наш главный редактор никак не может (или не хочет?) сработать с ним. Видите, Глеб Владимирович, я ничего не скрываю, говорю при всех. Так вот. Мы с Вениамином Антоновичем решили передать перспективного автора под крыло Плоткина Григория Аркадьевича. Теперь курировать Савостина будет он. Надеюсь, вы не против, Глеб Владимирович? – повернулся к Яшумову: – Теперь вы сможете заниматься более приятными авторами.

Вот это ход! – отпали сотрудники.

Яшумов вскочил, тут же сунул растрёпанную папку на колени Плоткину. Метнулся к столу и затряс руку директора:

– Вы спасли меня, Анатолий Трофимович, честное слово, спасли! Спасибо вам, спасибо! (Что называется, век не забуду!)

И был действительно рад, искренен. Однако когда быстро шёл коридором к себе, почти не слышал Гришу, который бежал с листами Савостина и извинялся, что ни сном ни духом! Глеб Владимирович! Поверьте!

В кабинете главред собирал с подоконника оставшиеся листы:

– Я правда счастлив, Григорий Аркадьевич. Честное слово. Я освободился от Савостина. Но здесь мне вряд ли уже работать. Вот – держите! – добавил кучу листов на грудь Плоткину.

– Да я-то куда теперь? – чуть не заплакал Гриша Плоткин. Он же – Гриша Пушкин. – Глеб Владимирович!

После работы, свободный (ни одной савостинской цитаты в голове!), вышел на канал Грибоедова, к мосту о четырёх львах. Издали больше похожих на верных псов, охраняющих мост. Терпеливо ждущих, когда пройдет по мосту, как дух свят, сам хозяин – Александр Сергеевич Грибоедов.

Тоже шёл. Почему-то не смотрел ни на львов, ни на воду канала. Только под ноги. Словно ощущал в крови гудящее время. Никаких суеверий, примет, связанных с мостом, – только ударающее в уши красное время. Отец тоже всегда тут ходил. Не верил тогда его ощущениям. А теперь и сам всё это испытывал.

На противоположной стороне канала обернулся. Львы, казалось, морщились, отворачивались, готовы были чихать от ползущего по берегу и пукающего дымом автомобиля. Но всё равно после моста со львами стало на душе легче.

Дома ждала неожиданность – Анна Ивановна приехала из Колпина. Одна. Без Фёдора Ивановича. Привезла дочери и зятю свежую курицу. «Рубленную» сегодня. Прямо утром, Глеб Владимирович.

Яшумова передёрнуло от слова «рубленную». Но поблагодарил. И понял: тёща останется ночевать – темень за окном. Пригласил поужинать.

– Да мы с дочей уже натрескались, – опять по-простому весело ответила Анна Ивановна. – Разве только чаю пошвыркать с вами. – И снова села за стол.

Каменская по-быстрому накрыла мужу, села и снова отвернулась к телевизору над холодильником. К своему мужскому кино.

Однако Анна Ивановна не могла спокойно пить чай. Особенно когда у дочери в телевизоре начинались драки. Драки громкие, ментовские, отвязные. Анна Ивановна вздрагивала, пугалась, глядя на экран.

Яшумов ел, объяснял «несведущей»: «У них работа такая, Анна Ивановна. Бить, пинать людей и при этом громко крикать. По-мужски. Знаете, так бывает, когда раскалывают чурбаны. Колуном. С громким криком. Так и здесь. Привыкайте».

Каменская нахмурилась. Выключила телевизор.

После ужина, извинившись перед Анной Ивановной, с ноутбуком Яшумов направился в спальню.

Решил посмотреть сайты с серьёзной литературой. Открывал, в общем-то, интернет-кладбища. Погосты. Искал могилы знакомых, читаемых когда-то авторов. Чтобы узнать, что те написали в своих гробах нового.

Неожиданно для себя набрал в поисковике – «Савостин». Поправился: «Виталий Савостин».

Ноутбук покрутил колёсико, загружая. Есть! «Виталий Савостин». Точно! «Война Артура!» Да что же это такое! Да куда же от него деваться! На серьёзном сайте. Невероятно!

Ночью опять снился гад Савостин. На этот раз он не пускал Глеба Владимировича к губернатору. Не давал прорваться. Они боролись возле высокой дворцовой двери в резьбе и узорах. Савостин пытался заломить руки Яшумова назад. Как спецназовец. Яшумов вывернулся и двинул Савостина в ухо. Тот щучкой улетел куда-то. Но тут на Яшумова навалились другие писатели губернатора, скрутили и повели. Как каракатицу какую. «Не-ет! – кричал Глеб Владимирович прямо в паркет перед глазами. – Не выйдет у вас! Не пройдёт! Не-е-ет!»

Анна Ивановна замолчала в постели рядом с дочерью. Вслушалась в темноту. «Не-е-ет! – доносилось из коридора. – Не дамся! Не-е-ет!»

– Чего это с ним?

– Не обращай внимания – закидон.

Дочь снова приобняла мать: «Ну говори, говори скорей, что он ещё про меня сказал».

Глава третья

I.

В парке на Крестовском, на русских горках, взлетая к майскому синему небу и устремляясь от туда вниз, в пропасть, Яшумов ощущал себя артистом Почта Банк. Таким же старым и всем надоевшим. Но там-то ради денег, а здесь ради чего? Ради Этой Женщины в шляпке горшочком? Которая сейчас рядом трясётся вся и визжит? Опять риторика без ответа.

Когда всё кончилось и колесница остановилась, вынимали Яшумова из железного устройства под руки. Как инвалида. Двое служителей. Ноги Яшумова подламывались. Жанна суетилась, помогала. Яшумов чуть не упал на живого ослика для катания детей. На его красивую попонку. Но вовремя подхватили и усадили на скамью. Почта Банк бормотал американское, стандартное, «я в порядке, в порядке». Не поднимал опущенную голову. Словно прятался в длинных потных волосах.

Двинулись по парку дальше. Почта Банк обнаружил у себя в руке сладкую вату. «Зачем?» – повернулся к жене. «Поешь сладкого, – успокоили его. – Станет легче». Сунул лицо в вату. Вынул лицо. Стал походить на Деда Мороза. Норма-альный Почта Банк.

До Жанны Яшумов никогда не таскался по таким многолюдным увеселительным местам. Избегал их. Поэтому предложил поехать в Александровский сад. В спокойный сад. Поклониться великим людям России. Глинке, Жуковскому, Лермонтову, Гоголю.

Видя, что жена колеблется, убеждал:

– К памятнику Пржевальскому, наконец, пойдём. Великому русскому путешественнику. Ты же читала его, Жанна. Я тебе давал книгу!

Но на все призывы просветителя по-детски капризно пропели:

– Не хочу к Сталину с верблюдом. Не хочу-у.

«К Сталину». «С верблюдом». Так извратить всё. Вот он – простой народ. «К Сталину с верблюдом». Знал бы бедный Николай Иванович, с кем сравнивают его теперь простолудины.

– Ну хорошо. Давай тогда в Александровский парк. Не в сад – в парк.

Жанна начала что-то такое припоминать. И как хлопнула себя по лбу:

– Так это в Сашку, что ли? Так бы и говорил!

Яшумова опять передёрнуло. Теперь от «Сашки». Так опошлить название парка. Но заспешил за женой. К метро. Нужно было доехать до Горьковской.

В парке жена сразу повела его к Мини-городу. К Мини-Санкт-Петербургу.

Здесь она ходила и трогала бронзовые достопримечательности города. Будто грязными руками захватывала. Бронзовую мини-Биржу, бронзовую Петропавловскую, Исаакиевский собор. Казанский. Видимо, ощущала себя безнаказанным Гулливером. Яшумову хотелось вытащить её из «города» и отшлепать как девчонку. Однако когда огибали святого Петра с ключами, охраняющего город, Жанна и сама поглядывала на Охранника с опаской. А вдруг кудлатый и впрямь возьмёт её и отдубасит по попе.

Яшумов загорелся было повести жену в аллею «Памятные кресла». Рассказать, какие великие театральные деятели там увековечены. И живущие до сих пор, и почившие. Но ученица посмотрела на кресла только издали: «Готовые надгробия для могил стоят. Распродажа. На кладбище». Даже не приблизилась к алее.

Зато среди бронзовых Архитекторов за бронзовым столом вела себя как своя.

Жанна понятия не имела, кто эти люди. Но сразу уселась к ним на специальный, всегда свободный бронзовый стул. Улыбалась. Как среди друзей, *корефанов*. В горшке своём, разрисованном цветочками. В столь любимом коротком ситчике. Чуть только прикрывающем мощные наплывы бедер. Которые всегда убивали просветителя наповал.

Нередко ещё молодым Яшумов тоже приходил сюда. И один, и вместе с Толей Колесовым. За вдохновением. Посмеиваясь, по очереди сидели на этом стуле среди Архитекторов. Но особого

прихода Музы потом не ощущали. А ведь верная примета, как уверяли многие литераторы. И не только литераторы.

Хотел назвать улыбающейся жене фамилии Архитекторов. Кратко рассказать, кто чем знаменит, но его опять потащили. На этот раз к павильону «Грот». К искусственному сооружению в виде нагромождений больших камней. С арочным входом. Яшумов не был здесь лет десять, и всё изменилось. Теперь, как доложили ему, здесь кофейня под названием «Большекофе», где готовят и подают лучший в городе капучино.

В кофейне внутри «Грота» сидели, как и положено сидеть в пещере – в полутьме. Только с космическими какими-то, еле святыщами дырами по низкому потолку. Напиток действительно оказался вкусным. Как и пирожные... Тихо играла какая-то легкая музыка. *Клёвая музыка*, по аттестации рядом сидящей меломанки. Бармен впереди своего алтаря стоял, раскинув на стойке руки. Вроде гордого гуся с бабочкой.

Ещё походили по парку. Постояли возле круглой клумбы на горке. Под названием «Цветочные часы». И без этих часов было понятно, что пора домой. Но Яшумов никак не мог забыть про Александровский сад. Не мог упустить возможность (редкую!) просветить как-то жену, приобщить её к серьёзному, вечному. Постоять в Александровском, поклониться вместе с ней великим людям.

Жанна начала было опять артачиться – теперь уже сам потащил. И через полчаса (доехали на метро) были в Александровском саду.

Но тут, как на грех, сразу вышли к Пржевальскому. К бронзовому бюсту на постаменте в виде гранитной скалы. Где внизу, у скалы, действительно лежал, поджидал Николая Михайловича терпеливый верблюд. Но «Сталин с верблюдом», как известно, Жанне надоел. Прошла, даже не посмотрела.

Яшумов хотел было к Глинке Михаилу Ивановичу, но его и тут потащили в другое место. И потащили, к немалому его удивлению, к «Танцующему фонтану» возле здания Адмиралтейства. Неужели была здесь? Но с кем? С первым мужем? С каким-нибудь Дядей Хахалем?

Стояла перед фонтаном намного впереди Яшумова. Словно охватывала его весь. Словно хотела утащить все выплывающие, бьющие к небу струи с собой. Как сверкающее лёгкое дерево, по меньшей мере.

Яшумов не любил салюты, фейерверки, фонтаны. Но это зрелище для знати и простых людей – его захватило.

Дома ночью он крепко любил жену. Потом жалел. Глупую милую свою простолудинку.

2.

С Плоткиным обедали во всегдашнем дешёвом кафе неподалёку от издательства. Гриша, отпиливая от шницеля вилок, кидал куски в рот, говорил о недавно прочитанной книжке. Под названием «Почему мы едим»:

– Автор американка, писатель и критик Мередит Маран. Она обратилась к двадцати известным американским писателям с одинаковым вопросом: «Почему вы пишете?». И, как оказалось, причины у всех, в общем-то, одинаковые. И я не буду сейчас о причинах. Меня зацепило другое. Короткий совет Джоди Пиколт (кстати, активно переводимой у нас) о писательском застое. О пресловутой прокрастинации. Цитирую по памяти: «Пишите даже тогда, когда вам не хочется. Муза тут ни при чём. Всегда можно отредактировать плохую страницу, но нельзя отредактировать пустой лист». Здорово сказано! Ничего не добавишь!

– И когда это она написала? В каком году?

– Книга переводная. Но свежая. Думаю, года два-три назад.

Яшумов усмехнулся:

– Точно так же, как эта американка, говорил ещё мой Наставник. В литинституте. Мастер. (Яшумов назвал фамилию.) Только говорил он это нам, студентам, более двадцати лет назад. Цитирую. Тоже по памяти: «Пишите много, пишите плохо. Но пишите постоянно, не останавливаясь ни на неделю, ни на день. О вдохновении забудьте. Всегда можно извлечь что-то даже из плохой

страницы. Но ничего не вытащишь из ненаписанного. Из белого листа. Запомните это, друзья».

Плоткин оживился:

– Так это говорит как раз о том, что природа творчества всегда была и есть одинакова. У всех, Глеб Владимирович!

У Яшумова сразу заболели зубы. Как и двадцать лет назад после слов Мастера.

– Строительный мусор на стройке просто сгребают, вывозят и бросают на свалку, Григорий Аркадьевич. Вот и всё.

– Не скажите, Глеб Владимирович. Не скажите. Из мусора порой извлекают жемчужины, само-родки...

Гриша смотрел на патрона с сожалением: отстали вы, Глеб Владимирович. Безнадёжно отстали. Говоря по-русски – консерватор вы, Глеб Владимирович.

И консерватор почувствовал упрёк, нахмурился. Сказал, точно оправдываясь: «В обычной речи, Григорий Аркадьевич, в обыденной речи необразованных людей, которую мы слышим постоянно, этот мусор ещё можно как-то выдержать. Принять. Можно. Согласен. Но на бумаге когда он – извините: никогда».

На воздухе Плоткин сразу закурил. Шёл и дымил как-то плотояднейше – дым, казалось, шёл даже из ушей. Яшумов следил. Еврей, к тому же тщедушный – и курит. И в рюмку хорошо заглядывает. Жены нет. Но куда смотрит еврейская мама?

Навстречу неуверенно шли и всё время останавливались пожилые муж и жена. Они явно заблудились в городе. Спрашивали у прохожих, показывали бумажку.

Яшумов внимательно выслушал. Подробно объяснил всё, указал направление. И важно понёс себя дальше. Как Санкт-Петербурга раритет, по меньшей мере. Как его сокровищница. Плоткин посмеивался, дымил на раритет со всех сторон.

Над рукописью Савостина в редакции теперь сидела Лида Зиновьева. Переписывала так называемый роман. Весь. Уже месяца полтора. Очень красивая женщина с золотым руном приходила с утра, садилась и переписывала. Её даже посадили за столик в углу. Спина ко всем. Где она, как изгой, как заключённая, корпела над бездарным текстом, стремясь сделать из него хоть что-то сносное. Плоткин (назначенный куратор Савостина) стоял теперь возле нее, положив ей руку на плечо. Как для фотографии. Как бы вдохновлял. Заряжал энергией. Или, сбив настройку, чуть не плакал. Сам Виталий Савостин ходил на цыпочках за её спиной. И иногда оставлял цветы. На её тумбочке, где похоронены были другие рукописи. Других Лидиных авторов.

И сегодня Гриша не забыл постоять с рукой на плече у мученицы. Я виноват, Глеб Владимирович! Я! Я один! Но Яшумова это словно бы уже не касалось, с улыбкой прошёл к себе.

Вечером, ужиная, всё думал о книжке, о которой говорил Плоткин. «Почему мы пишем». Жанна поела первая, сразу отвернулась и махнула пультом телевизору. (Без телевизора ведь никак нельзя.) Сегодня железобетонного Макса не было. Сегодня у Жанны был Юмор. Кривлялась семейная эстрадная пара. Надоевшая уже всем до чёртиков. Он в годах, сутулый, с головёнкой, облитой причёской на пробор. После каждой шутки делал бессмысленное дебильное лицо. Для зрителей. Фирменный свой знак. Чтобы зрители начинали смеяться и хлопать.

Жена была гораздо моложе. С широко расставленными большими глазами походила на кота Базилио. После хохмы своей – всегда пела и танцевала. Тогда и старичку приходилось тоже петь с ней и ножки вскидывать. Дружно. Как в оперетке. Куда ж тут денешься?

– Неужели нравится эта пошлость? – спросил муж.

– Нет, – коротко ответила жена. Повернула лицо: – Мама с папой нравится. Видел бы ты, как они смеются. – И снова смотрела на экран, изучая феномен.

Да-а, тут только руками развести. Яшумов поднялся, сносил посуду в мойку и с ноутбуком пошёл в спальню. К своему любимому креслу в углу. У торшера. Напротив притемнённой супружеской кровати с атласным покрывалом.

Раскрыл ноутбук. Нашёл рекомендованную книгу во Флибусте и скачал. Бесплатно. Яшумов не платил за электронные книги принципиально. Другое дело – бумажные. Впрочем, многое нужное

для работы и души брал у Ани Колесовой. У Анны Ильиничны. Тоже, можно считать, бесплатно.

Итак, скачал, открыл в своей читалке, углубился. Что называется, с карандашом в руке. Для выписок и подчёркиваний:

...в Америке ожидают или ищут своего издателя более миллиона рукописей, а одобрен будет один процент...

А как у нас, в России? Неужели такая же цифра?

...«Книгу невозможно закончить. Её можно только оборвать». (Оскар Уэльс.)...

...«С самого раннего детства, возможно, лет с пяти-шести, я знал, что когда вырасту, обязательно стану писателем». (Джорж Оруэлл.)...

Из его же рассуждений оказалось, что *мотивы, заставляющие писать*, у всех пишущих, в общем-то, одинаковы. Их немного. Это *чистый эгоизм*, когда ты хочешь выглядеть умнее, чем ты есть, хочешь, чтобы о тебе говорили, помнили после смерти. Так называемый *эстетический экстаз*. Ты воспринимаешь все красоты мира, видишь всю красоту слов, их точную организацию. *Исторический импульс*. Твоё желание видеть события такими, каковы они были и есть. Ты хочешь сохранить их для потомков. Ну и *политическая цель*. Хотя твоё утверждение, что искусство должно быть вне политики, уже твоя политическая позиция.

Ну и дальше шло то же самое, те же самые причины, только поданные остальными авторами по-своему, оригинально, как и должно быть у художников:

...«Записывать слова на бумаге – это тактика тайного головореза, который вторгается в чужое личное пространство, навязывая читателю своё, авторское восприятие...» (Джоан Дидион.)...

...«В реальной жизни вы не вольны управлять чужими судьбами, не можете отвечать за личные отношения, вы даже не в состоянии наладить контакт с собственными детьми. Но вы начинаете писать – и на долгое время становитесь тем, кто полностью берёт ответственность на себя». (Мэг Уолитцер.)...

Яшумов прокрутил, пропуская несколько страниц:

...Исабель Альенде: «Когда я начинаю очередную книгу, то понятия не имею, куда она меня приведёт...» (Это как же, уважаемая?)

...«Если сочинение книг было бы запрещено законом, я сидел бы в тюрьме». (Дэвид Балдаччи.) Молодец, Дэвид!

...«Почему вы не пишете детективы?» Знаете, какой был его ответ? *«Потому что я недостаточно умён».* Дважды молодец, Дэвид!

А Дэвид всё хохмил, не унимался:

...«Вряд ли вам захочется оказаться на операционном столе под скальпелем хирурга, который говорит: “Попробую-ка я сегодня пооперировать левой рукой”. Однако именно в этом суть писательства».

Молодчага Дэвид! В шутке умудрился сказать самое точное о писательстве...

Прошёл час, а может быть, и все два. Яшумов сидел уже с застывшим лицом. Плоткину понравился совет американки о застое в писательстве и как с ним бороться. И она, наверняка, написала о застое временном. Из которого можно выбраться, в конце концов. Но как быть с застоем вечным, который поразил тебя лет двадцать пять назад. В каком мусоре нужно копаться, какие ежедневные, как попало написанные страницы в этом тебе помогут?

Жена пришла в спальню. Муж не видел её, торчал в жёлтой подсветке от ноутбука. Вроде сталагмита в Крыму. В Скельской пещере. Где была один раз. И очки ещё. Блескучие, голые.

Готовила постель ко сну:

– Глеб, тебе надо купить оправу к очкам.

– Это зачем?

– Красивше будет, – раскинула на кровати и стала поправлять свежую простыню жена.

«Красивше будет». Мистер Хиггинс с длинными волосами опять хмурился: Элизы Дулиттл для светских раутов никак не получалось. Как ни учи, ни старайся, ни просвещай.

3.

...Летняя молодая женщина с красивыми стройными ногами шла навстречу размашистой вольной походкой. Смещаясь то вправо, то влево от прямой своей линии. От «курса». Прошла. Унесла с собой густое золотое руно с головы на плечи и спину.

Григорий Плоткин закрыл рот и побежал. Женщина уже поднималась по трём ступеням к двери издательства. Откуда он, Плоткин, только что вышел на обед.

В пустом коридоре – догнал:

– Вы автор? Пришли с рукописью?

Красивая женщина удерживала у бедра тонкую папку. Удивилась:

– Нет. Я пришла насчёт работы. Мне посоветовали обратиться в ваше издательство.

Плоткин молчком подхватил под руку и повёл. Женщина начала тянуть руку, явно вырываться.

В пустой редакции (все ушли на обед) усадил на стул. Сам сел и стал рассматривать женщину как диковину. Откровенно, с улыбкой. «Такая красавица – это же логотип для нашего издательства. Готовый логотип!» – проносилось в голове у маньяка.

– Что вы так смотрите на меня? – уже сердилась женщина. Чувствовала себя голой перед кучерявым Пушкиным.

– Я – ведущий редактор, – успокоил красавицу Плоткин и тронул её колено. Якобы дружески. Дескать, я и козёл ответственный.

Сотрудники редакции, когда вернулись с обеда – раскрыли рты: незнакомая красивая женщина смеялась и взмахивала рукой (да ладно!). А Плоткин как-то снизу, как бобик, лаял ей свои байки и анекдоты.

Яшумов проходил редакцию последним. Плоткин вскочил:

– Глеб Владимирович, подождите!

В кабинет вошли втроём.

У женщины было красивое свежее лицо. Сидела напротив. Плоткин не умолкал, тараторил. Ему не хватало только указки, чтобы показывать патрону на все её красивые части и места. Невольно думалось, что такой красавице нужно работать в Доме моделей, в рекламе для Лореаль Париж, а не в каком-то там издательстве. Что вряд ли у такой есть мозги. Но оказалось, что дама семь лет назад окончила филологический. И с отличием. Но работать стала почему-то простым корректором. (Назвала какую-то газету, о которой слыхом не слыхивали.) Получает мало. А надо растить, поднимать первоклассника сына. (Мать-одиночка, сразу отметили Яшумов и Плоткин.) «А ваше издательство солидное. Словом, мне посоветовали». Красивая женщина говорила серьёзно, что было тоже необычно. Ожидались от неё какие-нибудь ужимки, пальчики в воздухе, кокетливый смех.

Яшумов задумался. Плоткин замолчал. Женщина завязывала папку с документами, ждала.

– Хорошо, Лидия Петровна. Сделаем так. Вот вам рукопись (подал через стол), пойдите с Григорием Аркадьевичем, он выделит вам место. Ну и отредактируйте этот текст. Удачи вам.

В первый день Лида сидела точно так же, как теперь сидит с рукописью Савостина – в углу. Повернувшись ко всем спиной. Сотрудники (даже Плоткин) ходили у неё за спиной почему-то тихо. Не смеялись, как обычно, не шутили.

Ближе к пяти она вдруг вскочила и сказала Плоткину, что ей нужно бежать домой. «Сын у меня в продлёнке. В пять его нужно забрать». Хотела взять с собой и рукопись.

– Нет, милая Лида, выносить рукописи из редакции никак нельзя. Завтра продолжите.

Женщина схватила свою тонкую папку с документами и заторопилась к выходу. Мелкой побежкой. И совсем некрасиво. Цепляя столы и даже чуть не уронив (подхватила в последний момент) настольные часы со штурвалом, которые всегда неизменно стояли возле редактора Потупалова. До этого момента, чёрт побери!

Все сразу окружили стол в углу.

Женщина отредактировала всего три страницы. Но как! Исправляла, подчёркивала, помечала редакторскими значками. (Откуда значки-то знает? Хотя понятно – корректор.). Да-а, отходили от

столика сотрудники. Класс! И только один Потупалов вернулся с тёмным лицом к своим часам со штурвалом.

Зиновьева работала над повестушкой в три листа шесть дней. Всю рабочую неделю! И каждый раз в полпятого вскакивала и убегала за сыном. И все опять толпились и тянули головы к оставленным страницам.

При виде Яшумова (Главного), разбрелись по своим местам. Чтобы остаться наедине с восхищением. Или с тёмным лицом. (Предпенсиянер Потупалов.)

Наконец настал черёд Яшумова. Плоткин привёл Зиновьеву и с деланным безразличием положил её работу Главному на стол. Он, Плоткин, вынужден это сделать. Но он умывает руки.

Яшумов (тоже артист) снял и похукал дыханием на голые свои очки, тщательно протёр их платком, снова надел и лишь после этого углубился в текст. Сразу стал делать пометки. Ставить то ли вопросительные, то ли восклицательные знаки.

Зиновьева сидела внешне спокойно. Даже разглядывала бородатых корифеев на стенах. Плоткин играть безразличие больше не мог – метался. Бил кулачком в кулачок. Точно его протеже может-таки облажаться. И не сорвёт-таки банк!

Яшумов всё читал. Рукопись была из самотёка, недавно отвергнута. Близкая к графомании. Яшумов специально дал её филологине. С красным дипломом.

Перевернул наконец последнюю страницу и накрыл ею всё отредактированное. Смотрел на претендентку, словно бы не веря, с некоторым изумлением. Сказал:

– Это можно теперь даже читать. Отлично сделали, Лидия Петровна, честное слово!

Мужчина и женщина придвинулись к столу, Главный поднял руку:

– Но!.. но лишней ставки редактора у нас нет. И вы, Григорий Аркадьевич, прекрасно знаете об этом. (Мол, зачем наобещали?) Могу предложить вам, Лидия Петровна, только одно: работать у нас по договору. С бухгалтером я всё уточню. Согласны?

Женщина не совсем поняла. Плоткин тут же начал объяснять. Временно, временно, Лидия Петровна. Прямо при Главном (будто исчез тот, испарился!) выдавал все секреты издательства: Камышева Лиди (ваша тёзка! тёзка!) через месяц уйдёт в декретный, Потупалов вообще адью, на пенсию!

– Через полгода, – добавил Главный...

Так Зиновьева Лидия Петровна попала в издательство. Попала прямо с улицы. Без рекомендаций, без блата.

Потупалов через полгода и правда ушёл. Вместе со своими штурвальными часами. И Лиду взяли в штат.

Ещё в первые месяцы, как Зиновьева стала работать в издательстве, все твёрдо уверились: Лиди может вытащить любую рукопись. Довести её до ума. Капризного ли, давно заевшегося постоанного автора, талантливого ли, но не шибко грамотного дебютанта.

Но когда ей на стол положили «Войну Артура» – это был её апогей работы как редактора. Такую вершину могла взять только она. И все ходили на цыпочках. И ждали страшного: что будет с Лидой! что будет! А сам инициатор (Плоткин) стоял. С рукой на её плече. Страдал: я виноват! Я!

4.

Телефон в большой прихожей был всегда. Сколько помнил себя Яшумов. Маленьким он подходил к журнальному столу, вставал на носочки, осторожно снимал трубку. Подносил к уху. Слушал чужие голоса, покачиваясь. Сама – немного только больше трубки. Иногда говорил: «Квартира Ясумовых». Или: «Ясумов». Маме или папа забирали трубку и сами говорили в неё. Высоко. Как будто улетали с трубкой в небо.

Глебка стал Глебой, школьником. Уже сам принимал звонки и названивал. И товарищам, и подругам. Отец с параллельным аппаратом нередко кричал из своего кабинета: «Глеб, положи наконец трубку! Я жду звонка!» Дальше Яшумов – студент. И университета, и литинститута. Работа в издательствах. Толя Колесов, который мог болтать по телефону часами. Но пять лет назад Коле-

сова не стало. И только Аня, жена его, по-прежнему иногда звонит со своего домашнего. Который тоже оставила только в память о муже.

Каменская не раз говорила, что от телефона нужно избавиться. «Это же полный отстой, Глеб! Зачем платить? Мобильные кругом!» Но Яшумов смотрел на кнопочный лупоглазый аппарат (а был ведь когда-то и дисковый) и, что называется, рука не поднималась. Позвонить ли на станцию там, пойти ли туда самому и отказаться, расторгнуть договор...

Междугородный зазвонил в прихожей глубокой ночью. Супруги как по команде сели в кровати. Надев одну тапку, Яшумов судорожно шарил ногой вторую. Вдел наконец ногу, пошёл.

Сдёрнул трубку, оборвал заливистые трели:

– Да!

Звонила Мария Скуредина. О которой и думать давно не думал, о которой просто забыл. Звонила из Екатеринбурга. Сразу сказала, что лежит в хосписе, что умирает. Голос женщины то приближался, становился явственным, то уходил куда-то, прятался. Яшумов нервничал – видел сбоку серый мешок ночной рубахи и даже вытянутое лицо с буквой «о».

– ...Глеба, прости, что разбудила, что так поздно звоню. Но я хочу попрощаться с тобой. Прости меня, подлую, что предала тебя, что так поступила с тобой. Прости. Вот Бог меня и наказал.

Скуредина заплакала.

У Яшумова сжалось в груди. Что-то бормотал, успокаивал, но горло сдавливало, чувствовал, что сейчас и сам заревёт.

– ...Прощай, Глеба. Ещё раз прости за всё. Не болей, пожалуйста. Живи долго, дорогой. Прощай.

– Маша, я... Я тебе... Я хотел сказать... У нас с тобой...

Рука с трубкой дрожала. Придавил короткие гудки. Рукавом пижамы вытирал глаза. Но к нему уже подступали:

– Что это было, Глеб? Кто эта Маша?

– Первая жена.

– Но ты же не был женат. У тебя в паспорте ничего нет!

– Мы не были расписаны, – ответил честный супруг.

Два дня не мог работать. Сидел в издательстве, гонял в руке карандаш. Сердобольный Плоткин уходил из кабинета на цыпочках. Уводил с собой любопытных.

Яшумов шёл из редакции на воздух. Шёл куда глаза глядят. Стоял на мосту о четырёх львах. Но никакого гудящего красного времени не чувствовал. И только морщился вместе со львами от какой-нибудь иномарки, ползущей вдоль канала и воняющей.

Вечером дома его уже не трогали, не расспрашивали. Только пододвигали еду. Как больному. В спальне сам отворачивался от жены. Смотрел в стену.

В воскресенье купил цветы и поехал на Кронверкский к родной сестре Маши – Екатерине.

Стоял перед домом под номером 27 дробь 1. Шестиэтажным. Вспоминал: на третьем или на четвёртом?

Екатерина его не узнала. А узнав, сразу заплакала. Припала к груди, к плащу. Яшумов гладил сильно постаревшую женщину, которую тоже еле узнал.

Сели к столу. Отыскивали в лицах далёкое, за двадцать лет ушедшее безвозвратно. Екатерина начала рассказывать, опять плакать.

Маша заболела полтора года назад. Пошла с давним уплотнением в левой груди. Тянула, дурочка, до последнего. Боялась. Чувствовала, что всё уже серьёзно.

Взяли биопсию – рак. Грудь удалили. Прошла химию. Вроде бы наладилась. Стала опять работать. Но... но всё вернулось. (Екатерина заплакала.) Сейчас в хоспис уже попала. Умирает. Нужно ехать к ней, а не могу. И сердце, и трудно ходить. Тоже больная насквозь. Что делать, Глеба, что?

Яшумов гладил руку женщины, утешал: «Я поеду с тобой, Катя. Не плачь. Завтра отпущусь на работе и сразу в агентство за билетами. И первым же рейсом вылетим».

Билеты купил на рейс в среду. На утренний. Позвонил и сказал об этом Кате. Договорились, что Яшумов заедет за ней рано утром на такси. Но вечером Катя вдруг сама позвонила. Не могла говорить, давила слезами: «Глеб, родной... Маша умерла... Умерла, понимаешь... Не успели...»

– Кто сообщил?

– Сергей. Зять. Бывший. Дубинин. Не успели, Глеба...

Хм. «Бывший». Пародийный Иванов-Дубинин. Немало крови попортил. «Бывший»... Да что это я!

– Горе, Катя, большое горе. Крепись. Я сейчас приеду, переночую у тебя, а утром всё равно вылетим. Не плачь, Катя. Я скоро буду.

Быстро собирался, кидал в сумку пижаму, полотенце. Бритву. Зубную пасту, щётку.

Словно проводить, из Колпина приехали Анна Ивановна и Фёдор Иванович. С испугом смотрели на бегущего зятя, который собирался на похороны жены. Первой. Неизвестной. А Жанка стоит, скрестила руки на груди и только ноздри раздувает. Дела-а.

В самолёте держал руку торопливо спящей, измученной женщины.

Екатерина была старше Марии на пятнадцать лет. Всю жизнь прожила в доме на Кронверкском. Родители у сестёр умерли рано. Пришлось старшей воспитывать младшую. Сестру-оторву, по словам воспитательницы. Сама замуж так и не вышла. Хотя женихи были.

Выше лаборантки в каком-то НИИ не поднялась. Но сестру выучила. Первой была спецшкола с английским уклоном, а дальше – университет. И вот теперь осталась одна, и некого больше воспитывать. Яшумов невольно сжимал влажную вздрагивающую руку. Смотрел в окно на плывущие облака...

Яшумов знал Марию Скуредину ещё с университета. Где среди студентов она была просто Машка. Машка Скуредина. Весёлая хулиганка с живыми глазами. Учился даже с ней на одном курсе. Факультеты, правда, разные. Молоденький, Яшумов не был тогда снобом, вовсю зажигал. На какой-то вечеринке даже пил с Машкой твист, опасно запрокидываясь назад. Проводил потом к шестизэтажному дому на Кронверкском. Попытался пообжиматься с Машкой, но получил сразу в ухо. Со смехом уходил к каналу, но больше к Скурединой не подваливал.

После диплома из-за плохого зрения Яшумов от армии откосил. И даже остался работать в Питере. В одном среднем издательстве, где понравился ещё с преддипломной практики.

Сначала, понятно, – младший редактор. Даже корректор. Предварительно вычитывал рукописи. Чтобы отдать их дальше, более опытным. Через год стали доверять и ему серьёзные работы.

И вот однажды, как говорится, в коридоре: «Машка, ты?» – «Я, чувак, я». Обнялись, похлопались. Оказалось, принесла работу, перевод с испанского. И уже не первую у неё. Называла авторов, загибала пальцы. Правда – всё в других издательствах.

И хотя Яшумов ни с какого боку к переводам – сразу начал таскаться за Машкой, служить ей. Рестораны, рок-концерты, кино. Через месяц-другой всё перешло в профессорскую квартиру Яшумовых. Где отец и мать ходили возле комнаты сына (закрытой) и только вздрагивали от внезапных ударов долбёжной музыки.

После внушения отца сыну – громкая музыка перешла в дом на Кронверкском. И уже там родная сестра любимой ходила и хваталась за виски. В конце концов, страсть молодых немножко поубавилась, поутихла. Из-за двери стало доноситься жалобное, даже плаксивое: «Остановите музыку! Прошу вас я! Прошу вас я!»

Молодых настойчиво подвигали к свадьбе, к загсу. «Ещё чего!» – хохотнула Машка прямо в лицо профессору. Екатерина тоже попыталась сломить сестру, направить в нужную сторону в Питере. В сторону Дворца бракосочетания. «Пошла в яму, старая дева!» – ответила лихая Машка. Ну а верный Глебка – бобик навек, – только ластился к хозяйке, вилял хвостиком, во всем подерживал.

Первый год так и кочевали из одной квартиры в другую. На второй – закрепились наконец у Яшумовых. С утра Глеб отправлялся на работу в издательство. Мария садилась за свои переводы.

Ну а потом появился Иванов-Дубинин. В редакции, точь-в-точь как Савостин теперь, он вальяжно садился перед Яшумовым и кидал ногу на ногу. Кренделем. Только был без петуха на голлове, а лысым. Как яйцо.

Работая над рукописью лысого, Яшумов постоянно морщился – Дубинин обгладывал и обсасывал авторов «Юности». Особенно Василия Аксёнова. Косил под него. Но главному редактору это почему-то нравилось. Опекал Дубинина. Думал даже двинуть его роман на разные премии. И автор с Урала ходил по редакции гоголем.

В издательстве они и снюхались. Машка и Иванов-Дубинин. Глеб сам их познакомил мимоходом в коридоре.

Через неделю он увидел свою Машку в метро. Она вышла из вагона с каким-то мужчиной в вязаной чёрной шапке до глаз. Яшумов входил в вагон, а они выходили через другую дверь. Уже не сомневался, что это Иванов-Дубинин, но зачем-то тянул голову, пытался разглядеть его в побежавшей назад толпе.

Дома трусил, ни о чём не спрашивал. Ну а через день была банальнейшая записка из дрянного бабского романа, брошенная на кровать: «Яшумов! Я ухожу от тебя. К кому – не важно. Не ищи меня. Прощай!»...

Яшумов всё смотрел на плывущую в иллюминаторе белую вату. Со стыдом вдруг вспомнил, как рыдал у Толи и Ани Колесовых. Бил себя зачем-то в грудь. С силой ударял. И те не знали, что с ним делать, как унять...

И вот виновница его тех давних страданий умерла. И жалко было её сейчас до слёз. И с Дубининым своим не нашла счастья. Как рассказала Екатерина, тоже бросила его. Сама...

...На весеннем кладбище где-то за городом покачивались голые сырые деревья. Галки подлетали над ветками, словно не могли найти себе надёжного места в них.

Маша в белой шапочке казалась малолеткой, девчонкой-подростком с румяными щёчками. Просто легла в большой гроб и сложила ручки. Для прикола. Прикалываясь перед одноклассниками: фоткайте меня скорей! Но одноклассники и одноклассницы давно стали взрослыми, стояли понуро с обнажёнными головами или в черных платках, ждали окончания церемонии. И больше почему-то было мужчин. «Неужели всем им позвонила? Перед смертью?» – нелепо проносилось у Яшумова.

Какой-то крупный дядя, казавшийся нанятым профессионалом, заученно говорил над покойной подobaющие слова.

Фальшиво и громко заиграли трубачи, и гроб опустили в могилу. Все стали подходить и кидать землю. Яшумов держал Катю под руку. Но та вдруг сильно качнулась. Упал на сторону костыль, грузная женщина начала заваливаться. Еле устоял вместе с ней, удержал. Нагнулся, поднял, подал костыль. И крепко удерживал бедную Катю, пока она приходила в себя. А потом трудно сгибалась, чтобы взять свою горстку и кинуть...

Плачущую, уводил от могилы. Остальные уже с надетыми шапками теснились в аллее, поторпливались с кладбища. Впереди поминки. В лучшем ресторане города. Деловитый муж Маши (последний) громко внушал Екатерине точно глухой: «Обязательно останьтесь на поминки, Екатерина Петровна. Обязательно. Я вас привезу в ресторан и отвезу потом, куда скажете. Обязательно!» Яшумова деловитый муж не воспринимал никак – просто социальный работник при женщине-инвалиде. Держит под руку. Стопроцентный волонтер.

Откуда-то вынырнул Иванов-Дубинин. Прямо к Яшумову. Крепко давнул ладонь. Точно виделись вчера. А не двадцать лет прошло. Всё такой же. В вязаной чёрной шапке. Как бандит с приподнятым чулком. После грабежа. Шёл, говорил нараспев: «Какая женщина! Ах, какая женщина!» «Мне б такую», – чуть не закончил за него Яшумов. Но Дубинин уже приставал к другим, впереди, тоже, видимо, пел о «такой женщине».

Улетели домой в тот же день. Вечерним.

В самолёте Яшумов опять держал руку измученной, торопливо спящей женщины.

5.

В час ночи осторожно вставил ключ в замок. В замок двери собственной квартиры. Действовал как опытный вор-домушник. Начал поворачивать, но ключ не пошёл. Замок заблокировали. Изнутри. Облом, прошептал бы домушник настоящий.

Слушал удары сердца. Кнопку звонка надавил коротко.

Дверь открылась. Жанна. Разбуженная, сердитая со сна. «Не греми. Мама с папой спят». Мягкий короб рубахи ушёл в темноту.

Не включая свет, раздевался. Снял обувь. Пошёл в туалет, в ванную. Туда и обратно проходил мимо комнаты няни. Теперь комнаты для гостей. Где в темноте трубил глубокий бас-профундо, перешибая напрочь нежные колоратурки сопрано. Колпинцы прописались уже постоянно. Музейный период, когда ходили по квартире с раскрытыми ртами, давно закончился.

В спальне лёг на своё место у стены. Отвернулся, руки сунул под голову. Почти сразу уснул.

Проснулся преступно поздно. В девятом часу.

В столовой уже завтракали. Незамеченным мимо невозможно было пройти. Поздоровался: «Доброе утро». Жена будто не услышала. Сидела с оттопыренным мизинчиком, удерживая чашку. Анна Ивановна и Фёдор Иванович растянули «здрасьте». Мол, нарисовался – не сотрёшь.

Мылся под душем. Смывал вчерашнее. Когда в коридоре вытирал полотенцем волосы, теща и тесть уже одевались в прихожей. Нужно было выйти, проводить.

Прощаясь, главный артист, Фёдор Иванович, говорил дочери, но голову повернул к зятю с полотенцем:

– Ну, дочка, почеломкаемся, что ли. На прощанье! – Мол, мало ли. Может, и не увидимся больше. С таким мужем-то. Будешь ли ты жива в следующий раз – неизвестно.

И он и жена *почеломкались* с дочерью. По очереди. Говоря нормальным русским языком – поцеловались с ней.

Сцена получилась фальшивой. Плохо сыгранной. Но было отчего-то стыдно перед стариками.

А они, только кивнув Яшумову, спотыкались уже о порог. Словно бы всё ещё от обиды за дочь.

На работе тоже не заладилось. Сразу вызвал Акимов. В свой царский кабинет. И опять из-за чёртова Савостина.

– Я же не занимаюсь теперь им! – восклицал Яшумов. – Работают с ним Григорий Аркадьевич и Лидия Петровна. Претензии к ним!

Оказалось, графоман прибегал вчера и жаловался, что роман его сократили на треть. На целую треть! Анатолий Трофимович! И сама Зиновьева поработала, и Плоткин руку приложил. А что будет дальше? Дескать, накажите их скорей, накажите!

И Акимов сердито гнул своё:

– Вы главный редактор. Главный! (Пока.) Вы должны контролировать ситуацию с Савостиным. Впрочем, сейчас спросим и у виновников.

Акимов снял трубку и вызвал Плоткина и Зиновьеву. Виновники тут же прибежали. Плоткин пустой, Зиновьева с рукописью в обнимку.

– Как понимать ваши сокращения у Савостина?

Плоткин на пальцах стал разъяснять. Сократили невозможные куски. Невозможные. Нечитаемые. Анатолий Трофимович! Вот пример. Выхватил рукопись у Лидии Петровны. Послушайте...

– Не надо, – сразу поднял руку директор. – Не надо... Вы скажите лучше, что мне теперь делать? Что я теперь скажу Вениамину Антоновичу (Восковому)? После всего, что он для нас сделал. Что?

Подчиненные не знали, «что он скажет». Молчали.

– Словом, идите и работайте. Дописывайте сами эти куски, сочиняйте их. Ещё что-то делайте. Но роман должен выйти в оговоренном размере. Всё!

В коридоре редакторы и Главный не поверили, что так можно разговаривать с подчинёнными. С редакторами-профессионалами. Что такое могло бы случиться в другом издательстве. Да как он смеет! Да это же крепостное право! До чего дело дошло у нас! Да мы сейчас вернёмся и скажем ему! Но всё это уже тихо, почти шёпотом. На ходу.

После Акимова приехал домой раздражённым. Переодевался. Помыл руки и пошёл на кухню. В телевизоре опять кривлялась семейная пара. Плясала, дружно вскидывала ножки. Жанна сидела серьёзной.

Просто голодный Яшумов ел. Но неостывший Яшумов-редактор страдал:

– Ну зачем ты смотришь эту пошлость? Зачем? Ну что там смешного?

– Мама с папой смотрят, – опять быстро ответили ему.

– Да ты-то зачем? Раз тебе не смешно.

– Ладно. Переключу.

«Как у вас расследование по расчленёнке? На Белорусском вокзале? Да вы что?! Не поехали ещё туда? Да я вас!» И дальше, как говорится, уже неразборчиво.

О боги! Отредактировать Эту Женщину никак не получалось.

Яшумов откинулся на стул. Перекосился как инсультник.

6.

...После прилёта с похорон занудный на работу проспал. Храпел ночью как ненормальный. По-чище папы. Утром пришлось ему из дому выходить с женой. Второй. Или третьей? Ни звука о похоронах. Как будто просто съездил к кому-то на дачу. Папа и мама ничего не могли сперва понять. Какая жена? Где умерла? Утром не сел с ними за стол. В ванной прятался. И сейчас идёт рядом, молчит. Где был-то? Расскажи жене! Филолог! Ну вот, уже и к метро вышли. По площади идём.

– Ладно, Жанна. Пока.

И, главное, пошёл. Пошёл от жены. От законной. Так ни слова и не сказав. Не объяснив ничего. К автобусам пошёл. На остановку. В своём пальто с куцыми фалдами. С обтянутой спиной. Похожей на сутулый барабан. В тугой барабан этот хотелось бить сейчас колотушкой. Догнать и бить! Чёрт бы тебя побрал!

В переполненном вагоне умудрилась сесть. Сидела, покачивалась. Чувствовала, что щёки горят, а ноздри раздуваются. (Мама всегда замечала это.) Какой-то хмырь склонился, стал нащёптывать. На штанге висел, выпендривался. Будто бройлер только что забитый. «Пошёл отсюда, козёл!» Вскочила, оттолкнула, пролезла дальше.

На крыльце коллектора встречал ещё один козёл. С усами. С дымящей сигаретой. «Опаздываете, Жанна Фёдоровна». Согнул запястье с часами. Месяц назад тоже попытался. Навис. В тесном коридорчике. Ломанулась дальше так – что к стенке отлетел. И ни звука после. Как будто ничего не было. Просто столкнулись в тесном коридоре. Женщина и мужчина. Девчонки хохотали. Хотя курочек в курятнике шупает. Ох, шупает. Ту же Гулькину Таньку. Да и Ливнева из кабинета его всегда выгалкивается с испугом. Подол оправляет и причёску. А ведь женат. Дети взрослые. Внуки уже есть. Интересно, филолог бегаёт на сторону или нет. Ведь полная редакция курей. Та же Зиновьева. Черноглазая красотка от Лореаль Париж. Видела один раз вблизи. Должна быть в Доме моделей. Сто процентов. Ходить по подиуму. А не над всякой писаниной корпеть. Всегда о ней с восторгом. Даже с любовью. Но как папа. Добрый папа. Хотя кто его знает?..

Девчонки сразу окружили. Только плащ сняла. «Ну как он после похорон? Кто она такая? От чего умерла?.. Да не молчи ты!..»

...Савостин Яшумова не переставал удивлять. Пришёл на этот раз в каких-то гомосексуальных штанах. Розового цвета. И тоже в обтяжку!

Однако не дал себя рассмотреть, сразу взмолился:

– Глеб Владимирович, заберите меня от этих, заберите. (Эти – это Зиновьева и Плоткин.) Вы со мной работали, критиковали, но работали. А эти... Опять подряд сокращают всё. Дописывают чего-то там. Вместо Макса, верного друга Артура, придумали какого-то Клямкина. Тот теперь всё время забывает Артура. Не даёт ему развернуться на полную. Кто он такой, этот Клямкин? Откуда явился? Глеб Владимирович?

Яшумов полез под стол. От сдавленного смеха разрывался. Очередная хохма Плоткина! Плоткин-Клямкин. Клямкин-Плоткин. Нет, это невозможно!

– Что с вами, Глеб Владимирович? – заглядывал Савостин.

– Ничего, ничего. Вот – ручка. Упала. – Бросил ручку на стол.

Потыкал кнопки редакционного. Клямкина–Плоткина не было на месте.

– Лидия Петровна, тогда вы зайдите, пожалуйста. У меня автор. Виталий Савостин. Захватите рукопись.

Предупредил. Опасность. Заметай следы.

Ждали. Савостин морщился, дёргал ухо. Если по Станиславскому – изображал обиду.

Пришла Лида. С растрёпанной рукописью.

Вот, показал на Савостина главред. Как будто Лида видела его впервые. Рассказал, чем доволен автор.

Зиновьева неуверенно возразила: Виталий Иванович, наверное, ошибся. Вроде бы нет пока особых изменений в рукописи.

– Да как нет! Как нет! Мне вчера сам Плоткин показал, где исправили. И там был Плоткин, то есть Клямкин. Был! Я своими глазами видел его. Он забивал всё время Артура! Этот Клямкин.

Зиновьева деланно рассмеялась:

– А-а. Так это отрывок совсем из другой рукописи. Другого автора. Он случайно в вашу рукопись попал, случайно. Все у вас по-прежнему живы-здоровы, Виталий Иванович. И Артур, и Макс. Савостин молча одевался. В своё куцее пальто с фалдами. Не попрощавшись, вышел.

– Ну зачем вы так с ним, Лидия Петровна?

– Не я это, Глеб Владимирович, честное слово. Григорий Аркадьевич никак не уймётся. Вчера, пока была на обеде, наколотил две страницы и вставил в рукопись. А тут, как на грех, и сам Савостин явился. Григорий Аркадьевич сразу его за комп: «Оцените нового героя, Виталий Иванович. Клямкина». А сам исчез. Я пришла – все ходят, за животы хватаются. А бедный Савостин сидит перед экраном, ничего не может понять. Простите нас, Глеб Владимирович. Удалила я всё, удалила.

В кафе Яшумов задал тот же вопрос автору Клямкина. Зачем вы так поступили, Григорий Аркадьевич?

– Да по наитию какому-то. Дай, думаю, помогу савостинскому Артуру. Попавшему в безвыходную ситуацию. Вот и ввёл автоматчика Клямкина. Тот сразу начал крошить всех подряд. И своих, и чужих. И Артуру рядом только удивлялся. Не мог вмешаться. Гора трупов, Глеб Владимирович. Целая гора, – вполне серьёзно говорил шутник и кидал в рот вилкой капустный салат.

От хохота Яшумов застучал ладошкой по столу. По пластиковому, синему.

Глава четвёртая

I.

С некоторых пор заметили, что Терентий сильно похудел и облез. Остался почти без богатых своих штанов на задних лапах. Уже не встречал Яшумова голодным, не мяукал из-за двери. Почти ничего не ел. Часами плоско лежал. Или на кухне, или в коридоре. Как павший воин. С остатками рыжей шерсти на боку, испещрённой словно бы оврагами. Просто половик лежал на полу и всё.

Потом разом перестал лежать – всё время сидел. От боли поджимал облезлый живот. И тут же расслаблял его. Сжимал и отпускал, потрясываясь.

– Нужно свозить его в клинику, – сказал Яшумов жене. – В кошачью там, в собачью.

– Ещё чего! Знаешь, какие там цены? Одыбается. Кошки живучие.

– Да о чём ты говоришь, Жанна! – не узнавал жену Яшумов. – Это же твой кот. Опомнись!

Каменская нахмурилась. Уличённая в бездушии. Но всё равно не соглашалась. Так и не сказала: ни да ни нет. Крестьянка чёртова!

Однако Терентий «не одыбывался». Ему становилось хуже и хуже. Яшумов не мог больше смотреть, как он мучается – сам повёз. В одну из ветеринарных клиник города. В интернете выбрал. Что поближе.

В вагоне метро, на коленях у Яшумова скуластая мордашка кота обречённо свисала из сумки.

Кабинет ветеринара был небольшой, весь набитый какими-то аппаратами с экранами. Тоже небольшой – смотровой стол, где орудовала губкой с антисептиком медсестра. Пожилой ветеринар в синей рубашке ждал. Уже с перчатками на руках.

Посмотрел на кота на груди у хозяина:

– Когда заболел?

Яшумов сказал, что примерно полтора месяца назад.

– Как себя ведёт? – уже забирал кота ветеринар.

Яшумов быстро рассказывал.

Ветеринар хотел уложить кота на столе, но тот сразу сел. На лапки.

– Так. Понятно.

Стал слушать кота так – сидящим. Прикладывал фонендоскоп с разных сторон. Лысина сзади у эскулапа походила на лохматый медальон. Серого цвета. Никаких своих медаппаратов не включал. Попробовал пальпировать животное. По старинке. Терентий вырвался и опять сел.

– Ну что я могу сказать. У кота опухоль. – Ветеринар сдирал перчатки. Стал мыть руки: – Запущенная. Наверняка с метастазами. – Вытирал руки и смотрел на свои мёртвые аппараты, которые казались, наверное, ему никчёмными: – Можно, конечно, полностью обследовать его. (Вот на этих бандурах.) Даже сделать операцию. Но надо ли? Животное скоро погибнет. – Повернулся к хозяину: – Я могу только усыпить его. Если хотите.

– Нет, нет! Только не это.

– И правильно. Пусть поживёт. Животные лучше людей. Выносливей в болезни. Не капризничают. Не стонут и не плачут. – Смотрел на кота: – Купите для него простой анальгин. Толките и подмешивайте в корм. Всё будет ему легче...

«И сколько заплатил?» – сразу спросили дома.

Неужели и правда такая бессердечная? – опять смотрел на жену Яшумов.

Опустил кота на пол, чтобы раздеться.

Терентий всё время сидел. На одеяле. Возле своей круглой лежанки. Не мог лечь ни на живот, ни на бок. Если и пытался – тут же вскакивал и опять сидел на лапках, тяжело дыша. Передёргивался от боли. Как ударяемый током.

Спал – полусидя. Голова кота лежала, подпёртая высоким краем лежанки. словно её положили на плаху. Подготовили для палача.

С утра немного оживал. Довольно резво направлялся к своей чашке. По-балетному переставлял задние облезлые лапы. Когда Яшумов сыпал корм, бодал даже его руку. («Ну, ну, успокойся»). Жадно ел. Но немного. И опять сидел, тяжело дыша и глядя в никуда от боли.

С болезнью Терентий повредился и умом. Вместо ящика возле туалета стал прудить где попало. По углам. Под столом у Яшумова в кабинете. Иногда и гадил. Яшумов терпеливо убирал.

Приезжали из Колпина отец и мать жены. Смотрели на зятя возле кота как на блаженного. Только что не хихикали. Чудит, зятёк, чудит. Ухаживает за котом. Подтирает даже за ним. Покупает ему всякие вкусняшки. Что в телевизоре показывают. И денег не жалеет. А Жанка сидит и только ноздри раздувает. Будто блаженный всё это назло ей делает.

Анна Ивановна подталкивала дочь, показывая глазами на Яшумова, который быстро тащил кота мимо них в ванную после того, как тот где-то нагадил. Мол, чего же ты? Помогла бы хоть.

– А он не хочет усыпить кота, – громко объявляла дочь. – Назло мне. Ему предлагали.

Родители словно бы пугались: тише, доча!

– А пусть слышит! – кричала в коридор отчаянная.

После ужина Фёдор Иванович пил чай и поглядывал на зятя. На зятя, который сидел с ошарашившимся взглядом. Примирительно говорил:

– У нас тоже был кот. Первый. Давно. (Жанка, помнишь, ты с ним играла?) Так тот, когда пришло его время, просто ушёл со двора. Сам. И сгинул где-то. Больше мы его и не видели. (Жанка,

помнишь?) Ну а тут, в городе-то, куда уйдёшь? Вот и получается... – Тесть вроде бы даже сочувствовал неразумному зятю.

В тот поздний вечер Яшумов сидел в отцовском кабинете и правил в тетрадях свои старые наброски. Некоторые, наиболее удачные, как считал, перепечатывал в компьютер. В файлы.

Вдруг услышал стон. Из коридора. Человек как будто простонал. Ещё раз, ещё. Мучительно, протязно.

Яшумов бросился. Кот стонал под ванной. Стонал – как человек. Громко, мучительно. Оооо-оуу! Оооооуу!

И разом оборвал стон.

Яшумов упал на колени, стал шарить под ванной.

Нашупал кота в самом углу. Кот лежал уже на боку.

За заднюю лапу вывез его на свет – Терентий был с крепко зажмуренными глазами. Навек унёс с собой боль.

Яшумов сидел на пятках рядом, покачивался, с рукой на голом животе кота. Где всё ещё теплилась, убегала жизнь. Тяжело было – непереносимо. Но сбоку уже лезли:

– Что? кончился, кончился? Надо убрать его отсюда. Как мы будем мыться теперь? – Женщина в рубашке дрожала. То ли от страха ли, то ли от холода.

Поднял кота, унёс в коридор. Положил возле лежанки. На его свёрнутое одеялко. Жена уже торопилась в спальню. Шарахалась от стен.

Выключил везде свет. Не раздеваясь, лёг на диван в гостиной. Закрыв глаза, положил запястье на пылающий лоб.

Рано утром, в плаще на одну рубашку, искал дворников. Выходя по утрам на работу, часто видел их во дворе. С метлами и тележкой. Двое их всегда было. Сегодня – ни одного. Пропали куда-то. Ну где же вы, где?

И дворники точно услышали его зов – одновременно вывернули из-за разных углов дома. Оба в красных жилетах, дружно махали метлами навстречу друг другу.

Яшумов побежал. Долго втолковывал двум азиатам, чего от них хочет. Закопать нужно кота. Понимаете? Похоронить. Вон там. В углу. За деревом. Или дайте мне лопату, мне. Я сам. Понимаете?

Одинаковые, как два брата, дворники, казалось, не понимали его. Потом один сказал:

– Нит. Нельзя кошка. Кошка гореть должен. Штраф будет.

Увидел Тихомирову с шестого. Выходит из подъезда со своей Берточкой. Удерживает будто ребёнка. Бросился к ней как к спасительнице:

– Мария Николаевна, здравствуйте! (Ответила только Берточка: р-ррррри!) Кот у нас умер. Нужно похоронить. Может быть, вы знаете, где, кто теперь это делает?

Старая женщина смотрела на востропанного мужчину в плаще чуть ли не на голое тело. И хотя знала Яшумова давно – видела сейчас перед собой натурального алкаша. Который может отобрать Берточку и пропить. Или ещё чего хуже.

Крепче прижала к себе любимицу. Сказала наконец:

– Есть специальная служба. Теперь животных в городе кремируют, а не закапывают где попало. Был указ в прошлом году. – Р-риииии, подтвердила заросшая Берточка. Сама тоже старая. Старее поповой собаки. – Посмотрите в интернете.

– Спасибо, Мария Николаевна! Большое спасибо! – уже бежал к подъезду Яшумов.

Два молодца в защитных прорезиненных костюмах вошли в квартиру через час после звонка Яшумова. Оба в жёлтых резиновых перчатках чуть не по локоть. Респираторов на лицах, правда, не было.

– Где усопшее животное?

Яшумов повёл в коридор. Жанна высунулась из спальни. Но посмотрела и захлопнулась.

Один парень присел возле Терентия и раскрыл медицинский баул. Достал длинную сетку вроде авоськи и какой-то прибор. Ловко всунул Терентия в сетку и поднял её, прицепленную к прибору. На вытянутую руку. Терентий, сломанный, скрюченный, закачался.

– Зачем вы это делаете? – спросил Яшумов.

– Мы сжигаем по весу, – нехотя объяснял парень, глядя на колеблющуюся стрелку: – Четыре пятьсот, – сказал напарнику. И тот пометил, записал в блокноте.

Потом они всунули Терентия в крепкий мешок и застегнули длинную молнию

– Желаете заказать место в колумбарии для любимца? – спрашивал который с блокнотом и ручкой.

– Нет, – отвечал Яшумов.

– Желаете присутствовать при кремации любимца?

И ещё было несколько «желаете». И на все Яшумов отвечал «нет».

– У меня только одна просьба. Я хочу сам вынести кота. К вашей... машине.

– Это всегда пожалуйста! – осклабились парни.

Яшумов заплатил, расписался в договоре в трёх местах. Пока парни собирались и выходили из квартиры, быстро надел пальто, крикнул в пустой коридор: «Дверь закрой!» Взял мешок с Терентием на руки и пошёл из квартиры.

Автомобиль походил на компактный катафалк. Яшумов постоял с холодным Терентием на руках. И подал в сдвинутую дверь. Дверь вернулась на место. И чёрная машина медленно поехала.

Смотрел, пока она двигалась вдоль дома. Пока не скрылась за углом.

Пошёл. В другую сторону. К метро. Шёл, словно разучившись ходить, – оступаясь, ничего не видя. Сдёргивал очки, протирал платком стёкла.

Несколько дней не разговаривали. Потом Яшумов, отходчивая душа, словно бы всё забыл. И после ужинов голова с чёрным муравейником опять лежала у него чуть ниже плеча. Смотрела своего Макса отморозенного.

Но долго ещё в ванной вдруг слышал стон кота. Мучительный, человеческий, непереносимый.

Чтобы не упасть, хватался за раковину. Закрыв глаза, покачивался.

2.

Яшумов раздевался. Из гостиной доносился голос Анны Ивановны. Мать, видимо, опять учила дочь: «...На руках у неё бабкин кисель уже висит. Но попка всегда в обтяжку. Брючонки по колено. Вот с кого надо тебе пример брать...» Дочь молчала. Словно бы привычно не слушала. Занималась своим делом.

Неделю назад, точно так же застыв со снятым ботинком, прослушал такое поучение матери: «Они ведь, мужики-то, куда смотрят сперва? – на пятую точку твою (смотри-ка, какая культурная!). Умная ты, не умная – мужик только туда. Ну и на лицо твоё, конечно. Чтоб тоже гладкое было. Без морщин. А у тебя и с попой, и с лицом – только позавидуешь. Да... Так что никуда от тебя твой дундук не дёрнется. Умная ты, дура ли набитая...»

Яшумов тогда унимал истеричный смех, выскочив на площадку. Затем вновь вошёл, громко ударил дверь.

И сегодня не без грохота двинулся в гостиную. Поздоровался. Тёща сразу поджала губы.

– Мы уже поели, – сказала жена. – Всё для тебя на кухне. На столе.

Так. Понятно. Мешаю. Пошёл, куда сказали. Сзади сразу продолжили. Но тихо. Вставив в рты сурдины.

Ел вечернюю жидкую кашку и думал примерно так: женщины всегда объединяются, чтобы лучше приручить своих мужчин. Мужиков. Будь то мать с дочерью. Будь то просто подруги. Всегда тщательно разрабатывают стратегию, тактику, как лучше управляться с дураками. И на данный момент, и на перспективу. Один олух (старый) сидит сейчас в Колпино, беспечно пьёт с соседом пиво, другой дурак (сравнительно молодой) – здесь, в Петербурге, в своей квартире ест жидкую кашку. И ничего-то они даже не подозревают.

От смеха Яшумов начал сильно кашлять.

– Что с тобой? – высунулась жена. А за ней и теща.

Яшумов махал рукой. Мол, ничего, ничего. Продолжайте, продолжайте. Полез из-за стола. С налитым кровью лицом.

В кабинете отца, придя в себя, продолжил размышлять.

Итак. Мать и дочь. Одна в Колпино живёт. Другая в Питере. Часто говорят по сотовым. Закрываются каждый раз в спальнях. От всегда настораживающихся ушей *своих мужиков*. Обсуждают, как сегодня управляться с двумя ослами. Отпустить ли вожжи, кнутиком ли подстегнуть. Сенцо ли повесить им перед носами. Чтобы правильно шли, никуда не сворачивали. Всё новую стратегию разрабатывают. Новый план. А два беспечных осла слышат это всё, но пьют себе чай. Или пиво с соседом. Или жидкую кашку помешивают. Мол, пусть женщины разрабатывают – им положено.

Нет, это невозможно! От смеха Яшумов не мог никуда деться.

– Что это с ним? – прислушалась мать.

Дочь тоже повернула голову к коридору:

– Закидывает опять. После смерти кота часто стало так. То смеётся, то вроде плачет.

– А ты, доча, знаешь, что сделай? (Доча не знала.) Приласкай его, приласкай. На время. А потом он сам от тебя отлипнет. Не будет попусту лезть. Да.

В полной темноте ночью почувствовал руку на своей груди:

– Ты не спишь?

С готовностью включился в разработанный план. Стал активно в нём участвовать.

– Тише, тише! Мама услышит!

Но мама-разработчик была в квартире далеко. Выпускала только в коридор нежные свои колоратурки.

«Ну как продвигается ваш роман, Григорий Аркадьевич?» – поинтересовался на другой день в кафе у Плоткина.

Плоткин с удовольствием обедал куриное крылышко:

– Начинается у меня всё, Глеб Владимирович, с переписки двух писателей. Не молодых уже. По электронке. Двух тщеславных. Недооценённых. Тайных соперников. Запев даёт всегда который моложе. Закидывает живца: «Привет, Витя! Как дела?» Сам сперва жалуется на здоровье. Зубы вставлял. Целый месяц протезист издевался. Как у тебя с зубами, Витя? Напиши. О литературе, о письме за столом, за компьютером – ни слова. В ответ более старый (Витя) начинает бахвалиться. Зубы в полном порядке. Снисходительно советует: витамины ешь, на воздухе бывай, а не в рюмку заглядывай. Первый кается – Новый год был. Куда ж тут? Друзья пришли. Между делом бьёт об стол козырной картой: публикация у меня, Витя! В «Юности». Опять. Эх, если б лет тридцать назад она была. В смысле – тогда б на весь Союз прогремел. А сейчас... Дескать, не хотел даже писать об этом тебе. Витя настораживается: как же, ври давай. «Не хотел он писать». Прямо гордый теперь весь. До небес. Но молодой всё не унимается, кидает козырь второй. Этак небрежно: ещё книжка у меня вышла, Витя. В издательстве «Вече». На гонорар и не рассчитываю. Сам знаешь, как теперь всё. Насулят горы, а на деле – пшик, фига вместо денег. Витя (старый) сражён. Он на полу. В нокдауне. Но корячится, встаёт и мямлит: поздравляю. Молодец. Чтоб совсем дух не испустить, пишет: я тоже графоману помаленьку. Роман пишу. У тебя-то, мол, всё старое, давно заезженное, а моё – прямо из-под пера. В общем – писательская дружба, Глеб Владимирович. Игра в поддавки. Тщеславие, зависть, тоска. Болезнь неизлечимая. У обоих.

Главред смотрел на ведущего редактора: *хохма Плоткина* или правда что-то серьёзное начал?

Ещё неделю назад Плоткин сказал Яшумову, что начал писать. Да. Сам. (Что там чужие рукописи, Глеб Владимирович!) И писать начал после ежедневных, как попало исписанных страниц. «Помните, я говорил вам о них? Американский метод? Придумал уже самое длинное в мире название».

Яшумов с улыбкой ждал. Плоткин заговорщиком посмотрел по сторонам. И – на ухо. Но аршинными буквами:

– НАСТОЛЬНАЯ ПАМЯТКА ПО РЕДАКТИРОВАНИЮ КНИГ И ЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН... Как, Глеб Владимирович? На вкус, на цвет? – И видя, что Главный начал отворачиваться, добавлял ему: – Я хочу забыть это название в свою почту. На случай, если украдёт кто. Как вы думаете, может это мне в суде?

И дальше только стучал сломавшегося патрона по спине, приводил в чувство. Сам же смеялся коротко. Гы-гы. Как проказник...

И что же, на самом деле пишет, всё смотрел главред на своего ведуна. Или всё – очередная мистификация?

В редакцию вошли беспечно, весело разговаривая. Но что это! Сегодня все ждали известного писателя из Москвы, а вместо него – опять Савостин со своим петухом. Над Лидой Зиновьевой. Лезет, заглядывает, не даёт работать.

И ведь не обойти как чёрного кота. Главред и ведун хотели было повернуть назад (куда?), но пересилили себя – пошли: Яшумов тихо (деликатно даже) мимо. Плоткин – прямо к Лиде. Спасать.

Только к концу рабочего дня появился московский писатель. Худой старик лет семидесяти. И привёл его к редакторам (небывалое дело!) сам Акимов.

Все вскочили и вытянулись возле своих столов – они на боевом посту. Писатель пожимал руки, что-то говорил тонким голосом. Несколько дольше задержал руку Яшумова, вглядываясь в его лицо, припоминая. А! Вы редактор моей книги! Правильно? Рад, рад познакомиться!

Это был писатель старшего поколения. Как говорится, последний из могикиан. В молодости он прославился порнографическим романом о себе любимом. Потом лет тридцать маршировал под флагом с серпом и молотом чёрного цвета, не сдавался. Все ждали от него сейчас пламенной речи, уже взяли в кольцо, но он, на удивление, пятился, точно от футбольных фанатов. Тащил за собой Яшумова. И они скрылись в кабинете Главного. Даже бросили возмущённого Акимова-Пузыря.

Все были разочарованы. Возвращались на свои места. А ведь этот молодец с жиденькой мексиканской бородёнкой до сих пор жучит оппонентов на всех ток-шоу, куда его приглашают. Голова его потрясывается, тонкий голос дрожит, руки не находят места, но разит он наповал.

Он вышел с Яшумовым через час. Все опять вскочили. Уж теперь-то не отвертись! Но писатель быстро прошёл, кивая направо-налево: удачи! удачи! до свидания! И был таков.

Тогда окружили Главного. Хотя бы его:

– Что он говорил? Расскажите, расскажите, Глеб Владимирович! – наседали редакторы. И даже художник с верстальщиком. И даже Виталий Савостин. Который умудрился представиться писателем. Успел даже сказать, что он, Виталий Савостин, – тоже писатель.

Главред начал самодовольно рассказывать, как обсуждали рукопись автора из Москвы. Разногласий почти не было. Почти со всеми поправками автор согласился. Сам сходу внёс свои. И порой существенные. И видно было сразу, дорогие друзья, что человек он образованный, начитанный.

– Да не об этом, не об этом! Глеб Владимировичи! О политике, о президенте что он говорил? О своей позиции по этому вопросу. Глеб Владимирович!

– Ну, это не ко мне, – развёл руки Главный.

В вагоне метро вспоминал, видел низко склонённую над текстом голову в очках с большими диоптриями. Старческую, но цепкую руку, решительно вычёркивающую слова и целые предложения. Да-а. Автор. С Большой Буквы.

Дома опять доносился из гостиной голосок Анны Ивановны: «А ты, доча, внушай ему, внушай. Ночная кукушка кого хочешь перекукует».

Да сколько можно! Да что они, глухие обе, что ли? Раскрыл входную дверь и снова ударил ею. В гостиной разом замолчали. Вот так-то, дорогие, лучше будет.

Спокойно раздевался.

3.

...На шикарный накрытый стол «эта женщина из Мюнхена» даже не взглянула – сразу прошла к дрянному пианино в углу, с которого и пыль-то вытирать уже не хотелось.

Стояла, смотрела на ободранный ящик – натурально со слезами на глазах. Будто на поделничка какого-то, которого не видела сто лет. Поворачивалась к занудному: «А, Глебка?» И Глебка тоже покачивал головой, готовый плакать. Прямо сериал. Встреча через сорок лет...

Утром он позвонил, как только добрался до работы. Говорил как ненормальный:

– Жанна, тебя ждёт сюрприз! Я сейчас на такси в Пулково. Встречать женщину из Мюнхена...

Ничего не могла понять: какую «женщину из Мюнхена»? очередную жену? любовницу? Говори ясней!

– ...Не перебивай! Скорей накрывай стол. Всём, что у нас есть. С работы отпросись. Заболей! Ждёт сюрприз. Действуй!

Тоже как безумела, в кухне давай выкладывать на доску муку, яйца, соль, сразу замешивать, мять тесто дляпельменей. Раскатывать. Лепила пельмешки быстро, быстрее мамы с папой.

Прошёл час. Два. Три. Женщины из Мюнхена не было. Успела всё сготовить, шикарно накрыть в гостиной. Одна скатерть чего стоила: белая, с жёлтыми кистями до пола. Расставила всё на ней. Обеденные приборы (три), бокалы, салаты. Оливьюшку даже успела сделать. Вода на маленьком газу дляпельменей парит. А «женщины из Мюнхена» всё нет.

Наконец втащились в прихожую. Глеб с пузатым чемоданом на колёсиках, а женщина в обыкновенном сером плаще. С плоской сумкой через плечо. Ну, нужно познакомиться, наверное? Муж показывает на жену, как на витрину: моя Жанна. Познакомьтесь, пожалуйста. Женщина в светлых кудельках крепко пожимает руку: «Алёна». Скидывает плащ и сразу как дома идёт в гостиную...

И вот стоит теперь перед ящиком и только что не плачет...

Стало доходить. Приехавшая Алёна – это Алёнка. Из детства Глеба. Рассказывал однажды. Точно. Она. Вот тебе и «женщина из Мюнхена».

Сели за стол. Алёнка – как с голодного мыса – сразу стала налегать. Сперва на оливьюшку. А потом и на пельмени. Мотала в восхищении кудельками, нахваливала. Конечно, приятно было слышать. Но о чём говорили они – было понятно мало. О какой-то школе для одарённых. О педагогах её. О концертах. О каком-то Дитрихе. Они были точно одни за столом. Будто никого больше рядом не было. И это называется – культура. Иногда Яшумов всё же пояснял. На ухо: «Это она о бабушке, об Арине Михайловне». А Алёнка эта спросит что-нибудь у тебя, и тут же забудет. И только нахваливает: «Как замечательно вы готовите, Жанна! Глебка, тебе здорово повезло». И опять они о своём. Хоть вставай из-за стола и уходи. Чёрт бы вас побрал. Ладно, спасало то, что нужно было утаскивать посуду и приносить новую еду. Этой ненасытной Алёнке. И куда только лезет в такую? Тощая, почти без груди, попка в джинсах проваливается. Зато руки – ручищи. Загребущие. С длинными цепкими пальцами.

– Сыграй, Алёнка, – вдруг сказал Глеб. – Давно тебя не слышал.

Женщина подошла к ящику, локтем оперлась на верхнюю крышку и одним длинным указательным пальцем начала тыкать клавиши. Неуверенно, по одной. Вроде бы знакомая мелодия застыла:

– Чижик, пыжик, где ты был?.. На Фонтанке водку пил... Выпил рюмку, выпил две – закружилось в го-ло-ве...

И это всё? И это большой музыкант? Повернулась даже к мужу: А?

Алёнка подмигнула Глебу и села на вертящийся стульчик. И началось что-то непонятное. Сначала вместе с её пальцами как бы бегали по клавишам только два чижики-пыжика. Только два пыжика хлопали рюмки. Потом к ним прибавился третий. Который хлопал рюмки в стороне. Тихо, тайно. Как алкаш. Дальше уже четыре чижики-пыжика разбегались по всей клавиатуре. Или вдруг неслись то в одну сторону, то в другую. «Браво! Браво, Алёнка!» – подстёгивал Глеб. И музыкантша вдруг пошла лупить клавиши всеми десятью своими чижиками. Да так, что ящик загудел! Это было какое-то чудо. Просто башку сносило. Тут впору самой пуститься в пляс и начать хлопать рюмки. С её чижиками-пыжиками. Да-а. Вот так женщина из Мюнхена, вот так Алёнка.

И, главное, как ни в чём не бывало садится обратно к столу, берёт банан с раскрытыми лепестками и скусывает макушку. И говорит: «Фа диэз всё так же секундит». «Сделаю, сделаю!» – целует ей руки Глеб, тоже со снесённой башкой: – Спасибо, спасибо!..

Потом она пошла в комнату для гостей, присела на кровать – старинную, с пампушками, где теперь всегда спали папа и мама, – стала гладить атласное одеяло. И заплакала, закрываясь руками кофты. «Здесь спала бабушка её, Арина Михайловна», – шептал Глеб и тоже шмыгал. И стало неудобно почему-то, стыдно. Хоть бы предупредил, что это была их с бабушкой комната. Что-нибудь сменила бы в ней. Хотя бы на этой кровати. Одеяло, что ли. Подзор. «Прости, Алёнка, – говорил Глеб. – Твою кроватку мы давно убрали». Музыкантша только махнула рукой. И всё плакала и гладила чужое одеяло...

В то утро как обычно Яшумов пришёл на работу в половине девятого. Редакция была ещё пустой. Только художник Гербов уже сидел, подпёр щеку, обдумывал рисунок. Два трудоголика крепко пожали друг другу руки.

У себя Яшумов прежде всего прибрался на рабочем столе. Это туда, это сюда, компьютер включить. Принтер опять не заменили! Сколько говорить компьютерщику! Точно не веря в поломку, – включил. Принтер заскрежетал, выпустил пол-листа и умолк, остановился. Безобразие!

Зазвонил телефон. Гербов забыл что-то сказать? «Да, Игорь Николаевич». Вместо Игоря ударил мгновенно узнанный голос: «Здравствуй, Глебка. Как жизнь твоя, дорогой, как здоровье?»

Что-то говорил в ответ, кричал. А женщина из Мюнхена уже сообщала: «Буду в Питере два дня. Встреть, пожалуйста, в Пулково. Обнимемся. Запиши номер рейса и время. Сможешь с работы уйти?» – «Смогу, смогу! Всё записал. Сейчас в аэропорт! Я так рад, Алёнка, так рад!»

До самолёта было ещё уйма времени, но сидеть в редакции не мог. Сразу позвонил, предупредил жену. Та ничего не поняла. Да ладно, ладно! Бросив всё на столе, быстро одевался. Сказал Гербову, что часа на два уйдёт. «Скажите, пожалуйста, Акимову». И выскочил на улицу.

Шофёр такси гнал, но поглядывал в зеркало на странного пассажира. Который всё время улыбался. Как дурак. Или вдруг начинал ерошить свои длинные волосы, явно вспомнив что-то смешное. И опять с блаженной улыбкой застывал. Туканутый!

Пять лет назад Алёнка прилетала с испанским оркестром. Играла 21-й концерт Моцарта и концерт Бриттена. И в первый вечер, и во второй успех был ошеломляющим. Оркестру нужно играть программу дальше, а меломаны беснуются, не отпускают Алёнку со сцены. Заставляют вновь и вновь садиться и играть. Во второй вечер дошло до того, что дирижёр приобнял героиню в длинном платье и повёл со сцены. Как свою подругу. Под смех и ещё более яростные аплодисменты. Да-а. И вот теперь будет играть с местным оркестром. Филармоническим. Господи, Алёнка! Ты ли это та девчонка с косичками? С тобой ли мы вместе разбивали наше старое пианино? Опять всё без ответа.

На радостях заплатил шофёру две тысячи вместо тысячи двухсот. «Сдачи не нужно!» – воскликнул. И, как оказалось, зря. Привёз таксист не туда.

В зале нового терминала сразу вытаращился на «Летающего ангела». Под потолком подвешенного под самолётные крылья с реактивными двигателями. Голый ангел явно женского пола задрал руки и как будто уже падал, летел к земле с самолётом, крича, погибая. Мало того, что безвкусица висела запредельная – скульптор-модернист изваял натуральную катастрофу. И это в аэропорту! В зале... А в каком?

Огляделся. Вдоль длинного высокого помещения стояли к стойкам пассажиры с чемоданами и без. Явно собирались улетать, а не наоборот. Господи! Да не туда же попал!

Пока метался, выходил из зала – ещё увидел двух или трёх ангелов. Уже после «катастрофы». Поникше сидящих на полу с самолётными своими крыльями. Или уже лежащих. Уткнутых прямо в пол. С крыльями распластанными.

Только в зале прилёта пришёл в себя. Ждал, неспешно прогуливался. В высоченном тоннелеобразном помещении дикторский женский голос, казалось, тоже падал со сферы потолка. Которая олицетворяла, видимо, необъятный космос в круглых светящихся дырах.

Наконец объявили прилёт из Мюнхена. Нужно было ждать ещё минут двадцать, а то и полчаса, но встречающие сразу потянулись к нужному раскрытому выходу.

Стали появляться первые пассажиры. Алёнка в сером плаще бойко шагала с большим чемоданом на колёсиках и с плоской нотной сумкой через плечо.

Обнялись. Сквозь плащ чувствовал худую спину женщины. «Ну, ну, – успокаивали его. – Жива же, здорова».

Подхватил чемодан, повёз. Плаксивое своё лицо отворачивал. Как будто женщина его обидела.

В такси держал худую, костистую, но горячую руку, говорил не переставая. Показывал на пролетающие дома. Что-то объяснял про них туристке. Но женщина смотрела на поседевшие длинные волосы мужчины, на родной нос картошкой, и сама готова была плакать. Она хорошо помнила, что сделали для неё Яшумовы. Надежда Николаевна и Владимир Константинович. И маленький Глебка. Для неё, деревенской девчонки, в семь лет приехавшей с матерью жить в Питер.

4.

...Глебку всё время отвлекал орган за высокой сценой. Орган казался выдвинутым углом очень высокого дощатого сарая. Интересно, где там садится музыкант, чтобы играть на этом сарае? «Не отвлекайся, – наклонялась мама. – Слушай скрипку».

Великовозрастная девчонка-скрипачка, пушистая и тонконогая, как коза, давала смычком уверенное арпеджиато. По всем четырём струнам скрипки. Пригнувшийся за роялем аккомпаниатор сажал для неё аккорды.

Глебка смотрел на пять высоких окон с дневным светом, переводил взгляд на слушателей, и взрослых, и детей. Словно пересчитывал их внимательные головы. С облегчением похлопал пушистой со скрипкой, когда она закончила.

Ещё был один. Мальчишка. С большим саксофоном. Будто с громадной сосательной конфетой. С которой он раскачивался, откидывался назад и гнулся в три погибели. Похлопал и ему.

Наконец ведущая отчётного концерта школы, высокая тётя, опять вышла как бы с цветами на груди. Громко сказала:

– Вольфганг Амадей Моцарт. Соната для фортепиано № 16 (до мажор). Исполняет ученица первого класса Иванова Алёна. Класс доцента Пономарёвой Зои Павловны.

Мелочь вроде Глебки сразу захлопала в первых рядах. Мама и папы мелочи даже не шевельнулись. Будто каменные гости.

Алёнка появилась откуда-то из-за органа, быстро пошла к роялю. Была она в белом кружевном фартуке, коричневом платице и с большим белым бантом на голове (мама, мама постаралась!). Кивнула залу (как бы поклонилась). Села к стейнвею и сразу начала крутить колёсики с двух сторон стула с мягким сидением. Поднимать сидение выше. Накручивала, накручивала колёсики. И замерла, глядя вверх. На потолок. А может, на Бога. И заиграла.

До мажорная соната Моцарта полилась свободно, легко, весело. Правая рука набрасывала, рисовала тему, а левая изображала быстрое тремоло. В конце каждого периода части Алёнка давала глубокий аккорд обеими руками. И снова весёлая тема в правой руке, и быстрое тремоло в левой.

Глебка знал до мажорную от первой до последней ноты, Алёнка надоела с ней дома до чёртиков, но здесь в зале на стейнвее соната звучала неузнаваемо, захватывала. Да и Алёнка казалась совсем не Алёнкой, а какой-то другой девчонкой. Сидящей на самом краю сидения. С прямыми, упёртыми в педали ножками в белых гольфиках с мячиками.

После убедительного Алёнкиного аккорда, завершившего первую часть, какой-то первоклаш, видимо, дружок Алёнки, не удержался и захлопал из первого ряда. Но его сразу уняли другие первоклассники школы. Все они уже знали: между частями хлопать нельзя. И Алёнка, словно выйдя из обиды, смогла продолжить. Заиграла Анданте кантабиле. В зал полилась светлая шемящая грусть.

После окончания этой части первоклаш в первом ряду больше не хлопал, а только сидел, склонив голову набок. Видимо, грустил или даже плакал. Мама рядом тоже достала платок и вытерла слёзы. Глебка сжал её руку.

И вот третья часть понеслась. Рондо. Быстрое. Глебке казалось, что это фрейлины и пажи парами поскакали в танце. То в одну сторону сцены грациозно скачут, то уже в другую. Здорово!

С последним аккордом Алёнки зал, как говорят всегда, взорвался аплодисментами. Первоклассники дубасили в ладошки. Глебка тоже. Мама тискала руку тётеньке рядом, педагогу Алёнки: «Спасибо, Зоя! Спасибо!» А Алёнка только резко поклонилась и пошла со сцены. И скрылась опять за органом. Но публика хлопала и хлопала. Ведущая улыбалась, ждала Алёнку. Та вышла и ещё раз поклонилась. Более глубоко. И вновь ушла. И только тогда ведущая смогла объявить следующего ученика.

Это был первый концерт, на котором Глебка из зала слушал играющую на сцене Алёнку...

– Помнишь свой первый концерт, Алёна? – спросил в такси из аэропорта. – В большом зале школы?

– Ещё бы, – улыбнулась женщина. – Ты хлопал как ненормальный. Не давал начать вторую часть.

– Да не я это был, не я! – смеялся Яшумов. – Твой первоклаш-воздыхатель! Кстати, где он сейчас страдает?

– Он, как ты выразился, «страдает» сейчас здесь. В филармоническом. Первая флейта. Увидишь его и услышишь завтра на концерте.

...Эта Алёна из Мюнхена так и не осталась ночевать. Как Глеб ни уговаривал. Побрезговала. Или испугалась. Одно дело гладить бабкино одеяло, а другое – ночью спать под ним. Пришлось Глебу вызывать такси и везти её в гостиницу. «Жду вас на концерте, Жанна», – сказала при прощании. Обняла даже. Ощутимо, надо сказать. Сильная. И цыгане с манатками стали спускаться по лестнице. «Ещё раз спасибо», – сказала на повороте. После бабкиной комнаты грустная. В сером своём плаще, с плоской сумкой через плечо. Неприбранная, неприглядная. Муж-то хоть есть у тебя? Путешественница?

Ночью не отстала, пока не рассказал кое-что. Оказалось, что замужем. Мужа зовут Дитрих. Скрипач в оркестре. Первая скрипка. Большая квартира у них в Мюнхене. (А ведь не пригласила даже в гости!) Сама постоянно в разъездах. В поездах, в самолётах. За десять лет с концертами побывала на всех континентах. И одна, и с оркестрами. А дети, дети, есть у них? «Был ребёнок. Девочка. Умерла, года не прожив». Трагедия вообще-то. И что, больше не пытались завести? Да не спи ты! «Нет. Видимо, не пытались. Теперь работа для неё спасение». Странно. Всё у этих музыкантов не как у людей. А вот скажи ещё... Да не спи ты, не спи! Нет, храпит уже. Пушкой теперь не поднять. Да-а. Задал задачку...

В филармонии сидели на балконе. Глеб специально взял билеты сюда, чтобы не трусила. Как в прошлый раз. Люстры и впрямь отсюда были не опасными. Висели себе близко к балкону, сверкали. Вроде бриллиантовых пузатых каких-то мамаш. Публику внизу было видно только первого и второго ряда. Лысины блестели, всякие женские причёски. Зато открытый рояль и сидящий оркестр – как на ладони. Под аплодисменты минут пять оркестранты на сцену выходили. Рассаживались. Раскрывали ноты. Вдруг, будто вспомнив, начали пилить одну ноту. И умолкли. Ждут вместе со зрителями дирижёра и солистку. И вот появились они откуда-то сбоку. Быстро идут, лавируют в стоящих как один музыкантах. Дирижёр с фалдами, как грач, Алёна в длинном синем платье с ниткой белого жемчуга. На прибранных кудельках – сверкающая диадема. У рояля, схватившись за него, низко склоняется под аплодисменты. И садится на стул, поправляя платье. Дирижёр уже над ней. Накрылился с палочкой. Отворачивается к оркестру и начинает махать...

Конечно, концерт этот Чайковского знала. Слышала не раз. Но от первых аккордов солистки мороз по коже пошёл. Они, аккорды эти, звучали как ещё один оркестр. Мощнее первого. Мощнее всей оравы на сцене. Не верилось, что это тощая Алёна вытаскивает их из рояля и они гремят под сводом. Какие там чижики-пыжики! Тут вообще был полный улёт! Правда, дальше всё вроде устаканилось. Но опять Алёна пошла давать аккорды. И опять мороз по коже. И так играли минут десять. То оркестр шпарит, то Алёна начинает бомбить. И с последним её аккордом сразу захотелось

захлопать, но Глеб дал по рукам. Ладно. Понятно. Не рок-концерт. Не затопает, не засвистишь. Сидела, вытиралась платком.

Началась другая часть. Медленная. «Анданте», – шепнули в ухо. Но всё не могла прийти в себя после первой. С аккордами Алёны. Тем более, что какой-то лысый в бабочке и с поперечной длинной трубкой начал раскачиваться и тянуть натуральную бодягу. Как будто один на сцене. Как будто никого ему и не надо. «Флейтист, – опять шепнули. – Учился в музыкальной вместе с Алёнкой». И что? Сказал бы лучше, когда башню опять будет сносить. Однако Алёнка вступила, и непонятно как эта же самая бодяга флейтиста чудом каким-то у неё изменилась до неузнаваемости. Словно зачирикали, запели какие-то птички. Виделся лес, деревья с этими птичками, потом поле. А лысый только кланялся с трубкой, как бы извинялся, и выдувал по одной, много по две нотки. Уже ничего не мог испортить.

В третьей части оркестр дал небольшой запев, и Алёна пошла жарить русскую пляску. Весёлую, озорную. А весь оркестр будто гонялся за пляской, тоже громко отчебучивал, повторял.

Ближе к концу солистка опять начала громоздить аккорды до небес. Растопыренными своими граблями. По всей клавиатуре. Кидала грабли то вправо, то влево. И вместе со всем оркестром будто вышла наконец на необъятный простор. Такой, что дух захватывало. Побывала там какое-то время с оркестром, спустилась и пошла шпарить опять, пригнувшись. Да так, что руки сливались над клавишами. И снова ударяла со всем оркестром, всё замедляя и замедляя аккорды. И воткнула последний. И оборвала, откинувшись от клавиатуры.

Зал взорвался. Сама хлопала так, что чуть не вывалилась из балкона. Себя не узнавала. Алёна кланялась. Музыканты все стояли, постукивали смычками по скрипкам. Дирижёр что-то говорил и целовал ей руки. Этими же целованными руками она показывала на лысого с бабочкой. Направляла аплодисменты на него. И тот с трубкой у груди улыбался до ушей и коротко кланялся.

Потом стала подходить к краю сцены и принимать цветы от целого строя меломанов. Складывала букеты охапками внутрь рояля. А зал всё кричал и не жалел ладоней. Но разом умолкал, когда она садилась на стул, чтобы ещё что-то сыграть...

Как Глеб договорился, ждали её возле гостиницы. Она приехала на такси одна. В плаще своём прямо на концертное платье, с неснятой диадемой. И без цветов. Поздравляли. Вручили ей свои цветы. Потом пошли вместе с ней в гостиницу, в её номер.

Сидели среди раскиданных вещей её, одежды, разинутого чемодана, пили чай, вино, разговаривали. Алёна сняла жемчуг и диадему, бросила на кровать. «Понравился Чайковский, Жанна?» – спросила. После концерта уставшая, выжатая. С появыми руками крестом на коленях. «Очень, очень, Алёна Ивановна!» И всё. И заткнулась. И больше ничего не смогла сказать. Поднялись уходить. Провожая, обняла у двери. Одну. Глеб завтра поедет с ней в аэропорт. Шепнула: «Береги Глебку. Он хороший». Громко сказала: «С Дитрихом ждём вас в любое время. Даже если нас не будет в городе – квартира всегда ваша. Когда захотите. А в Мюнхене есть что посмотреть». Пригласила-таки! Спасибо, спасибо вам, Алёна Ивановна! Шла по коридору. Длинный коридор покачивался. То ли оттого, что вина выпила, то ли что слёзы давили. «Ну ты что, Жанна? – обнимал, заглядывал Глеб. – Успокойся. Всё же хорошо...»

Глава пятая

I.

Григорий Плоткин отделил от стопки бумаги три чистых листа. Положил перед собой. Взял ручку с позолоченным пером. Которую подарила ещё на тридцатилетие мама. Начал:

...Итак. Ежедневные три страницы. Пишу, чтобы просто двигать ручкой на бумаге. Как советует американская мадам. Провожу утреннюю канализацию мозга. Уверяет, что поможет сдвинуться с места и начать писать. Попробуем, посмотрим. Верится в это мало, но нужно попытаться. Чем чёрт не шутит. Уверяет в книжке, что всем помогает такая метода. Даже балеринам лучше кружить-

ся и дрыгать ножкой. А у пишущих – на сто процентов! Посмотрим. А пока – двигай, строчи что попало. Куда только выведет это всё. Непонятно. Но – посмотрим. Чёткой темы для романа-повести нет. Хотя хвалился Яшумову дурацким названием. Но дальше не двинулся. Пусто. Куда всё подевалось? Ни метафор, ни набросков – ничего. Перестал брать с собой блокнот и ручку. А зачем? Хожу по улицам – пустоглазый. Как будто и не писал никогда. Раньше только проснусь – сразу за блокнот и ручку рядом с подушкой. Сразу что-нибудь нацарапывал. Что сварилось за ночь. Сейчас – ничего. Писатель хренов. Теперь всё читаю у других. Как писать. Ученик теперь. Первоклассник. А наставники с наставлениями – один другого лучше. У всех рассуждения. Безоговорочные. С гарантией. У всех самомнение – с головой. Только он (она) знает, как писать. Хотя дельные советы, конечно, есть. Созвучные моему опыту. Делятся советы на две категории – или таблицы, упражнения, или – общие рассуждения. Вот и гадай – кто прав...

Посмотрел на написанное. Маловато. Ещё надо что-нибудь написать:

...Вчера изругался с матерью в пух-прах – одна попёрлась в Пенсионный фонд. С большими своими ногами. Уточнить, видите ли, ей нужно было насчёт стажа. Не могла сказать, чтобы сводил! Сразу представил себя на её месте. Чтобы попасть в эту организацию, надо сначала взобраться на крутое крыльцо, открыть дубовую дверь – и сразу глубоко вниз, в подвал, переставляя трясущиеся ноги и хватаясь за металлический поручень. Это первое испытание для стариков и старух. То, что можешь скатиться кубарем в подвал – и никаких пенсий тебе уже не надо будет – это никого в организации не волнует. Скатился, ноги переломал и ладно. Но! но ты пока ещё цел, ноги трясутся, но ты спускаешься всё же вниз. Молодец! Ты победил лестницу. Дальше всё как положено в таких заведениях: за стеклом только две сотрудницы, к ним по два, по три пенсионера. Здесь нужно получить тебе талон. Предварительно вывернуться наизнанку, рассказать: кто ты такой. Какого чёрта тебе надо. Подаёшь документы, объясняешь. Если ты уже маразмат – на тебя орут: «Так что вам надо? Чего вы хотите?» Градус двух бабьих голосов за стеклом резко повышается. Ты мямлишь, что не всё в документах у тебя верно записано, куда-то подевались десять лет стажа. «Когда я работал говновозом», объясняешь ты. Тебе доказывают, что всё в документах верно – «Вы работали в Тресте очистки, а не «говновозом»». А-а, «в тресте очистки»? Так это теперь называется? Так бы и говорили. И вот ты с чем пришёл, с тем и уходишь. Свой стаж ты вроде подтвердил. Самому себе. Ты маразмат. Ты просто забыл. Теперь новая задача – выбраться из подземелья. Ты карабкаешься, как краб, по лестнице наверх. К свету. Эх, воздуха бы свежего глотнуть. На крыльце ты дышишь полной грудью. Ты жив, ты счастлив, ты ничего не узнал!

– Ну зачем ты без меня попёрлась, мама? Ведь могла бы погибнуть!

– Да хватит уже об этом. Иди лучше завтракай.

Садит с двух сторон кулаками в подушку, взбадривает. Ставит фунтом на кровать. В изголовье. Аккуратистка.

Плоткину нестерпимо хотелось курить, слюна как у собаки текла. Но нельзя – просто убьёт мама. Терпеть надо. До улицы.

– Почему Лиду больше не приведёшь? С Яриком? – уже накладывает кашу.

Хм. «С Яриком». Ворочал ложку. Ложка в каше стояла. Понравилась красавица Лида матери. Ещё бы! А того не видит, что у сына не очень-то складывается с Лидой. А если серьёзно посмотреть – ни туда ни сюда у мамино задрипки кучерявого.

– Ты лучше скажи, когда с ногами пойдёшь? – опять перевёл стрелки сын. – В больницу?

Первую на сегодня поспешно раскурил во дворе. На пустой детской площадке. Сев на скамеечку возле слоника. Даже не вышел со двора на улицу. В голове сразу зашумело. Видел, видел, что на балконе стоят и смотрят. В фартуке своём. Но ничего с собой поделать не мог. Затягивался, окутывался дымом. Ну, вечером сегодня будет!

2.

Лида Зиновьева торопила сына в школу. В продлёнку. (Вот тоже – название! «Продлёнка»!) «Шевелись, Ярик, шевелись! Опаздываем!»

На диване Ярик вяло надевал белую рубашку. И то ли надевал он её, то ли пытался снять. «Да дай я!» – не выдержала мать, сама начала всовывать сына в рубашку. Безвольного со сна, невыспавшегося. Какой дурак придумал начальным классам к восьми?

До школы было три квартала. Мать быстро шла, дёргала за собой сына. Ярик то бежал, то волокся. Большой рюкзак тянул назад, большой помпон на шапке болтался. «Вот только не ляг у меня сегодня в девять, только не ляг, поиграй ещё в дурацкие стрелялки!»

Показалась четырёхэтажная школа. На широкую лестницу карабкались со всех сторон мальчишки и девчонки с рюкзачками. Одетые по-весеннему, но тепло, в надувные куртки разных цветов.

Зиновьева отпустили сына. Сын впрягся в рюкзак и, как бурлак, пошёл немного бодрей. «После столовой, часа в три съешь яблоко. Оно в рюкзаке». Но сын уже не слышал, сын увидел бойкую Акулову (соседку по парте) и сразу неуклюже побежал. Со своим тяжеленным рюкзаком. Зачем stalkивает в него всё, что только можно! Да ещё этот десадовский помпон на шапке! Давно срезать нужно его. Ни у кого из детей нет.

Зиновьева пошла назад, домой. Чтобы самой собраться. А уж потом на метро, на работу.

Плоткин ходил по редакции. Приблизившись к работающей Зиновьевой, склонялся: «Я буду Ярику наставником. Старшим другом. Я люблю детей, Лида». Посматривал по сторонам.

Лида как будто не слышала. Зло вычёркивала у Савостина.

Плоткин уходил. Снова возвращался. Говорил опять в нос: «Я был записан в авиамодельный. В детстве. Угу. Я могу сделать Ярику планер».

– Отстань, – тихо говорила женщина. Но поднимала голос. Для остальных редакторов: – Григорий Аркадьевич, я всё поняла!

Плоткин прикладывал руки к груди: «Ухожу, ухожу».

Через минуту возвращался: «В детстве у меня был голубь. Я его кормил...»

Да что же это такое!

Яшумов, когда пошёл на обед, в пустой редакции увидел только Плоткина и Зиновьеву. Сидят рядышком у компьютера. Всё вытаскивают рукопись чёртова Савостина.

– Григорий Аркадьевич, вы идёте в кафе?

– Нет, Глеб Владимирович. Сегодня – никак. Сами видите – зашиваемся. Попьём только чаю с бутербродами Лидии Петровны.

На Яшумова смотрели два кротких, уставших голубя. Два голубка.

Да-а. Не позавидуешь.

Как только патрон вышел, начали быстро собираться. В плащах вымелись из редакции. Рванули в другую сторону от кафе. От его окон. Чтобы дворами выскочить к метро.

Плоткин в квартиру на третьем этаже скакал через ступеньку. Нарастопырку. Останавливался, торопил Зиновьеву. Снова скакал.

В тесной прихожей на все стороны полетела женская одежда. И верхняя и нижняя. Плоткин работал как prestидижитатор. За ширмой от зрителей. Вся растрёпанная, как кочерыжка, Зиновьева сердилась:

– Хватит, хватит! Прекрати это американское кино!

Но её не слушали, её уже тянули в притемнённую комнату. Занести на руках и мягко положить на диван – силёнок у любовника явно не хватило бы. Поэтому её просто повалили на диван.

У Плоткина, казалось, не было плоти, витал над любимой как ангел. Но Зиновьева всё равно отворачивала лицо. Точно от налетевшего поезда...

Полураздетые, торопливо обедали. Быстро оделись. Скатились по лестнице на улицу.

Вернувшийся в редакцию Яшумов опять увидел парочку у компьютера. Всё работают, бедные. И ведь конца этой дурацкой работы не видят.

– Глеб Владимирович, – повернулся с креслом Плоткин. – У меня возник вопрос по рукописи Савостина: как вы думаете, выражения «Флаг тебе в руки» и «Пропеллер тебе в жо» – это синонимы?

Яшумов стал кашлять и пошёл как журавль, высоко задирая ноги, а Зиновьева упала грудью на стол.

3.

– Савостин, ты почему не поехал на Ижорский завод? Не подготовил там всё для встречи губернатора? Ты куда смотрел? Мы все приехали, а там – забежали. Ничего не знают. Ни о каком приезде губернатора. А? Ты где был вчера?

Начальник отдела Купцов сидел тучей. Кулак на столе сжимал. Точно примерялся двинуть разгильдяя. Ещё два работника отдела тоже могли попасть под горячую руку, под кулак Купцова – Пшёнкина и Алёшин. Сидели у стола, опустив головы. Не могли смотреть на разгневанного начальника. Да и на бедного Витальку.

Савостин только что в туалете заглянул петуха, мокрая голова его лоснилась. Будто схваченный за горло – выворачивался:

– Да я, да ведь мы, Роман Васильевич, это же работа пиар-отдела, не наша, мы должны, мы обязаны только быть под рукой, мы всегда с губернатором, мы с ним, всегда за ним, мы у него...

– Да ты-то где был вчера! Ты! Мой заместитель? – стукнул кулаком по столу Купцов. – Где?!. Всё по редакциям своим бегаешь? Со своими романами? Писатель хренов. Смотри, как залетел сюда, так и улетишь.

После разноса Савостин выскочил из Смольного во двор, побежал на парковку. Занырнул в свой Рендж Ровер, помчался на обед.

Дома всячески изничтожал Купцова. В компьютерной стрелялке: «Вот тебе, гад! Вот тебе!» – взрывались, испарялись убегающие вражеские солдаты. Все до единого – клоны Купцова-начальника. *Узкий лоб, стальные челюсти, отвратительное мурло монстра.* Нажимал, нажимал кнопки на пульте: «Вот тебе! вот тебе, гад!»

Стало полегче.

В дверь позвонили. Пшёнкина. Быстро раздел её. Установил на диване, Лицом в стенку. Заработал. *Как Артур с ярко выраженным лицом подлеца и садиста.* Откинулся на диван. Кверзу лицом. *Как Артур возле дымящейся гаубицы.* Стало гораздо легче. Так-то, гад Купец.

По очереди сходили под душ и оделись. Потом обедали на кухне. Пшёнкина всё удивлялась, что Виталька так хорошо готовит. Нахваливала гуляш с подливкой, ела с аппетитом. Потом пила чай и поглядывала на фото хозяина по всем стенам кухни. Во всех видах он на них, во всяких позах. Вот он загадочно улыбается в рубашке с бабьим жабо. Вот он в гимнастёрке, мужественный как кирпич. Снова томный в своих розовых подгузниках, извилистый. Будто извиняется, что хочет в туалет. Вот он в наушниках, стреляет в тире из пистолета. Машет веслом на байдарке. И везде он – один. Нарцисс, вообще-то, Виталька. Домашняя настенная галерея нарцисса.

– Почему ты не сказал ни мне, ни Алёшину вчера насчёт Ижорки? Мы бы с утра сгоняли, прикрыли б тебя.

Савостин ухмыльнулся. «Прикрыли» бы они. Как же! Только б высунуться самим. Не дождётся. Давай собирайся. Пора в отдел.

Вышли к машине возле набережной. Пшёнкиной хотелось перейти дорогу, постоять у канала, пожмуриться под солнцем, подышать.

– Садись, – приказал Савостин. И как только любовница села, с места рванул вдоль набережной. Но свернул в первую арку. Поехал медленнее полутёмным длинным туннелем. В проходном дворе за туннелем живёт ещё один гад – Плоткин. Савостин промчался двором, непрерывно сигналя.

– Зачем, Виталик? Никого же во дворе нет.

Много ты, дура, понимаешь, надавал и надавал, выскочив на параллельную улицу, Савостин.

Два дня сидел в отделе. Терпел, никуда не слинял. Всё время был на виду у Купцова. Как только тот опять покатило куда-то в ораве губернатора – сразу помчался в издательство. И не слушал Пшёнкину, её панические слова: «Куда, Виталик? Погоришь!»

Первым дело – к Акимову:

– Так когда, наконец, Анатолий Трофимович? Я же всё сделал для вас, и ещё буду делать. Мы же договорились...

Красный Пузырь зажимал ногами руки под столом. Мясся:

– Понимаете, Виталий Иванович, это не так просто переделывать вещь. Нужно вникнуть в неё.

Проникнуться ею...

– Да не надо её переделывать, Анатолий Трофимович. Не надо! Они специально курочат моего Артура, специально!

– Ну, вы это зря говорите, зря. Зиновьева честно работает. Как говорится, не покладая рук...

– Да какой «честно»! Всё время хихикает над Артуром. Вместе с этим... Плоткиным.

В общем, спокойствия Пузырь-гад не внёс.

В редакции – не лучше. Сидят у компа парочкой гусь да гагарочка и опять смеются. Увидели автора Артура – и тут же морды напустили на себя: они работают. Серьёзно работают. Э-э, кого обмануть-то захотели? Автора Артура?

– Здравствуйте. Сколько осталось страниц?

Зиновьева сразу свою красивую мордочку в сторону, а у гада Плоткина глаза забежали:

– Больше двухсот.

– Как «больше двухсот»! Неделю назад было сто пятьдесят!

– Пришлось дописывать. Уточнять. И с Артуром, и с Максом.

И ведь не улыбнётся гад, не хихикнет...

Пшёнкина на обед не помогла. Сидел потом рядом с дымящей гаубицей, подперев репу. Как Артур. Как распоследний раздолбай.

4.

Яшумов несколько удивился приглашению Григория Аркадьевича. Тридцать пять, конечно, дата, но этично ли это будет. Всё-таки он, Яшумов, какой-никакой, а начальник именинника. Субординация же должна соблюдаться.

– Приходите, Глеб Владимирович, – просил Плоткин. – И непременно с супругой. Будет только Лида с Яриком. Ну а маму мою, Иду Львовну, вы знаете.

Действительно, познакомились однажды на набережной канала Грибоедова. Тяжело шла она, поддерживаемая сыном. Как оказалось, в поликлинику. Старая еврейка с большими отёкшими ногами. Но с *мгновенными*, как говорят, глазами. Всё разом понимающими, схватывающими на лету. В которых юморок плясал постоянно.

Плоткин ждал.

– Конечно, конечно, Григорий Аркадьевич. Обязательно будем. Напишите, пожалуйста, адрес. И вот теперь задача. Как быть с женой. С *супругой*, как выразился именинник. Пойдёт ли она.

Рассказал вечером о приглашении.

– Пойдёшь? В субботу к пяти?

Сам после гибели Колесова ни в какие гости не ходил. Был только на юбилее Потупалова Сергея. В ресторане. Да лучше бы и не ходил туда. Под грохот музыки и пляски гостей сидел рядом с плачущим, мотающим головой юбиляром и только утешал. А тот, успокоившись чуть, вытирал кулаком слёзы, забыв про платок: «И с тобой молодые так же поступят, Глеб. И с тобой. Выкинут как половик и ноги даже не вытрут». И жена намалёванной матрёшкой рядом с юбиляром сидела. Готова была лопнуть от злости. Вот такая картина...

– Так пойдёшь? Пригласил только с тобой. (Мол, одному и соваться даже нечего – не пустят.)

Жена думала.

– И что я там буду делать? Чумичка из Колпина? Среди вас, интеллектуалов-воображал? Ведь слова даже не скажешь.

– Ну, это ты зря так про себя, – растягивал слова муж. Мол, у тебя не всё ещё потеряно. Ещё можно что-нибудь наверстать. Подучиться. Целых три дня у тебя до дня рождения. До встречи с *интеллектуалами-воображалами*.

Жена поломалась ещё и согласилась. И сразу начали спорить, что купить в подарок. Каменская хотела просто выходную рубашку. Ну, с запонками можно. И хватит твоему Плоткину. Яшумову это казалось слишком простеньким, избитым. «Ещё давай тройной одеколон купим и подарим!» Настаивал на ноутбуке. Свой у Гриши недавно сломался. «Да ты съехал! Это сколько ж надо вбухать нам! *Октябрь!*» (Привет вам от дочери, Анна Ивановна!). В общем, дело пошло.

Как оказалось, Плоткин жил всего в трёх кварталах от Яшумова. Сразу увидели нужный высокий дом в тесном проходном дворе.

На третьем этаже мужа и жену встретил в дверях сам именинник. Почему-то в пиджачке со светлыми бортиками. От этого похожий на мотылька. Не хозяин даже, нет – услужливый гость.

– Проходите, проходите, пожалуйста. Рад, очень рад!

Схватил руку Каменской, поцеловал. Та от испуга руку вырвала. Впрочем, плащ снять разрешила. Стала наготове – с руками назад.

Яшумов сразу вручил имениннику ноутбук в упаковке. Плоткин обомлел: «Да зачем же, Глеб Владимирович. Ведь дорого». Яшумов успокоил его, крепко пожал руку.

Появилась мама именинника, Ида Львовна. Сразу обняла Каменскую, похлопала по спине. «Проходите, милая, проходите». Была хозяйка в объёмном белом фартуке и с перманентом на голове. Повела Каменскую в гостиную. Там знакомство продолжилось. Теперь с Зиновьевой и её Яриком. Наконец Каменская присела на диван. Вытиралась платком. Да-а, началось лето в деревне. А Глеб, сам Плоткин и Зиновьева уже базарили. Как будто год не виделись. Уже перебивали друг дружку, спорили. И только Ярик стоял, не знал, куда себя деть. «Иди сюда, мелкий». Усадила мальчишку рядом. Вместе теперь прорвёмся.

Яшумов смог осмотреться, только когда сели за стол. Квартира обычная, не богатая. Никаких особых люстр и бра – три матовых рожка под потолком. Книжный шкаф, набитый книгами. Простой телевизор. Старый диван с обшарпанной спинкой. Даже отставшие обои в углу комнаты имелись. Ремонтами, видимо, хозяева себя не заморачивали. Но – чисто. И стол ломится. И всё подносит и подносит Ида Львовна. Да, умеет готовить пожилая женщина в богатом фартуке. Но почему-то всё русское, из русской кухни. Даже рыбы-фиш по-еврейски почему-то нет.

Яшумов поднялся с рюмкой:

– Дорогой Григорий Аркадьевич. 35 лет, перефразируя известный оборот, возраст не юноши, но мужа. Вы пришли в издательство четыре года назад. И многое успели сделать за это время. Вы стали прекрасным редактором и организатором. (Хотел добавить «всего процесса производства книг», но удержался от канцеляризма.)

Яшумов с рюмкой всё говорил и говорил. Чувствовал, что затянул поздравление, что говорит избитыми фразами. И ничего с собой поделаться не мог. Это был какой-то приступ словесной графомании. Каменская дёрнула за штанину: кончай базар! пельмени стынут!

Наконец выполз на финишную прямую:

– ...Поэтому мы все, от всей души, поздравляем вас! Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни (что там ещё, какие штампы в запасе?)... – И сказал вдруг неожиданно: – И бросить курить! Наша вам в этом поддержка.

Все рассмеялись, захлопали, полезли чокаться с именинником. А сам зоил тоже чокнулся, тяпнул и плюхнулся на стул.

Стали закусывать, налегать на салаты. А потом на пельмени со сметаной. Раскачивались в восхищении, хвалили гордую хозяйку.

Яшумов вновь поднялся с рюмкой:

– Дорогая Ида Львовна. Позвольте поздравить вас с рождением сына в... 1984-м году. (Сумел сосчитать.) Замечательного сына вы воспитали, Ида Львовна. Просто замечательного. Спасибо вам, спасибо. – Хотел ещё что-то добавить, но горло перехватило. Отворачивался, боролся с лицом, проливая водку.

Ида Львовна сама подошла, обняла и похлопала. Она, видимо, любила обнимать и хлопать. И мужчин, и женщин. Зиновьева заплотнилась вместе с Яриком, плотненьким своим пудович-

ком. Который хорошо ел, но когда нужно, тоже хлопал в ладошки, поддерживал маму. Именинник с улыбкой сидел и только удивлялся. Как будто всё это не к нему относилось. Все эти славословия не давали ему говорить. Накатывали какими-то обязательными волнами, приливами. Вот все вроде бы сидят, слушают его, все нормальные, закусывают, едят пельмени, и вдруг как снизу кого толкнул. И вот уже поднимается с рюмкой или бокалом (Зиновьева), и пошёл (пошла) плести хвалебный псалом. Да хватит вам, черти, хватит! Дайте наконец сказать! Впрочем, сам начал давать сбои. Обрывал фразы, замолкал на середине их. Курить хотелось нестерпимо. Голодным цуциком поглядывал на мать. Только что не трясся, как говорят, на ледяном ветру. «Ладно уж, иди», глазами показала та на балконную дверь. Сын тут же сорвался и убежал.

Яшумов сидел рядом с женой, но любовался Лидой Зиновьевой. По-отечески. С насаженным на вилку забытым пельменем. Красавица. Да ещё приделалась. Модная красивая кофточка обнажила белое, умеренной полноты плечо. (Небывалая смелость для сдержанной Лидии Петровны.) Грива волос, пожалуй, слишком велика. Но как-то женщиной красиво уложена. Легкий макияж на чистом лице. Глаза и ресницы чёрные, бархатные. Повезёт Грише, если добьётся её, женится. Интересно, спят они уже или нет? Чувствовал тычки под бок. Тогда отправлял пельмень в рот. Но медленно. Вроде кота Бориса. С его секретом энергии.

Жанна всё время чувствовала на своей руке руку старухи в перманенте. «Кушайте, милая Жанна, кушайте». Жанна послушно ела, но тоже смотрела на Зиновьеву. Черноглазая красотка с голым плечом. От Лореаль Париж. Такая же, как и в первый раз, когда видела. «Ведь я этого достойна!» Один в один. Только волосы светлые, а не чёрные, как у той. А рядом козёл сидит и пялится. Не скрываясь. Сейчас заблеет. Про пельмени даже забыл. Локтем совала. Локтем! Тогда вилка с пельменями снова начинала гулять. Как не подавится гад. Наверняка на работе давно клинья подбивает. Зачем пошла?

Счастливый Плоткин вернулся за стол и продолжил дымить. Теперь шутками своими, анекдотами. Все уже хорошо подвыпили. Все, кроме Каменской и Ярика, с готовностью смеялись. Ярик смотрел через стол: и чего они смеются, тётя Жанна? Лучше бы телевизор включили. Каменская понимала его, села с ним на диван. И они стали рассматривать фотки в семейном альбоме, который им дала Ида Львовна. Были заняты делом, чёрт побери, а не пустой болтовнёй.

Плоткина, впрочем, хватило ненадолго. Опять поглядывал на балкон и на маму. Не дождавшись от неё, сам деликатно пошёл. Как большим щитом, прикрывшись Яшумовым. Мол, мы вместе, мама, мы вдвоём. А та разрывалась между курякой-сыном и его красивой женщиной, которую нужно было ласково слушать. Погоди, кипела мама, гости уйдут. Ох, погоди. Пыталась вникнуть в слова милой Лиды.

С балкона Яшумов сквозь дым попытался разглядеть двор Плоткина. Сквозной, кажется, замкнутый четырьмя домами. Потом, забыв про двор и дым, спросил, почему всё-таки так медленно идет переделка Савостина. Григорий Аркадьевич? Ведь вы работаете над рукописью теперь вдвоём.

Плоткин выпустил большой клуб дыма да ещё пару колец следом отправил:

– Понимаете, Глеб Владимирович, тут есть своя причина, своя, так сказать, заковыка. Если бы нужно было просто выкинуть графоманские слова и никуда не годные куски, дописать свои, нормальные – это было бы проще, и рукопись была бы давно готова. Но мы решили пойти другим путём. Роман Савостина будет не просто переписанный редакторами роман – это будет самопародия Савостина. Будто бы написанная им самим. Но о которой он даже не подозревает. Пародия на самого себя. Понимаете, Глеб Владимирович? И сделает это всё Лидя.

Главред смотрел на дымящего ведуна: ой ли? Не ты ли это всё придумал? Лидия Петровна отличный редактор, но вряд ли до такого додумалась бы. Концепция уж точно твоя.

Яшумов перестал чувствовать даже табак, которым упорно окуривал его Плоткин. Однако... однако интереснейшая книжка может получиться. Если парочка сделает всё, как задумала. Книжка пойдёт, может даже иметь успех.

– А вы подумали с Лидией Петровной, что будет чувствовать сам Савостин. Каково придётся ему на встречах с читателями. Ему, гордому и несчастному. Что он будет отвечать на весёлые вопросы, как говорится, из зала.

– Да не поймёт он ничего, – смеялся Плоткин. – Поверит, что сам написал, всё примет за своё. Все графоманы такие. И будет только пыжиться да умалчивать. Глубокомысленно: «Сделал. Смог». Автографы даже научится раздавать. Глеб Владимирович! Поверьте!

– Не знаю, не знаю, – сомневался Яшумов.

Уходили из гостеприимного дома в девять вечера. Ида Львовна опять всех по очереди обняла и похлопала. Даже плотненького Ярика, который получил к тому же два кулька. Один с конфетами, другой с домашним печеньем. «Куда ему столько, Ида Львовна!» – протестовала мать, оставляя за скобками слова «это же вредно столько сладкого!». – «Ничего, ничего, пусть ест», – разрешила старая женщина.

С шутками, даже с песней (пытались запеть главред и ведун в обнимку) высыпали на набережную. Какое-то время, словно удерживая в себе всё светлое от вечера, молчали и смотрели на журчащий вдаль огонёк на воде канала. И начали прощаться. Плоткин с Лидой и Яриком пошли по набережной в левую сторону. Яшумов с женой – в правую.

5.

...Начатый роман явно не идёт. Пришлось вернуться по утрам к пресловутым трём страницам. Написанным о чем попало и как попало. Вот сижу, вожу ручкой по бумаге. Похоже, с сочинительством у меня не очень. Таланта нет? Усидчивости? Зато на работе – балалайка. Постоянно тренькающая балалайка. Ведь всё из себя выбалтываю. Слушателям с улыбочками ртами. А не на бумагу. Всё нужно болтуну, чтобы ждали вокруг очередной шутки, анекдота. И принимались хохотать: Ай да задохлик кучерявый! Прямо умру сейчас от смеха! Это – женщины. Мужчины обычно трубят: Хо! Хо! Хо! Ну и хохмач! Как на тубах играют. У них всё серьёзно. Впрочем, Яшумов смеётся-заливается как мальчишка. Заходится. Размахивает руками. Кашляет. Приходится стучать по горбу. А ведь советский аристократ. Папа учёный, профессор. Музыкантша мама. Но не очень умный сынок получился. Упёртый на всю жизнь, не гибкий. Не понял даже, что дурацкое название, которое придумал – это про него, Яшумова. Вот именно так: редактор Яшумов – это «Настольная памятка по редактированию замужних женщин и книг». Не понял! Хотел, зажмурился. Хотя «женщин замужних» – это, пожалуй, перебор, для красного словца, но в основном всё точно. Мало того что подгоняет всё и вся в редакции под своё разумение, под своё понимание литературы, так наверняка и дома так же строит, редактирует жену. Надменную Жанну. Хотя кто знает? Может быть – та его? Себе на уме дама. И явно не нашей тусовки. Не литературной. Весь вечер с Яриком просидела. Как тоскующая собака, не имеющая своих щенков. Не могут или не хотят? Вот тоже – выражение: «завести детей, завести ребенка». Прочитал у одного довольно средненького писателя насчёт этого самого «завести детей». Серьёзная женщина говорит пустышке, похожей на пуделя Артемона. По памяти пишу: «Заводят кошек, голубей, балонков всяких. Пуделей. Детей рожают, в муках рожают, уважаемая Алла Романовна». Хоть и так себе автор, а здорово сказал...

– Ну ты чего опять уселся писать, не позавтракав? Да ещё накурился. Язву хочешь заработать?

– Сейчас, мама, заканчиваю.

...Вот ещё один генерал. Домашний. Здесь всё по-простому. Аристократизмом и не пахнет. Еврейка из местечка в Белоруссии. Круглая отличница в школе. После школы – в Питер. Но в институт не взяли. Поступай у себя в Белоруссии. Позволили в индустриальный техникум. Общежитие дали. После окончания – сразу на производство. Станкостроительный завод. Первые годы помощницей у мастеров, у начальника цеха. Потом пошла в гору. Сама стала цехом руководить. Крепкий производственник. Личной жизни никакой. Почти в сорок лет случился какой-то пролётный еврей. По фамилии Плоткин. Родила. Уже была комната в коммуналке. Кучерявого ребёнчишку сперва в ясли. Потом в детский. Почти никаких декретных не брала. Только цех, только производство. Сын вырос без призора, среди дворовой шпаны. Правда, заставила поступить, окончить университет. С отличием. Евреям уже можно было. Подошло время к Израилю. «Сваливать будем, мама?» – «Ещё чего! И не вздумай!» Вся жизнь стойкая комсомолка, коммунистка, русофилка. Никаких

рыб-фиш на обед. Проводили на пенсию. С большой помпой. В последний год работы получила вот эту двухкомнатную в центре. Железная Ида, так звали её в цеху рабочие. Молодец, мама...

– Да идёшь ты или нет, в конце-то концов! Мне что, второй раз разогреть?

– Иду, мама, иду.

На сегодня – точка.

Ел вчерашнее, оставшееся от дня рождения. Попил чаю. Под поощряющим взглядом матери набрал номер Лиды:

– Доброе утро, мои хорошие. Ну как вы, готовы? Тогда жду вас на входе на Кировской.

В парке на Крестовском Лидия Петровна Зиновьева смотрела на две улыбающиеся ей рожицы, взрослую и детскую, плавающие по кругу с люлькой аттракциона. Рациональная Лидия Петровна думала: как быть дальше? Слишком далеко всё заходит.

Счастливые круглые рожицы выплывали к ней с улыбками до ушей. Рожицы инопланетные. На тонких шейках.

Шли к другому аттракциону. Плоткин отставал, давился табаком. Стремился нарвать в себя побольше. Побольше затяжек.

Так как быть с кучерявым мужчиной? – шла с дымом и всё думала красивая, но рациональная женщина.

Увидела подsunутое под нос мороженое. Пломбир. И двое инопланетных опять улыбаются. Мол, как тебе такой сюрприз?

Так как же быть? Шла, безотчётно ела. Пломбир падал на землю. Как пена у лошади. Мужчина и мальчишка сразу останавливали и вытирали платками. С двух сторон. Не забывали потом и сами слизывать. С пломбиров своих. Опрятных.

Под шатром тряслись на двух лошадаках рядом как ненормальные. Но поворачивали головы, не забывая улыбаться.

Так что же делать?..

Глава шестая

I.

...После дня рождения не могла забыть мальчишку. Маленького Ярика. Его тепло. Его беззащитную коротко стриженую головку, когда рассматривали альбом. А идиоты за столом всё спорили, всё размахивали руками. Или смеялись дурацким шуткам именинника.

Когда прощались возле канала, успела даже шепнуть Ярику свой адрес. Пригласила в гости. Мол, я тут рядом. Себя не узнавала. И Ярик обещал: «Приду, тётя Жанна. Обязательно приду!» Да-а. Комок сразу к горлу подступил. Не проглотить. А дундук рядом сидит как ни в чем не бывало, творог себе ест. Сможет сделать ребёнка? Или нет? Никогда не говорил, что пора бы завести ребёночка. Своего, родимого. Первый муж – ни рыба ни мясо. Одно слово – агент по страхованию. Деточкин из кино. Фамилию только и оставила. Зато Валька-афганец заделал моментально. Через месяц, как сошлись, начало рвать. Но поймала гада на измене, прямо в доме, в спальне. И стала лупить чем ни попадя. И маруську, и его самого. Скакали оба по лестнице вниз, теряли одежду. Потом боялся даже приблизиться. Прятался за углами. Так тебе и надо, гадёныш. Надолго меня запомнишь.

Когда мама узнала об аборте – чуть не убила. Натурально. Сковородкой. Еле успела обхватить, зажать, утихомирить. Отец, слава Богу, ничего не узнал. Ни про беременность, ни про аборт. А мама долго страдала, плакала, когда одни оставались. Да и самой бывало не по себе. Поняла – глупость сделала.

Были ещё два любовника после афганца. Один за другим. Но оба оказались почти алкашами, на грани. По утрам тряслись ручонками. В общем, и думать было нечего о ребёнке от них.

Когда настал черёд Яшумова, не могла понять, хочет он детей или нет. Ни звука от него об этом. А ведь уже под пятьдесят. Уже внуки должны быть. Неужели ничего не ёкнет при виде чужого ребёнка. Маленького Ярика, к примеру. Или Машеньки Звоновых. Соседей по площадке. Любит ли вообще детей – неизвестно. Даже Ярика обходил как мешающий столбик. Когда прощались. Всё лез к матери его, к Зиновьевой. Обнимал даже, гад. А мальчишки рядом будто не было.

Мама, конечно, быстро поняла новые настроения дочери, стала нащёптывать: «А ты обмани его, доча. Обмани. Прими ночью без этих самых. Без средств. И посмотрим, когда забеременеешь. Если обрадуется – честь и хвала мужику. Ну а нет – так пошёл он к чёрту! Зато будет дочка или сын. И тебе, и нам с отцом отрада. Ведь тебе сорок два, доча. Времени у тебя почти нет». Верно – сорок два. И чего думала дура раньше, непонятно. А теперь, может быть, и не получится. У гинеколога была – когда спираль ставила. Где-то года полтора назад. Зато для мамы дело решённое. Доча сразу забеременеет. Как только козла до себя допустит. И если без «всяких средств». Сто процентов!

– Газету-то можно отложить? Когда ешь? Ложку ведь в ухо занесёшь.

Яшумов нахмурился, отложил газету. Вытер салфеткой губы. Опять косился на Эту Женщину. В последнее время жена казалась странной. Сидит, смотрит исподлобья. Как будто изучает. Как букашку какую. Под микроскопом.

– Ты что-то хочешь сказать?

– Нет. Собирайся на работу. Зиновьева с плечом ждёт. Со сдобным. Не забудь пожевать его. Как батон.

– Да чёрт поberi! Да сколько можно говорить! А? Ведь деловые отношения! Начальника с подчинённой. Де-ло-вые. Понимаешь ты это или нет!

– Ага. Куда только Плоткина денете...

Нет. Это невозможно!..

В вагоне метро раскачивался с месивом тел, не мог даже схватиться за штангу. Всё время ложился на невысокую полную женщину. Накрывал её с головой. «Да отодвиньтесь вы, в конце концов!» – «Куда, уважаемая, куда?» Опять риторика без ответа. Женщина смирилась, стала дышать прямо в грудь. Нагревать. Как печка. Даже уютно как-то стало. Представил Каменскую на месте полной. Каменская бы просто саданула кулаком под дых. И кончено дело. Или коленом в интимное место мужчины. Стал дергаться, смеяться. «Что с вами?» – выглянула женщина. Уже как обеспокоенная жена. «Хах-хах-хах! Извините, уважаемая».

Вместо редакции пошёл почему-то к мосту о четырёх львах. Стоял на его середине, держался за чугунную обрешётку, смотрел на бегущую рябую воду. Поверх воды, как Калатозов с Урусевским, видел крепко сбитую женщину. На ногах которой всегда любимые мужские берцы. Для мужского рукопашного боя. Которыми можно свободно пинать, лягать направо и налево. Да так, что лысый Макс отдыхает. И эта женщина теперь чего-то явно ждёт от него, Яшумова. К чему-то примеряется. Лягнуть? Чтобы улетел? Хотя по ночам по-прежнему плачет. Безвольная. Лицо мокрое от слез. Муж не отстаёт, тоже начинает кукуться. Если посмотреть со стороны – уникальная пара. Удивительный феномен...

Помимо воли, на сидящую Лиду Зиновьеву Яшумов смотрел в своём кабинете томно. Со знанием. Только что не мяукал.

Зиновьева не узнавала патрона. Патрона с седым сеном и носом картошкой. Которая была сейчас утренней, лоснящейся, хорошо помытой. Хотелось спросить: что с вами, Глеб Владимирович?

Однако Яшумов был уже серьёзен. Хмурился. Всё это – домашний гипноз Каменской, чёрт поberi. Внушила. Что без ума от этой красавицы. Тут не то что замаякаешь – козликом начнёшь бебелекать.

Для начала красивая женщина словно бы жаловалась Главному. Она уже заканчивала рукопись Савостина, оставалось совсем немного, но Гриша, то есть Григорий Аркадьевич, вдруг придумал новое. Начал носиться с идеей – сделать из белиберды Савостина пародию. Сделанную словно бы самими Савостиным. На самого себя. А это, согласитесь, совсем другая задача для нас, более сложная.

–Знаю, Плоткин мне недавно рассказал. Но я против этого. Неэтично это всё. Нехорошо по отношению к автору. Даже графоману. Да и не примет он ваши изменения. Не такой уж он дурак.

– Я сначала думала точно так же. Но дело в том, что почти все графоманские словечки, обороты, предложения Савостина будут сохранены. Глеб Владимирович. Почти все. Будет изменён взгляд на них. Взгляд как бы со стороны. Со стороны самого автора.

Главред уже злился:

– Лидия Петровна, Плоткину дан карт-бланш на издание Савостина. Акимовым. Карт-бланш. Чего же вы от меня-то теперь хотите? – Мол, я не у дел. Совершенно не в теме, как говорят теперь.

Зиновьева смотрела на Яшумова: но мы-то с вами знаем, кто здесь был и остался Главным. Вы разве не знаете – кто это?

Начала с другого конца. Начала внушать. Внушать, как некоторые делали уже сегодня утром. Причём в форме риторических вопросов: что лучше, Глеб Владимирович, оставить всё, как есть, всю предыдущую правку, чтобы графоманская книжка вышла позором для издательства? Или... или всё же попытаться спасти положение, написать пародию на этот позор, и чтобы книжка пошла, была продаваема, и был читатель? Тем более, что сам автор ничего не поймёт. Так что лучше, Глеб Владимирович? Первое или второе?

Сеанс гипноза продолжался, чёрт побери. Только уже двойной, объединённый. С духом Плоткина, витающим где-то под потолком.

Всё равно не поддался:

– Я против всяких пародий, Лидия Петровна. На кого бы то ни было. Даже на графомана. Книжки – это не эстрада. Не Александр Иванов. Решайте с Акимовым.

Зиновьева молча собирала листы рукописи.

– Извините.

Пошла к двери.

Обиделась она, видите ли. А того не поймёт, что подло это, подло!

Кучерявый не заставил себя ждать. Прибежал почти тут же:

– Глеб Владимирович, как же так, ведь мы договорились.

– Когда?

– Вы же почти согласились. Все перлы, от которых Савостин тащится, останутся в книжке. Все! До единого! Пусть это будет его позор, в конце концов. Глеб Владимирович! А не наш, издательский!

– Нет. Решайте с Акимовым.

Ну уж это. Это!

– Да что же решишь с Акимовым! С безграмотным Акимовым. Глеб Владимирович! И это говорите вы – блюститель русского языка, блюститель русской литературы.

Несчастный тоже пошёл к двери. Театрально схватился за голову. Ужас. Просто ужас!

Главред остался твёрдым и... и как оплётанным. Они же загоняют меня в угол!

«Артур вдруг услышал за забором пьяные утробные голоса. Наши! – обрадовался Артур. Он дошёл».

О, Господи!

2.

Во сне Яшумов видел себя внутри стеклянного параллелограмма какого-то банка или даже финансовой корпорации, куда пришёл взять большой кредит. Он ходил среди сидящих сотрудников и настойчиво показывал свои документы. «Я Яшумов. Редактор Яшумов. Не Савостин. Понимаете? Вот здесь написано. Не Савостин я, а Яшустин. Я пришёл к вам получить большой кредит доверия. Ему не положен кредит, а мне вы обязаны дать».

Потом он пропал куда-то из здания. Тогда быстро нанял вертолёт и стал кружить вокруг всё того же небоскрёба. Показывал лётчику, куда подлетать. К какому параллелограмму, где только что был. Увидел себя! Крохотную букашку. Но это был он, он, Яшустин! И длинные волосы, и нос

картошкой. Рулите, рулите туда скорей! Но в наушниках вдруг стал звучать чей-то грубый голос: «да проснись ты, проснись!»

Проснулся. Пошамкал пересохшим ртом. Жанна толкает. Извинился: «Опять, наверное, храпел». – «“Опять”. “Наверное”. Да с тобой спать рядом невозможно! Когда есть на ночь перестанешь?»

Утром завтракали на кухне. Недовольные друг другом. Яшумов ждал внутри себя Савостина. И дождался: «Макс, как игла в стоге сена, шёл против течения. “Где мои деньги, урод!”»

– Что с тобой?

Это уже точно клиника. Нужно идти к психиатру.

«Артур любил Регину по-военному, по-русски. Лёжа, молча и совсем недолго. Некогда было».

Яшумов боролся с лицом, с приступами смеха.

– Да что с тобой! Опять, что ли, закидоны пошли? – брезгливо смотрела жена.

«Макс не жадным был. Даже стеснительным. Но навалил в углу у себя целую кучу и каждый день туда подкладывал». Господи-и!

Смеялся Яшумов над цитатами из Савостина как всегда – как будто плакал. Каменская поспешно включила телевизор. Чтобы отвлечь. Точно ребёнка.

Поправил очки, послушно вгляделся. Шла реклама всего лишь кошачьего корма. Никаких пиналок. Глупые глаза котёнка походили на очень прозрачные серые леденцы. Следили за капаящими из крана каплями. Глупый, непонимающий. Побежал к своей миске. И давай есть корм. Награда от хозяев как будто любознательному.

Наверное, глупее, чем кошка, животного нет. Этот юный хоть старался что-то понять. Мордочкой под каплями походил на сердитого старичка, которого обманывают.

Сразу вспомнился бедняга Терентий. Тоже смурной был, непредсказуемый. Куда побежит в следующий момент – никто не знал. Даже он сам.

Заскребло душу. Смотрел на жену.

Но у той после котёнка на экране никаких ассоциаций не возникло. Беднягу Терентия просто забыла. Самодовольная, неторопливая, спокойно насыщалась.

Помявшись, сказал:

– Схожу сегодня к Колесовой. Книги нужно отнести.

Жена сразу взвилась:

– Ну конечно! А то что продукты давно надо закупать – это пусть жена одна закупает.

– Хорошо, хорошо. Сходим. С книгами потом пойду.

Ещё с начала жизни вместе все деньги, какие получали на работах, предложил класть в коробку в серванте. В общую. Как это делали мама и папа. Очень удобно, Жанна! Сколько нужно, столько и возьмёшь потом. Ну а что-то серьёзное будем покупать – вместе обсудим, решим. Каменская сперва насторожилась. Но быстро смекнула, что значит для неё эта «общая коробка». Ведь можно и себя не обидеть. Муженёк попался не жадный, деньги считать не умеет, в коробке вряд ли будет пересчитывать. Да и самому – на обед там, на метро. Иногда нужную книжку купить. В общем, мама, зря мы с тобой беспокоились. С отъявленной бухгалтершей блаженный тягаться не сможет.

В супермаркете накупила всего под завязку. И круп, и овощей, и мяса, и масла, постного и сливочного, и фруктов. И консервов. Набила два больших пакета и вместительный рюкзак Глеба. Перед этим на кассе долго вынимала всё из двух корзин на ленту. Муженёк метался у конца ленты, затапливал оплаченное в пакеты. Когда подкинул на себе рюкзак, чуть не упал. Сама из супермаркета вынесла только торт в прозрачной круглой коробке.

На лестнице отставал, пыхтел. В квартиру заводила как навьюченного осла – в зубах только у осла ничего не было. Старуха Тихомирова с Берточкой одобительно покивала вслед. Так их и надо дрессировать, мерзавцев! (Кого их? берточек? яшумовых?)

Однако едва вошли – сразу побросал всё на пол, схватил свои книги и был таков! А разбирать пакеты кто? Пушкин? Какой там! Чуть не сшиб Тихомирову, покатился по лестнице. Даже Берточка не успела ринуть вслед своё «рр-и-и!».

Свободный, бодро шёл по набережной канала. Поглядывал на встречающих людей и вспыхивающее на воде солнце.

Снизу приближался прогулочный катер. Тоже тащил с собой солнце.

На верхней палубе сидели безвольные туристы в шляпках. Экскурсовод активно махала им руками. Как хормейстер, пытающийся оживить хор. Чтобы запели наконец. Но хор молчал. Так и плыл мимо. Уставший, пресытившийся, безвольный. Яшумов не удержался, помахал: привет, обьевавшиеся зрелище! Туристы, как один, повернули головы, а хормейстершу парализовало. Так с забытой простёртой рукой и проплыла мимо.

Выдвинулся к перекрёстку Дом Зингера с куполом, на макушке которого сильные три валькирии неумоимо удерживали блестящий земной шар из стекла.

Прежде чем открыть входную дверь, причёсал растрёпанные волосы. Одной рукой. Подул на расчёску, вложил в нагрудный карман рубахи с коротким рукавом. Поправил книги под мышкой. Вошёл.

Как всегда встретила помощница Ани, Мария. Но лицо её было почему-то серьёзным, озабоченным:

– Сегодня Анны Ильиничны не будет, Глеб Владимирович. Вы, наверное, знаете, пять лет назад у неё погиб муж. Сегодня как раз эта скорбная дата. Анна Ильинична сейчас дома. С детьми, с внуками.

Яшумов оставил книги и пошёл на выход. Точно, сегодня. Ровно пять лет назад. Забыл! Преступно забыл!

Минут через сорок был на Петроградской стороне, в Колиной квартире на пятом этаже.

Сидел за столом среди Колиного семейства. Соответствуя ритуалу, два сына Коли хмурились перед налитыми рюмками. Их жёны изредка вставали и скользили. С тарелками, с едой. Три внука и внучка уже баловались за столом. Стукали друг дружку. Смеялись. Вдова с чёрной повязкой на голове унимала их, тоже смеялась.

– Глебушка, поешь моего холодца. Помнишь, Коля любил его. Тарелками ел.

Пробыл среди скорбящего и балующегося семейства несколько часов.

– Спасибо, что пришёл, Глебушка, – обняла на прощанье Аня. – Что не забыл.

Глебушка гладил плечи женщины. Глебушке было тоскливо, стыдно. Если бы не пошёл с книгами, если бы не Мария – не обнимал бы сейчас вдову бедного Коли, не утешал.

Поздно вечером опять стоял у канала, смотрел на просвеченную дрожащую на воде луну.

Снизу на арендованном судне приближалась свадьба. Вся в гирляндах огней. Шумная, многолюдная. На верхней палубе гремела музыка. Невеста в длинном пышном подвенечном платье, в точности как в рекламе Вольгарена, замедленно сгибалась в твисте, вяло двигала руками. Однако жених и не думал хвататься за поясицу, жених ложился перед ней почти на пол, дрыгал ногами и точно наизнанку выворачивался. Все хлопали вокруг, вдохновляли.

– Где книги? – спросили дома.

Артур ничего не ответил. Молча ушёл в ванную. Оставил жену и тещу с круглыми дуплами. С одинаковыми.

3.

После извлечения спирали мать повезла дочь домой, в Колпино. Точно после сложнейшей операции. После которой требовалась длительная реабилитация. Сказать по-русски, одыбаться надо доче, одыбаться.

– Ничего, доча, ничего, твой козёл перебьется без жены. А ты отдохнёшь в родном дому.

Но в «родном дому» ждало неожиданное – Фёдор Иванович сидел на стуле с вытянутыми, короткими руками. Практически висел. Даже не принял из рук жены и дочери привезённые продукты.

– Нати вам из-под кровати! – воскликнула Анна Ивановна. – Полюбуйтесь на него! Руки прижал. Космонавт висит. Космонавт с похмелья. Оставила одного только на сутки.

Обе смотрели. Не поддавался старый дурак в Колпино дрессировке. Так же, как и молодой в Питере. Как ни старайся, ни учи их, ни направляй.

– Ты где деньги взял? – уже наседала Анна Ивановна. – Опять у Колупаевых занял? Так я zenки-то Глашке повыцарапаю. Так и передай ей. И тебе, и тебе, старому дураку! – мазнула виноватого по макушке.

Фёдор Иванович терпел. Висел, не шевелился. Всё так же с куцыми руками на туловище. Беззащитный, покорный.

Дочь пожалела отца, втихаря сунула двухсотку. На пиво. Космонавт тут же из кухни исчез. Жена сделала вид, что ничего не заметила. Выкладывала продукты.

Обедали. Потом женщины пили чай, а мужчина, совсем осмелев, глотал пиво. Бутылочное.

– Курей кормил? – спросила жена.

– Кормил, – ответил муж и отсосал из бутылки.

– Индюшек, индюшат?

– Угу, – отключил губу муж на манер фэготиста.

– А борова? А Гришку?.. Забыл! Точно забыл!

Муж поблел. Сунул бутылку в карман и побежал во двор.

При приближении хозяина к деревянному хлеву Гришка начал внутри бить чечётку. Копытцами. Хозяин бегал возле хлевушка, готовил бурду. И Гришка каждый раз колотил. Сопровождал его как бы барабаном.

Припал наконец к корыту.

Хозяин смотрел. Закипала слеза. Жгуче чувствовал родство. Тоже, бедный, как с похмелья. Эх, все мы гришки. Слезы жгли. Всё мы, можно сказать, братья.

– Ну, чего стал. На вот, брось ему очистки.

Фёдор Иванович брал из чашки картофельные очистки и бросал:

– Ешь, Гришанька, ешь.

– Э-э, – смотрела на мужа жена. – Ноздри даже вывернуло пятаком. Как у Гришки твоего. У кореша.

Гришка молотил, но не забывал вскидывать пятак и хрюкать хозяину. В поддержку.

– Ешь, Гришанька, ешь, – всё давился пьяной слезой Фёдор Иванович. Вдруг рухнул на колени.

Обнял животное: – Все мы братья, Гришанька, все. Никому мы не нужны. Ы-ых!

Анна Ивановна уже звала:

– Доча, сюда! Совсем сбрендил отец. С Гришкой обнимается!

Прибежала дочь. Вдвоём подняли Фёдора Ивановича с колен, повели.

– Вот, пожалуйста! – говорила Анна Ивановна мотающейся голове. – Как говорится, с утра выпил – весь день свободный. Вот, пожалуйста! Полюбуйтесь.

Дочь жалела отца: зря ты, мама. Редко это у него. Правда ведь, папа?

– Ыы-xxx!

Яшумов набрал номер жены. Сегодня первый день её отпуска. Но ещё утром за завтраком дочь и мать вели себя странно. Обе надулись и не смотрели на него. Любимого мужа и не менее любимого зятя. Явно чего-то ждали. Только чего? Крепкого удара по столу кулаком или, на худой конец, салто-мортале назад. Вместе со стулом.

Набрал ещё раз. Всё так же – «абонент временно недоступен». Странно.

И так было полдня. Жена не отвечала. Что-то случилось. Не понимал Плоткина да и Лиду Зиновьеву с рукописями. В обед повезло – Акимов отправился на поклон к Яровому. Сразу и сам стал собираться. Дал указания редакторам («Ну, вы тут. Сами понимаете».) и помчался домой. И в метро, и на улице ещё набирал номер жены. Как отрезало!

Дома встретила тишина. В гостиной дымился столб солнца. На кровати в спальне была разбросана одежда. Один чемодан был раскрыт, второй – исчез. Да что же это такое! Где-то был записан телефон родителей Жанны. Нашёл листок с затёршейся абракадаброй. Набрал: «Анна Ивановна? Здравствуйте!» – «Вы ошиблись номером». И опять гудки.

Через полчаса был на Московском вокзале. Почти сразу поехал в Колпино.

Когда шёл к дому на Ижорской улице, зазудело в нагрудном кармане. «Да», ответил.

– Ты уже дома? А я в Колпино. У мамы с папой...

От возмущения не находил слов. Сбросил звонок! Опять зазудело: «Что у тебя с телефоном? Ты сам в порядке?»

Хотелось сказать бездушной недалёкой крестьянке, что так порядочные женщины не поступают. Не говоря уже о жёнах. Вместо этого сказал:

– Да, я в полном порядке.

Сказал, как обманутый, всё разом потерявший, уже безразличный ко всему американский герой в конце фильма. И отключил телефон. Пошёл назад на станцию.

Сидел в вокзальчике, ждал обратную электричку. Рядом с мальцом лет пяти и его матерью. В телевизоре под потолком показывали какой-то военный парад. То ли в Индии, то ли в Пакистане. Военные в чалмах, с маршальскими погонами (по меньшей мере!) проходили маршем, размахивая прямыми руками вперёд, как вёслами. Малыш в бейсболке слизывал мороженое, смотрел. Дал своё заключение: «Оборотни в погонах». И добавил: «Идут». Все рядом начали смеяться. Мать задёрнула мальчишку: «Кто тебя научил? Кто?»

Да никто, подумал Яшумов и погладил малыша. Из телесериалов запомнил маленький в бейсболке. Дитя своего времени. Как говорится, с младых ногтей. С молоком матери.

Малыш чем-то походил на Ярика Лиды Зиновьевой. А вот чем? Глаза, глаза такие же. Две чёрные большие черешни в белых блюдцах!

Наклонился:

– Как тебя зовут, маленький?

– Юра, – смело представился малый. И слизнул с мороженого.

Смотрите-ка, Юра! – радовался, делился со всеми своим открытием Яшумов.

4.

Жанна вернулась из Колпина неизвестной. Томной и какой-то загадочной. Как Шахерезада. Но русская, крупная. Шахерезада Степановна.

Сразу села ему на колени и обняла за шею. «Что такое!» – запрокинулся муж, не видя белого света. Но ночью – работал. На полную.

Медовый месяц начался. Второй. Правда, длился недолго. Всего лишь неделю. Жена словно что-то срочно навёрстывала, открыв в себе женское.

Потом всё резко изменилось – его стали отталкивать. И по ночам, и днём.

В первый раз она побледнела и побежала в туалет прямо из-за стола. Яшумов, слушая утробную рвоту, начал понимать. Неужели? Не верилось. И радовался, и холодел, пугался. Как же так случилось? В таком возрасте.

Она сказала ему, да, беременна. Сказала отвернувшись, зло. Точно готова была его убить. Изничтожить. И радость его как-то смазалась. Тревога только осталась, озабоченность.

Её стало тошнить постоянно. И, казалось, не от какой-то там еды, а от него, Яшумова. Стоило ему спросить: «Ну как ты? Не скучала?». Она тут же срывалась, бежала в туалет и падала там к унитазу.

«Ты не спишь, милая?» – спрашивал он ночью в спальне и клал руку ей на плечо. Или на грудь. Просто так. Но она сразу садилась на край кровати. Словно узнать: спит она или нет? И опять бежала. К своему унитазу. Как к врачу, по меньшей мере, как к санитару.

Удивляло это. Ведь не бледная немочь какая-нибудь, а крепкая женщина (*крепкая баба!* в конце концов), которой бы только рожать и рожать. Правда, возраст её. «Может быть, тебе валерьяны попить? Успокоиться?» – робко спрашивал он. «Ы-ааа!» – был ответ из туалета.

Приезжали, выходили из закулисья теща и тесть. Фёдор Иванович зятя сразу зауважал. Молодец, афганец! Сумел, заделал! Но Анну Ивановну, как мать, раздирало противоречие. Когда дочь

убегала в туалет, смотрела на Яшумова волчицей. Нашёптывала потом *бедной доче*: «Не допускай его до себя, не допускай. Ещё повредит чего-нибудь там». Когда дочь приходила в себя после тошноты и могла что-нибудь есть, смотрела на хлопочущего зятя уже с умилением. «Любит Жанку, негодник. Хочет ребёночка». Толкала под бок «свое», и громко говорила: «Ну, чего сидишь! Сгоняй в магазин. За фруктами. Видишь, доча ест уже апельсины». Так ить, это самое, делал движение пальцами супруг, означающее «мани-мани нету». Яшумов тут же давал деньги. «И вообще, Анна Ивановна, деньги вот в этой коробке. Берите, сколько нужно». Фёдор Иванович и Анна Ивановна сразу поджимали губы. Как кошка и кот, учуявшие сало.

Однако доча хоть и была в очередном отпуску, но из-за тошноты в магазины уже не ходила, ничего не готовила. Не могла. Стало быть, брать из коробки можно.

– Куда, куда полез? – била мужа по рукам Анна Ивановна. – Я тебе полезу, старый хрыч! – Как будто тот лез не за деньгами, а по меньшей мере к ней под подол. Охальник.

Новость о том, что Яшумов с «молодой женой» ждут ребёнка, распространилась в редакции быстро. Плоткин Григорий Аркадьевич раззвонил. Узнав её из уст самого счастливица. «Только это между нами, Григорий Аркадьевич. Ни к чему, чтобы об этом все знали». – «Конечно, конечно, Глеб Владимирович. Могила!».

Женщины редакторы на Главного стали посматривать со значением и даже с восторгом: Орёл! Мужчины – с немалым удивлением. Словно тот был всем известным импотентом. Лида Зиновьева почему-то опускала глаза, точно в чём-то провинилась. А сам звонок Плоткин вообще растерялся. Если уж такие старые пни, как Яшумов, могут делать детей – ему-то тогда куда? «Лида, как мы теперь? Ведь Ярику братик нужен. А?»

– Я вас поняла, – кричала к потолку Зиновьева. – Всё сделаю!

Что, Лида, что сделаешь?

– Отвали, – шипела любимая. – Не мешай работать.

Ну уж это! Плоткин в бессилии воздевал кулачки. В коридор убежал.

В курилке разом создавал дымящегося слона. С ушами, с хоботом. Слон страдал, монотонно качался. Прикованный за ногу в клетке. «Да что ж ты дымишь-то так опять, а?» Техничка Разуваева с ведром и лентяйкой. «Ну-ка давай отсюда! Убирать буду». Для пушного устрашения застучала лентяйкой в ведро.

Плоткин выбежал от грохота. Шёл и вздрагивал. Встречным людям быстро улыбался: «Она ненормальная, ненормальная. Не обращайтесь внимания».

У двери в редакцию стал, не в силах её открыть. Бежать было некуда.

– Григорий Аркадьевич, зайдите ко мне, – высунулся в коридор и позвал Яшумов.

– Бегу, Глеб Владимирович, бегу!..

Однако вечером в свой петербургский колодец уже не бежал – в туннеле раскачивался. Как пьяный заплетал ножками.

Ида Львовна смотрела на бледное лицо сына – опять накурился! Накладывала в тарелку кашу. Хотелось дать этой же ложкой по глупой кучерявой башке. Ну заикнись у меня ещё про балкон, только заикнись.

Но сын забыл про свою курёшку – сидел с остановленным взглядом. Ложки с кашей сами находили рот.

После ужина, как сомнамбула, как слепой наткнулся на свой стол в спальне. Сел. Нашупал автотурочку. Закусил колпачок, отвинтил. Бумага сама легла под перо. Стал писать:

...Вот, отпускаю руку на свободу, в люди. Писать утренние три страницы. Отпускаю вечером. Получается – вечерне-утренние три страницы. Мама смотрит телевизор. Никаких бабьих сплетен у неё, никаких ток-шоу. Выше этого она. Только серьёзное. Политические передачи, международные программы. Говорит сейчас министр иностранных дел. Похожий на смуглого лысоватого грифа. Любимое словцо у него – *зашкаливать*. Ни в одном интервью не забудет вставить его. «Накал страстей на переговорах зашкаливал». «Национализм у них прямо-таки зашкаливает». У Яшумова

среди всех ненавидимых им слов это «зашкаливает» – на первом месте. «Жара сегодня зашкаливает». «А, Григорий Аркадьевич?» Даже у Савостина откопал: «*Любовь Артура и Регины всегда зашкаливала*». «А, Григорий Аркадьевич?» Мол, как жить после такого? Действительно – как? Ничего не подозревает обо мне и Лиде. (Или – делает вид?) Прямо-таки радуется, когда увидит вместе за одним столом – удачное творческое содружество двух редакторов. Страшенного мужчинки и красивейшей женщины. И соединил их (создал) он, Яшумов. Эх, Глеб Владимирович, знали бы вы, в каком тупике всё у женщины и мужчины. Только и осталось – одно содружество. Почти ничего уже в постели «не зашкаливает». Ну раз, ну два в неделю. Женщину всё стало раздражать. Можно представить только, какими глазами смотрит она на несчастного надоевшего любовника. Сына своего, Ярика, к Иде Львовне не допускает. Под любым предлогом уводит. Хотя мальчишка рвётся, неподдельно любит, привязался к старухе. Да и в их дом когда придёшь – такая же история... Недавно собирали вместе воздушного змея. Чтобы побегать с ним вдоль канала. Из кухни вдруг послышался придушенный гневный голос женщины: «Не звони мне больше, слышишь! Никогда не звони! Я симку сменяю, в конце концов!» И дальше, что называется, тишина. И только Ярик опустил глаза и напрягся. Кто это звонил? Полярник папа? Лётчик-испытатель? Или просто любовник мамы? Как Яшумов недавно вспомнил из детства, по фамилии – Хахаль?..

5.

Папа Ярика не был полярником. Не был и лётчиком-испытателем. Ни живым, ни погибшим. Но имел отношение к авиации. Точнее, к авиастроению. Работал в закрытом конструкторском бюро. Познакомился с Зиновьевой Лидией точно так же, как знакомятся в сериалах: задел её шикарную попу. Своим мотоциклом. Возле перекрёстка. Сбежались, конечно, люди. Пришлось разруливать всё, успокаивать возмущённых. Потом взгромоздить женщину на заднее сидение и осторожно везти в травмпункт.

Только там разглядел пострадавшую – красавица. Просто красавица. Поспешно схватил холодную потную ручку: «Кирилл. Кирилл Кочумасов!» – «Лидя», – механически ответила женщина, всё морщась от ушиба. Чёрт бы тебя побрал, с твоим мотоциклом!

У конструктора была в Питере двухкомнатная квартира, доставшаяся от умершей тётки. В квартиру красавица сперва никак не хотела. Но привыкла. Стала приходить. Чай, вино. Скрипучий диван. Который всегда досаждал. «Сменяю, сменяю, милая! Обещаю! Не отвлекайся».

Но диван любовник никак не менял, и Зиновьева хотела уйти. Тогда Кочумасов пошёл на крайний шаг – встал на колено с дешёвеньким колечком в раскрытой коробочке. Лидия нахмурилась, но, подумав, согласилась. И зря.

Дальше началась фантасмагория. Оформление брака он сократил до минимума. В загсе были только его отец и подруга с работы Лиды – Зонтова. Вероника. Ни мать невесты, ни брат, из Вологды не успели. Испуганный старик отец делал всё, что говорил сын. Вставал со стула, садился, сдвигался к людям (для фотографии). Сын засунул его в такси, и тот уехал словно навсегда. Подругу Веронику он тоже сразу оттеснил, как только та расписалась в книге. И Зонтова осталась стоять на крыльце, смотреть, как он уводит свою невесту (теперь жену) к новой светлой жизни. Уводит пешочком. Никаких такси (только для отца, потому что старый), никаких буфетов и шампанских. Скромнее надо быть, дорогие друзья, скромнее.

Дальше было ещё круче. На свадьбу в кафе (не в ресторан!) он пригласил ровно пять человек. Двух непосредственных своих начальников с женами и холостячку Жданову из отдела кадров. Весь вечер постоянно уточнял у официантов названия вин (цены на них), бегал на кухню, уточнял блюда (дешёвые).

После всего возле кафе он крепко пожимал руки: «Приходите, приходите! Мы всегда будем рады!» Приглашённые, встраиваемые им, уводили глаза. Все были трезвы как собаки. Расходились в разные стороны поспешно. Точно после просмотра фильма-кошмара. Зиновьева (невеста! жена!) стояла и словно бы не верила. Думала, что это розыгрыш. Пародия на кого-то. Тем более что супруг потирал руки, подмигивал ей и хихикал.

У Лиды было своё жильё в Питере, но в ступоре каком-то, который всё не проходил, переехала к Кочумасову. Правда, скромно. Всего с одним чемоданом. (Как знала, что не задержится.)

Он считал каждую копейку. И не из-за нужды, а словно из спортивного азарта. На работу и с работы он гонял на велосипеде – и здоровье, и значительная экономия средств. Иногда приходилось на мотоцикле. Когда опаздывал. Но редко – бензин дорожает и дорожает, знаешь ли.

Он не курил, не пил. Поэтому друзей у него не было. Лысое темя его напоминало печальную поляну с погибшими муравьями. Зато глаза были деятельны, востры, всегда в работе. Он постоянно подсчитывал. И в уме, и на калькуляторе. Он помнил цены на все продукты, в каком магазине картошка дешевле, в каком дороже. Где сегодня скидки, а где только через неделю. Как в рекламе, он бегал за скидками впереди толпы. У него было несколько тетрадей, куда он записывал все расходы. По дням, по неделям, по месяцам. Он вычерчивал графики, диаграммы с взмывающими и падающими кривыми. Об электричестве, о газе и говорить нечего – с фонариком в зубах он пролезал к самому дальнему спрятавшемуся счётчику. И сразу начинал подсчитывать. Не вставая с коленей и не выплёвывая фонарика.

На вопрос, чем он занимается в конструкторском бюро, он сказал только: «Подписка». – «Что «подписка»?» – не поняла Лида. «О неразглашении», – добавил супруг. О своей зарплате – ни звука: двойная подписка. Зато точно знал, сколько получает жена. И деньги забирал сразу, едва та с зарплатой переступала порог. Забирал, чтобы выдавать ей потом по спискам из тетрадей. По раздалам в них: «на метро», «на обед», «на мороженое» (на одно, иногда, если сильная жара).

Где он прятал деньги – жена не знала. По ночам, проснувшись, видела на стене в большой комнате тень. Вроде бы от мужа. Тень ползала по стене, горбилась, делала что-то внизу руками. Конечно, это была патология. В чистом виде. Все гобсеки и плюшкины отдыхали.

За границей он был только раз. В Японии. Будучи студентом, по обмену. Но постоянно рассказывал новоиспечённой жене только об одном случае из всей поездки. Как в супермаркете наблюдал за японцем, который хотел купить куриную ножку, завернутую в прозрачный целлофан. Японец стоял над куриной ножкой с полчаса, наверное. А может, и больше. И так и не купил её! «А почему, Лида? – смеялся Кочумасов. И объяснял ошарашенной жене: – Японец может позволить себе куриную ножку только раз в месяц». И это всё говорилось уже серьёзно, мечтательно и даже с завистью: «Японцы умеют жить, Лида».

Брат Сергей, поговоривший с Кочумасовым только раз, сказал о нём сестре тихо и коротко: «Жмот». И сразу уехал назад. В Вологду. Бежал от Кочумасова. Даже чуть не увёз с собой сумку с продуктами, которую собрала для Лиды мать.

Зиновьева забеременела сразу, но Кочумасов не поверил в срок зачатия. Муравьи на его темени словно бы ожили, заползали. Стал говорить (со смехом, правда), что когда появится «киндрик» (его словцо) наверняка потребуются ДНК-экспертиза отцовства. Родителя, так сказать. Хи-хи-хи. Не забывал почти каждый день «про киндрика» и «неизвестного родителя», хих-хи-хи.

В конце концов Зиновьевой надоело это всё, собрала чемодан и ушла. Прожив со жмотом только полтора месяца. Развод судья тоже не задержала – детей у пары не было, мирить не надо.

Когда живот стал заметным, явно обозначился, несколько раз видела Кочумасова – тот выглядывал из-за деревьев и тут же прятался.

Точно в срок благополучно родила. Назвала сына Ярославом. Яриком. Фамилию записала свою. С отчеством получилось немного сложнее – отца своего, Петра Зиновьева, деда Ярика, Лида не знала. Тот оказался «полярником». Ещё до рождения маленькой Лиды завёл на какой-то льдине другую семью. Поэтому, немного подумав, отчество Ярику дала – *Сергеевич*. Ярослав Сергеевич.

Сразу же из Вологды приехала помогать мама. Учительница на пенсии. Всё в доме с маленьким сразу наладилось. Сама смогла выйти на работу. Продолжила всё в той же заштатной газетке. Корректором.

Несколько раз мать после прогулки с внуком возле дома рассказывала о мужчине явно сумасшедшего вида, который опять лез к Ярику. Совал ему, лежащему в коляске, конфетку. Одну и ту же будто. Замусоленную. Приговаривая при этом «а вот конфетка тебе, киндрик, а вот конфетка».

– Не твой ли это кратковременный муж? Может, попробуешь с ним. Всё же – отец?
Дочь хмурилась.

Мама, теперь уже покойная, не раз говорила потом дочери: «Не будет у тебя счастья, Лида. С твоим характером. Не будет. Очень ты гордая».

Лида и сама понимала это. Чувствовала к тому же, что обделена так называемым «женским счастьем». От природы. При близости с мужчиной (с любым, которые были) не чувствовала ничего. Ощущала себя машиной. Просто машиной для приёма и переработки какого-то там сырья. Холодная красота, – без жалости смотрела иногда на себя в большом зеркале. Вера Холодная 2000-х. Которая одеваться к тому же не умеет. Учителка. Учителка в школе. Которая пытается поправить сейчас на плече нелепый какой-то аксельбант.

И вот теперь – Плоткин. Полная противоположность Кочумасова. Как быть с ним? Ведь лучшего отца для Ярика не будет...

Глава седьмая

I.

Савостин совсем обнаглел – не слушал, о чём говорил Купцов. Начальник жужжал где-то там, в начале стола, вдалеке. Савостин торопливо писал в блокнот: «Артур включил фонарик и сразу увидел по стенам страшные морды клопов. “Непорядок”, подумал про себя Артур».

– Савостин!

Савостин сидел с оловянными глазами. Пшёнкина толкнула.

– Я весь внимание, Роман Васильевич!

Пшёнкина перевела дух: ну ты, Виталька, даёшь!

В обед она была типа наездница. Скакала на нём. На диване. Но всё равно не впечатлила. Нет. Надоела уже. Пора менять. Наездниц на переправе не меняют. Или меняют? Неважно.

– Ну куда, куда опять лезешь! Не видишь – думаю.

Схватил блокнот, который всегда под рукой. Даже в постели с Пшёнкиной: «Когда бомбы с неба стали рваться в гуще убегающих солдат, Макс открылся внутренний мир простых советских людей. “От гады!” – воскликнул Макс и дал длинную очередь по кружащим стервятникам-вертухам». Здорово! Точно! Ёмко!

Пшёнкина лежала и смотрела на компактный книжный шкаф под стеклом. Прямо напротив дивана. На шкаф только для одной книги. Под названием «Родина в огне». Три неполных ряда одинаковых книг осталось. Год назад было пять рядов. Ровно триста экземпляров. Тираж, изданный писателем за свой счёт. Кому и где рассказывал книги – неизвестно. На работе даже не пытается – боится. Хотя все знают о великом писателе.

– Виталик, а почему у тебя в шкафу нет других авторов? Других книг?

– Ещё чего. Голову-то забивать. У писателя голова должна быть чистой. У меня всё здесь. – Писатель постукал свой лоб указательным пальцем. Высокий лоб, надо сказать, постукал. Увеличенный ещё и торчащим петухом. Несколько растрёпанным, правда, сейчас.

Пшёнкина смотрела на писателя. И этот человек – с высшим образованием. Даже с двумя, как говорят. Оба диплома в переходе купил? Одновременно, разом? Или всё же с перерывом? В день, два?

Савостин добавил недовольно:

– Я в школе ещё читался... Пушкин, Фамусов, Печорин... Эта, как её?.. Арина Родионовна... Ну и другие. Сама знаешь... Давай поднимайся. Опаздываем.

Как всегда поели и быстро собрались.

Возле машины у канала сказал любовнице:

– Прикрой меня сегодня. Скажи Купцу (Купцову), я после обеда на Петроградскую. Он знает зачем. И Алёшина предупреди, а то ляпнет опять, как в прошлый раз...

Постоял, словно что-то забыв. Выхватил блокнот: «Голос Макса был необычен басовитый словно замогильный». Вот как надо писать! Убрал блокнот и ручку.

– Сегодня в Смольный сама. Ну, пока!

Прыгнул в свой Рендж Ровер и сразу помчался вдоль Мойки.

Пшёнкина осталась точно раздетая им. Мгновенно. Раздетая до трусов!

Однако парень обнаглел. Смотрела вслед, невольно прикрывая грудь.

– Вот. Мои исправления. И к Артуру, и к Максусу.

Савостин скромно, но с достоинством положил листочки из блокнота на стол двум редакторам.

– Я указал главы, где их вносить.

Плоткин и Зиновьева переглянулись. И сразу принялись читать исписанный листок. Исписанный, надо признать, чётким, каллиграфическим почерком. Почерком, каким сейчас уже, пожалуй, и не пишут. Отличник писал. Будущий школьный медалист.

Прочли. Первой полезла из-за стола Зиновьева. Словно с внезапным позывом в туалет. Однако Плоткин не растерялся – автора сразу похвалил:

– Отлично, Виталий Иванович, отлично. Обязательно внесём. Только требуется небольшая правка.

– Где? – нахмурился автор.

– Вот здесь, посмотрите. У вас – «Голос Макса был необычен басовитый словно замогильный». Написано хорошо, но без знаков препинания, без запятых. Понимаете?

– Так поставьте их. – Мол, какого хрена вы здесь сидите. Штаны и юбки протираете.

Хмурый автор уже шёл к двери. Петух его на голове преобразился в медный шлем. В пожарную непрошибаемую каску.

Вышел Савостин.

Плоткин тут же вскочил и с пафосом продекламировал: «О, сколько нам придурков чудных / Готовит просвещенья дух!» Редакторы с готовностью захохотали. И верстальщик Колобов. И художник Гербов. Который даже забыл про Яшумова возле своего стола. Забыл, что только что отдал ему рисунок на экспертизу. На оценку.

Яшумов стоял с рисунком, но смотрел на Плоткина. На хохмача. Плоткин несколько смутился. Покрутил неопределённо пальцами в воздухе. И уселся снова к монитору.

– Григорий Аркадьевич, зайдите ко мне.

У себя, сев за стол, устало спросил:

– И сколько можно, Григорий Аркадьевич?

(Смеяться, издеваться, унижать графомана.)

Григорий Плоткин сразу заходил возле стола:

– Да если не смеяться над его галиматьёй – с ума можно сойти. Глеб Владимирович. С ума! Понимаете! Это же защита для всех нас! Наша техника безопасности! Как вы не понимаете! – выкрикивал ведун.

Да, наверное, Плоткин в чём-то прав. С ума сойти от Савостина – можно. Однако...

– Однако одно дело, Григорий Аркадьевич, когда вся эта потеха устраивается вами приватно, только для Лидии Петровны, и совсем другое – когда вы вовлекаете в неё всю редакцию... Вы знаете, что я думаю о Савостине, о его писанине, но издеваться над больным человеком (а он просто болен, понимаете?), в конце концов, бесчеловечно. Странно, что вы этого не понимаете. Не осознаёте.

После разоблачительной этой тирады Яшумов на подчинённого взглянуть не мог. За поддержкой плаксиво смотрел на Салтыкова-Щедрина на стене. Который с бородой походил на иссохший серый водопад.

Плоткин на удивление молчал. Подрагивающим голосом заговорил:

– Хорошо, Глеб Владимирович. Я вас понял. Больше вы от меня ничего подобного о Савостине не услышите. – Голос его задрожал сильнее: – Ни приватно. Ни при всех. Извините меня.

Бедняга пошёл к двери пошатываясь, словно разучился ходить. Сейчас заплачет. Да что же это такое-то, на самом деле! Так недолго и врага себе нажать. И всё это – из-за графомана, который, как клоп, завёлся в редакции. Как клоп... со страшной мордой клопа, чёрт побери. Всего лишь из-за одного... засранца, как сказал бы тесть из Колпина!

2.

В нагретой баньке Фёдор Иванович смотрел на свою раздетую жену, сидящую на полке. Всё у жены давно обвисло. А ведь была когда-то ядрёной бабёнкой.

– Ну, чего уставился? – сказала жена, намыливая мочалку. – Парку лучше поддай.

«Уставился». «Парку лучше поддай». Черпанул ковшем и кинул воду на горячую каменку. Сам полез на полки. С колокольцами, уже будто с болтающейся прачей. Эх-х, куда их только закинуть?

– Ну-ка, подвинься давай. Расселся тут.

Распаренные, умиротворённые, с полотенцами на шеях, в доме пили чай. Пили по-деревенски, ностальгически, как пили родители – удерживая блюдца на пальцах. Доча ухаживала за отцом и матерью. Наливала свежей заварки, кипятку. Пододвигала пироги, мёд. С тяжёлым животом передвигалась осторожной утицей. Благодать, умильно смотрели родители. Скоро наследник будет. Или маленькая наследница.

По воскресеньям приезжал Яшумов. Едва только появлялся на пороге с пакетами и сумками, Федор Иванович сразу говорил жене. Громким шёпотом: «Жана! Зять приехал! Мечи скорей на стол!» С деланным испугом говорил. Чтобы приехавший услышал. Мол, стели ковры, труби встречу! Жана!

Яшумов улыбался. Крепко жал руку тестю. Обнимал Анну Ивановну.

– Ну, где наша... – чуть не говорил «больная», но поправлялся: – ...наша дама в положении?

Так бывало всегда, в каждый приезд. И сегодня его встретили с теми же словами и повели к жене.

Яшумов сразу потащил на штанине Зигмунда, но хозяева куда-то задвинули вредного кобелька. Быстренько завели дорогого гостя (или всё же зятя?) в комнату бабушки и дедушки и убежали хлопотать. «Метать» на стол.

Муж припал к беременной жене на кровати и сквозь набежавшие слёзы опять пытался разглядеть лебедя и лебёдушку на коврике. Однако жена отстраняла его от себя и сама отстранялась – в телевизор, оказывается, шло сегодня новенькое.

Показывали бои без правил. Перед схваткой два бойца с буграми мускулов встали близко друг к другу. Лицом к лицу. С явной угрозой. Два урода с лобиками и челюстями неандертальцев. Судья развёл их и рубанул посередине ринга рукой. И началось. И пошли пинать, и пошли бить об пол и ломать друг друга. Нет, лысый Макс с душевным басом тут, пожалуй, не потянул бы. Не-ет. Тут бульон покрепче.

Яшумов старался не смотреть на летающие тела, на орущих болельщиков. Здесь, в спальне дедушки и бабушки, он был, собственно, лишним. А ведь не виделись целую неделю.

– Тебе не вредно такие передачи смотреть? Для ребёнка не вредно?

– Не смейся. Да и просто так я смотрю. От нечего делать.

Беременная выключила телевизор.

Потом, конечно, был обед в большой кухне-столовой. Ну и уроки народного языка для Яшумова. Уроки фольклора. Тесть разоблачал соседа (вообще-то своего собутыльника) и его брата (тоже не дурака выпить):

– Вот, два брата они. А ни за что не скажешь. Большая разница между ними. Это всё равно что кот-бомж против кота домашнего. Один – дикой, рыскающий, вечно голодный, а другой – навек сытый, отъевшийся, вылизывающий свои причиндалы...

Анна Ивановна не отставала от мужа:

– А жёны у них, что Клавка, что Манька – походячие. Позови в гости – сразу прибегут. А самим чтоб позвать – никогда-а. Ну как же: проставляться надо, всё готовить, всё на стол. Да. И всё припрасиваются, главное, и всё припрасиваются в гости.

О-очень интересно, ел и мотал на ус Яшумов. Невольно чувствовал себя тоже «походячим». Даже «побегучим». Как Клавка и Манька. Вот же: тоже хозяева всегда «проставляются» гостю. И вино, и водка, и закуска – всё на столе! Интересно, к каким котам они относят его, Яшумова. Наверное, всё же к коту сытому, вальяжному, который только и делает, что вылизывает свои... тестикулы, если всё же сказать культурно.

Беременная дочь, казалось, родителей не слышала. Сидела как-то крупно и широко. Как нередко сидят беременные. Сегодня её не тошнило, и она основательно ела. Обглаживала большую индюшачью ножку. «На меня нападает жор, – иногда честно говорила она Яшумову. – Когда нет блевоты». От народного слова «блевота» – Яшумов чуть не терял сознание. Но удерживался на ногах. Не падал. Сохранял достоинство.

После обеда *молодые* вернулись в комнату бабушки и дедушки, чтобы отдохнуть.

Беременная лежала на железной кровати с пампушками, дремала. Муж сидел рядом и держал руку на её высоком животе, напоминая лечащего врача с фонендоскопом. Глаза врача были мечтательными, сентиментальными, далёкими. Видели розового младенчика в ванночке, видели распашонки, ползунки, детскую колясочку в цветочках...

Однако через неделю, придя с работы, Яшумов услышал о себе такие слова:

– ...Мама, да какие коляски! Какие распашонки! Он же постоянно переводит деньги чужим, увечным детям! Эсэмэски! Постоянно! Особенно девочке с голубыми глазами. На её лечение. 300, 500 и даже ТЫСЯЧУ в один раз. Постоянно, мама. Как увидит в ящике очередных попрошаек, тайком уходит с мобилой в спальню и переводит. Я просмотрела все его эсэмэски, мама!

Яшумов затосковал. Опять со снятым ботинком в руке. Так тоскует вор-карманник, когда его схватят за руку.

Мать, видимо, не поверила.

– Да точно, мама, точно! – продолжала дочь. – Он не только плачет над издохшими котами, мама!

Анна Ивановна наверняка была поражена. Смотри-ка, и денег не жалко. А ещё образованный. Сама, наконец, вступила:

– А я тебе говорила, доча, сразу говорила: забирай у него всё. Все деньги, какие принесёт в дом. Все, до копейки. И выдавай потом понемножку. На обед там, на метро. И хватит с него.

Дочь, видимо, смотрела на мать с насмешкой: в какое время живёшь, мама?

– А что, а что! – не унималась та. – Да отца нашего возьми. Да дай я ему волю – где бы наши денежки были? А? Ответь. В какой пивной, у каких дружков?

Дочь не могла ответить.

– То-то, – поставила точку Анна Ивановна.

После услышанного помимо воли провинившийся с ботинком в руке искал для себя оправданий. Больные дети в телевизоре – это же величайший позор зажавшихся властей. Величайший. Каких только детишек не видишь теперь на руках у измученных матерей. С тяжёлыми патологиями сердца, желудка, даже мочевого пузыря. Детей, так и не научившихся ходить на слабых ножках. С тонкими шейками. Когда головка даже не держится. Без боли на это же нельзя смотреть! Когда видел такое, сразу сжимало горло, подступали слёзы. Тут же хватал мобильник и переводил деньги на номер счёта, всегда указанного в конце ролика.

Но так бывало, когда смотрел телевизор один. При жене, и уж тем более при её родителях, делать этого не мог. Потихоньку совал телефон в карман и уходил в спальню. И уже там, оглядываясь на оставленную открытую дверь, торопливо давил в мобильнике – переводил по 300 рублей, по 500 и даже по ТЫСЯЧЕ (один раз, девочке с очень голубыми глазами, которой уже сделали одну операцию на сердце, но нужна была ещё одна, более дорогая).

И вот теперь услышал наконец, что давно разоблачён, что виноват будет теперь до конца жизни.

На этот раз для глухих не стал хлопать дверью. Хватит, в конце концов. Надоело. Продолжал раздеваться. Снял, повесил мокрый плащ.

– Ты уже дома? А мы не слышали.

В дверях – жена. И её мать сбоку выглядывает. Как будто дочку направляет.

– Добрый вечер, – сказал Яшумов и прошёл в коридор, а потом к себе в кабинет. В кабинет отца.

– Ужин в кухне на столе, – догнали слова.

Сидел за столом, слушал, как в гостиной мелко смеялась, заходила Анна Ивановна: «Ой, не могу! Ой, животики надорвёшь!» В плазменном шёл, конечно, Юмор. С косоротой ведущей и всем её выводком замечательных юмористов. «Ой, животики надорвёшь!» – не унималась Анна Ивановна.

Дочь, как всегда, сидела каменно – изучала природу юмора.

Недавно горячо спорили на эту тему с Плоткиным. Дело было в кафе. Под таким же плазменным телевизором, в котором кривлялась всё та же компания юмористов с известной ведущей. Плоткин прямо-таки с пеной у рта доказывал:

– ...Да поймите, Глеб Владимирович! Восприятие юмора у всех людей разное! Один смеётся от пальца указательного, другому нужно этакое интеллектуальное. Тонкое, скрытное. Даже разные народы смешное воспринимают по-разному. Юмор русский, французский. Пресловутый английский...

Плоткин замер с вилкой в руке, забыв про еду.

– ...Например, такое может быть объявление в английской газете: «Женское общество “Благопристойность” борется... за... за введение трусов для лошадей. (А?) Леди энд джентльмены, присоединяйтесь к нам!»

Яшумов чуть не упал на тарелку с бифштексом. А хохмач удивлялся своему экспромту:

– А? Где ещё такое могут сказать или написать? Только в Англии.

Главред отложил нож и вилку, вытирал глаза. Не-ет, это не твоё. Не ты придумал. Просто заимствовал (украл) у кого-то.

Ведун всё не мог отойти от экспромта, всё сдвигал брови. Переживал за тётушек из Общества. И за лошадей. Что те до сих пор без трусов.

До конца работы Яшумов несколько раз вспомнил плоткинскую шутку. И всякий раз останавливал в рукописи карандаш и улыбался. Так у кого же ты всё-таки содрал эту фразу?

Вечером после ужина набрал-таки в поисковике ноутбука про тётушек и лошадей. Чтобы узнать, в конце концов, Плоткина эта шутка или нет. Набрал почти дословно...

Нет ничего о трусах! Нигде! Даже близко к фразе Плоткина.

Да-а. Талантливый парень. Талантливейший кучерявый Пушкин!

Но почему у такого свой роман никак не идёт? У такого одарённого?..

А из гостиной всё прилетало:

– Жанка, слыхала? «Она ему все мозги *проконопатила*»! Ой, не могу, животики надорву!

3.

Вместо *утренних страниц* Плоткин писал в шесть утра реальную главу. Писал на кухне:

Редактор Яшумкин открыл калитку сбоку ворот частного дома и вошёл во двор. Осмотрелся. Двор был пуст. Редактировать было некого. «Не туда, что ли, я?» – подумал Яшумкин с намерением вернуться назад, на сельскую улицу.

Решил всё же немного задержаться. Приятная сельская картина перед ним. Какой в городе не увидишь: раннее солнце пробивает туман, огород перед забором отпаривает. Кот рыскает по сырой земле. Брезгливо, хаотично. Бестолковое животное, подумал редактор Яшумкин, смурное. Не знающее, где будет в следующий момент.

Кот задрал головёнку, смотрит на ствол дерева. То ли чтоб взлететь наверх, то ли из просто любопытства. Впрочем, любопытство у таких только в рекламе кошачьего корма.

Принялся скрести ствол. Точить когти. Надоело. Замер. Непонятное животное, снова подумал Яшумкин. Совершенно. Клубок шерсти. Клубок космического хаоса. Отредактировать кота, пожалуй, не получится. Избалованное животное, глупое.

Вот пошёл он наконец. Вперевалку. Вроде бы к воротам. Сунул башку к решетке вниз. Лай собаки через дорогу вынюхивает. Вдруг с царапаньем взлетел на ворота. Прямо по железу. Пошёл по ребру ворот канатоходцем. Сиганул на край крыши. И смотрит на Яшумкина угольными глазами. То ли сигануть на него хочет, чтобы перещарапать всего. То ли немо вопит, чтоб редактор снял его оттуда и отредактировал. Мяу-у! Ммяу-уу!..

Редактор Яшумкин попятился, спиной вывалился за ворота.

– Ты кого потерял, мил человек?

Через дорогу старик с утренней метлой. Улыбается. Эдакий святочный дедушка в рубашке и лаптях. То бишь в калошах.

Редактор Яшумкин смутился:

– Просто так я, дедушка. Ошибся адресом. Извините меня.

Быстро пошёл вдоль высокого забора. Ставшего вдруг низеньким, игрушечным. Длинноногий Гулливер в плаще, в шляпе, с длинными волосами и носом картошкой. Склонился к зубчикам забора, тянулся, трогал рукой, точно хотел пересчитать. И... и проснулся...

– Ты опять спозаранку накурился! В кухню не войдётся!

Мама. Ида Львовна. Командир производства. С седыми космами после сна. В измятой ночной рубашке.

– Сколько говорить! Поешь сначала, поешь! А потом за табак свой хватайся. – Ида Львовна переставляла кастрюльку и сковородку на плите: – И ещё, главное, мятную конфетку разжевал. Мол, мать не учует табака.

Ну всё. Теперь не попишешь. Приходится собирать всё со стола и уматывать в комнату.

С сигаретами покрался на балкон. Как всё тот же кот деревенский. Из кухни сразу застучали ложкой в пустой чайник. Сквозь стену видит! Пришлось вернуться за стол, к рукописи. Ну и мама! Прямо сторож с колотушкой.

Ели чёртову кашу. Перловую. Дескать, полезную. Откуда-то вычитала. Ложка в тарелке стоит. В горло каша не лезет. Ладно, хоть сегодня диетолог молчит. На спящем режиме.

Не тут-то было!

– Ты когда бросишь курить? А? Ведь всю ночь опять б́ухал. (Б́ухал – это не бухал. Это значит кашлял. В переводе.) Как старикан в железную трубу! (Оригинальное её выражение). Мне что, на рентген тебя опять тащить? Задохлик несчастный? (Тоже её. Оригинальное.)

Пришлось растянуть слова на версту:

– Ну уж это ты, мама, зря-я. – И добавить с оптимизмом: – Я в порядке. Я в полном порядке. – Самодовольный артист дублирует в американском фильме героя. Очень себя ценит.

Во дворе закурил на пустой детской площадке. Среди слоников и белочек. Дымом окутался. Краем глаза видел на балконе кадку с фикусом. В белом фартуке.

Пусть смотрит, пусть. Ладно хоть молчит. Соседей стесняется. Но вечером – наверстаёт.

– Пока, мама!

На работе прикоснулся щекой к любимой щеке. Всего на миг. «Привет, милая». Однако женщина отшатнулась, как от чёрта. И на всю редакцию прокричала:

– Здравствуйте, Григорий Аркадьевич!

И тут же процедила. В сторону от пьесы: «Какого чёрта пугаешь!»

Да-а. Действительно не любит? Или табак отпугивает?

– Доброе утро, господа!

Тут любовь всеобщая. Сразу окружили. Загадели. Мужчины руку жмут, женщины чуть ли не оглаживают. Хохмы все ждут. Очередной. Для утреннего разогрева.

Извольте. Будет вам хохма.

– Господа, объявление в английской газете: «Женское общество “Благопристойность” борется за введение трусов для лошадей». Господа!

Все, конечно, упали. Мужчины затрубили в потолок, женщины стали гнуться, пристукивать ногами. Даже красивая мумия с оскорбленной щекой начала фыркать. Что тебе классная дама, подавляющая в себе непристойный смех.

– Григорий Аркадьевич! Зайдите, пожалуйста.

Голова из приоткрывшейся двери. С длинным сеном волос. Всегда на боевом посту.

– Пока, мои хорошие. Не поминайте лихом... – А голове – лучезарнейше: – Лечу, Глеб Владимирович! (Знала бы голова, что о ней сочиняют некоторые по утрам.)

Главред сидел, повернувшись к спасительной галерее на стене. К портретной. На этот раз к Чехову Антону Павловичу. Антон Павлович с насмешливым прищуром смотрел. Был он в чеховском своём пенсне со шнурком. В портрете высвеченный художником, как небожитель в иконе.

– Григорий Аркадьевич, сегодня 28-е, лето идёт к концу, а Савостин у вас с Зиновьевой не двигается. На какой стадии работа над ним? – Карандашик стучал по стеклу стола.

«Макаркин смотрел на Яшумкина и думал: какой же ты скучный, дядя. И нос твой картошка глупый и скучный. И сам ты давно надоед».

– Григорий Аркадьевич, вы слышите меня?

«Стеклянные глаза Макаркина вернулись к действительности»:

– Слышу, слышу, Глеб Владимирович! Извините, задумался.

Дальше опять на пальцах пришлось всё объяснять, втолковывать.

«Но Яшумкин всё равно сидел недовольный. Он только что получил нагоняй от Акимкина. А тот, как известно, шутить не любит. Так что идите и работайте, товарищ Макаркин».

– Иду, иду, Глеб Владимирович. И Зинкину подключу.

– Какую Зинкину?

– Шучу, Глеб Владимирович. Уже убегаю.

«Надменная Зинкина даже не повернула головы. На прибрег Макаркина. Спросила только недовольно: “Что он сказал?”».

– Да так. Очередной втык от Акимова получил. Перекинул на нас. Не обращай внимания.

С новой надеждой прильнул возле экрана к милой щеке. Как *к пэрсике*, сказал бы кавказец.

– На чём мы вчера остановились?

4.

Зиновьева быстро прибиралась на столе, торопилась на обед. Приехал из Вологды брат Сергей. В свой отпуск. Надёжный буфер от Плоткина. Хотя бы на неделю. И Ярик теперь под присмотром.

– Когда познакомишь с братишкой? – Невинный вопрос от любовника. И, главное, заглядыва-ет сбоку, помогает прибираться.

– Я на обед, Григорий Аркадьевич!

Опять на всю редакцию. И, бросив кучерявого, уже торопилась к выходу. Убить подлую мало! Убить!

Вернулась. Будто забыла что-то на столе. Снова прибирала бумажки. Не прибрала, оказывается. Тихо сказала: «Приходи сегодня в семь».

– Я пошла, Григорий Аркадьевич!

Видела, что все ухмыляются, все давно всё знают, но ничего с собой поделаться не могла. Кричала и кричала каждый раз на всю редакцию. Это была даже не защита, – какое-то помешательство.

– Добрый день, Анатолий Трофимович! – прокричали Акимову в коридоре.

Акимов отпрянул к стене. Что это с ней?

– Я на обед! – обернулись и добавили ему ещё громче.

Дома дядя и племянник играли в нарды. Зиновьева не любила эту игру. Всегда поражалась, как взрослый, начитанный человек (Сергей), человек с высшим образованием смог пристраститься к этой восточной пустой игре. Ведь каждый раз привозит гремучую коробку с собой. Она не влезает у него в рюкзак, она торчит из рюкзака на километр. Но вот он – улыбается в дверях, и чёртова коробка, конечно же, из-за плеча. И ведь не шахматы, не даже шашки – нарды! Племянника зачем-то научил. «Ура, дядя Сережа приехал, – бросается тот всегда к игроку в дверях. – И нарды привёз!»

На кухне Зиновьева не могла ни к чему привязать руки. Вернулась в комнату:

– Складывайте свою бандуру. В маркет ходите. Майонез мне нужен. Зелёный горошек. Варёная колбаса. Полкило. Вечером гости будут. Вернее – гость. Один.

Маленький игрок вскричал:

– Ура, дядя Гриша придёт!

Большой игрок торопливо складывал игру: что ещё за «дядя Гриша». Однако – сестра.

– Вина хорошего купи. Бутылку. – Подумала: – Ну и водки, что ли. Гость любит шандарахнуть. Но только фунфырик. Хватит ему. Чтобы мельницу запустить.

Сергей был старше сестры всего на год. Знал о ней всё: выросли вместе. А тут вдруг – «гость» у Лидки появился. Который к тому же любит шандарахнуть. Чтобы мельницу запустить.

– Ну, племян – готов?

– Готов, дядя Серёжа!

– Тогда погнали.

Дядя и племянник направились к двери. И сумку под продукты не забыли.

– Деньги возьми, Сергей! В серванте.

– Ещё чего! – хлопнула дверь.

Вечером Сергей Петрович Зиновьев, начальник планового отдела Вологодского комбината железобетонных конструкций, встречал гостя (любownika) сестры. Он был искренне рад, что у неё наконец-то кто-то появился.

В прихожей перед Сергеем Петровичем стоял невзрачный и словно бы застенчивый мужичонка с кучерявой головой. Который ухватился за протянутую руку Сергея Петровича как за спасение. Который тряс её и беспрерывно говорил, как спасённый. И смеялся. Без всякого фунфырика. К нему присоединился прыгающий Ярик, и два звонка сразу укатились в комнату. Оставив Сергея Петровича в некотором недоумении: однако застенчивый.

Сели за накрытый стол. Ярик забыл о приехавшем дяде – с обожанием смотрел на кучерявого. Лепился к нему. А тот – тархтел. Не умолкая. И шутки сыпались, и смех, и вопросы к Зиновьеву: кто вы такой, Сергей Петрович, да с чем вас можно кушать.

Зиновьев хорошо закусывал. Но отстранял лезущий графинчик, пил только вино. С улыбкой посматривал на сестру и её кипящего хахаля. Надо же, называет его на вы и по имени отчеству. Впрочем, это так и должно у неё быть. Как говаривала незабвенная мама – Лидка наша красивая, но навек мешком пуганая: как бы чего не сказали, как бы чего не подумали.

Плоткин не умолкал. Умудрялся следить за будущим шурином. Брат был очень похож на красавицу сестру. Правда, нос – правильной красивой формы – был мелковат для большого лица. Словно взял его брат у сестры на время, напрокат. Зато глаза такие же: темные, бархатные. И волосы густой шапкой, как у сестры.

Плоткин, хитрый, подпускал:

– Вы большой начальник, Сергей Петрович. На вас всё производство держится. Весь ЖБЗ.

Зиновьев солидно надувался, но слова растягивал:

– Да не-ет, всего лишь в плановом я. Бумажки перебираю.

Однако пыжился не долго. Вдруг скинул маску и весело сказал:

– А не сыграть ли нам в нарды, Григорий Аркадьевич. А? – Сказал как совсем другой человек.
– Знаете эту игру?

Плоткин отпал. Повернулся к Лиде. Как так, Лида? Начальник всего ЖБЗе – и нарды. Возможен ли такое? Я, может быть, ослышался?

Зиновьева не выдержала, рассмеялась:

– Ладно уж. Сыграйте. Пока я чай буду собирать.

Двое взрослых и мальчишка – сразу к дивану. И вот уже встряхивают коробку, тархтят кубиками, как небывалыми драгоценностями, и раскрывают её, и начинают кидать кубики. И про всё на свете забыли! Оказывается, и Плоткин тоже большой мастер в этой дурацкой игре. Сразу учить начал. Останавливать, доказывать.

Лида Зиновьева улыбалась, уносила всё со стола, чтобы затем накрыть чай. С тортом. С домашним вишнёвым вареньем, которое привёз с собой Сергей.

Но игроки (кроме маленького) ещё до чая вдруг полезли в кухню курить. Сергей распоряжался. Как у себя дома. Раз балкона нет, а на лестнице нельзя – потерпишь, Лида.

Задымили, не обращая внимания на хозяйку. С рукой в форточке Зиновьев походил на баскетболиста-дылду, забывшего руку в корзине, а коротышка Плоткин с дымом – на его беспокойного наставника, тренера. Лидия Петровна не выдержала, захлопнула их. Какой пример Ярику!

– Куда лезешь? Там никотиновая баня! Повеситься можно!

Мальчишка гыгыкал: обманываешь, мама. Там никотиновый рай!

В воскресенье в парке всё на том же на Крестовском Лидия Петровна смотрела на двух мужчин, которые, словно соревнуясь в удали перед ней, взмывали и падали на русских горках. Ярик дёргал за руку: «Во дают, мама! Вот крутые!»

Зажатые в тисках, Зиновьев и Плоткин вылетали наверх, солнце баловалось наверху, не находило себе места, и друзья с криками вновь устремлялись вниз.

Выдернутый Сергеем из механизма, Плоткин пляснул на твердом, чуть не упав, но устоял.

– Лидия Петровна, невероятно! невероятно! – восклицал он. – В следующий раз непременно с вами покричим!

Пошли дальше. Однако Плоткин вошёл во вкус. Решил добить Зиновьеву и остальных.

Когда его привязывали к катапульте, громко спросил у Сергея Петровича, к какой партии тот принадлежит.

– В ЛДПР я вообще-то, – удивился тот. – А что?

– А меня, если погибну... прошу считать коммунистом!

Закрыв глаза и взлетел в небо.

Его отвязывали на земле. Совали нашатырный спирт. Космонавт мотал головой. Нужна была реабилитация.

– Ярик, за мной!

И как уже было здесь, космонавт плавно плавал с мальчишкой по кругу в неопасной лодке. Шла реабилитация. К брату и сестре выплывали две рожицы с улыбками до ушей.

Сестра трудно спросила: «Как он тебе?» Вынуждена была спросить. Брат мгновенно понял: «Мировой мужик, Лида! А хохмач какой! И Ярика любит. Даже не раздумывай. О свадьбе не забудь позвонить». «О свадьбе». «Даже не раздумывай». А брат уже встречал двух отважных:

– Вот вам по мороженому, корешки. За храбрость!

Ещё ходили по парку. Стреляли по очереди в тире. Кроме Зиновьевой. Катали Ярика на пони. Тут работала сама мать, шла рядом, оберегала. Мужчины в это время глотали табак в кустах. Выглядывали оттуда, как диверсанты.

В кафе, куда, проголодавшись, зашли, всё было так, как и должно быть в кафе в парке – яркие рисованные звёзды на чёрном потолке, барменские понты с летающими над стойкой бутылками, тихая приятная музыка, под которую томно пережёвывались со своими дамами кавалеры.

После вкусного долгого обеда, где был и мясной салат, и рыбный, и овощной; и вкуснейшая пицца, когда большущий треугольник подносишь ко рту на пяти пальцах, как часть от целой клумбы на столе; и бутылка хорошего вина, и тархун для Ярика, и мороженое шариками – после всего

этого пиршества Плоткин и Зиновьев спорили, кто должен рассчитаться. («Я заплачу» – «Нет, я! нет, я!») Начальник ЖБЗ не торопясь разваливал надёжный верный бумажник, набитый купюрами. Плоткин по всем карманам – шарил. Выдёргивал бумажки. Официант индифферентно стоял. Напоминая клюшку от гольфа. Шустрый Плоткин победил – насовал индифферентному сполна.

Когда ехали домой, Ярик в мотающемся вагоне привалился к маме и спал, обнятый маминой рукой.

Разбуженный, потягивался:

– Это уже наша остановка? Да?

Всю неделю, пока брат гостил, Плоткин каждый вечер неизменно возникал на пороге. Зиновьева, встречая, помимо воли недовольно опускала глаза. Никакой буфер не получался. Более того – Плоткин душевно тряс руку Буферу, тот ему тоже. Потом, точно талисман, оба теребили голову Ярика и, не теряя ни минуты, сразу же усаживались к нардам. И Ярик, конечно, вместе с ними.

Зиновьева садилась за стол. Забытая игроками, смотрела. Хорошо, что с приездом брата престала хотя бы летать женская одежда в спальне. Но ведь это ненадолго. Сергей скоро уедет. Бродила у женщины утопическая мысль. Мысль-утопия: хорошо бы создать нечто вроде шведской семьи. Женщина, двое мужчин и мальчишка. Но абсолютно без секса между взрослыми. Абсолютно. Только душевное, светлое...

В ужасе похолодела: да ведь вторым мужчиной в этой шведской семье будет брат, родной брат женщины!.. Вот додумалась так додумалась кощунница.

– Мама, ты чего? – затряс плечо Ярик. И два шведа бросили игру и вылупились.

Справилась с собой:

– Ничего, всё хорошо. – Приказала: – Руки мыть и ужинать.

В субботу брат уезжал. И отпуск заканчивался, и сожительница ждала. С которой он то сходил-ся, то расходился.

Плоткин не мог поехать со всеми на вокзал, не мог бросить работу, зато для Зиновьевой на всю редакцию прокричал. Громче её самой:

– Лидия Петровна! Сегодня уезжает ваш родной брат, который у вас гостил. Уезжает к себе домой, в Вологду. Вы можете поехать, проводить его. А мы вас прикроем! Верно, господа?

Редакторы одобряюще загалдели: прикроем, Лида, прикроем, не сомневайтесь!

На московском вокзале, в начале платформы, втроем ждали поезд на Вологду. Низко висящий современный потолок походил на аллигатора в шипах. Ярик посматривал, жался к Сергею. Тот, приобняв его, как бы успокаивал. Из рюкзака дяди, конечно же, торчали нарды.

– В общем, Лида, моё мнение о нём ты знаешь. Не раздумывай, соглашайся. Как решишься, позвони, пожалуйста. Мы с Галей приедем. Я с работы отпрошусь.

– Когда, когда приедете? Дядя Серёжа? – сразу забыл про аллигатора Ярик.

Дядя наклонился к племяннику и вместе с ним посмотрел на Зиновьеву:

– Это от мамы твоей зависит.

А? Мама? Мама почему-то отвернулась, закрутила головой.

Показался поезд. Неторопливо полз, приближался.

Зиновьев быстро снял рюкзак и выдернул нарды. Ярику протянул:

– Держи, племяш! Будешь играть с дядей Гришей!

– А вы? – Мол, как же без них останетесь? Дядя Серёжа? Ведь инкрустированные, ручной работы?

– Ничего, я другие закажу. Не хуже будут... Ну, родные мои... – Обнял сестру и племянника вместе с коробкой.

Видели потом, как он протискивался в низком, словно бы игрушечном вагоне, цепляясь рюкзаком за что попало.

Уселся наконец. Казалось, разлётся у самого пола. Рукой помахал, поехал.

Шли за поездом, тоже махали.

Потом мать повернулась к сыну:

– Ну, и что теперь делать мне с коробкой твоей?

– А ничего не сделаешь теперь, – ответил храбрый сын. – Подарок.

5.

В обед раздетая Пшёнкина лежала на диване в ногах у Витальки, свернувшись клубком. Подрёмывала. Савостин лежал на животе, но умудрялся писать. Удерживал себя на локтях: «Удар ноги в пах, и отсечённая голова. И дальше Артур двигался бесшумно, на четвереньках словно пантера. Артур впереди заметил часового. Хотя он стоял за деревом, Артур слышал его бурное дыхание алкоголика. “Счас я тебя, гад, достану” – прошептал Артур и покачал в руке клинок убийства. “Н-на, гад!”»

– Ну чего ты пинаешься, Виталю, – дёрнулась сзади Пшёнкина. – Поспать не даёшь.

Вот ещё зараза. Сбила всё. Ещё раз лягнул. Нарочно. Без Артура.

– Ну, Виталю.

– А ты не разлёживайся. Собирайся. Муж дома ждёт, ха-ха-ха!

Смеялся. *Как Артур с превосходством.*

Пшёнкину Вальку сразу смело с тахты. Злющая, как Регина, завывала в ванную. Не любит, когда мужа упоминают. Хотя видел его один только раз. На Невском. Везла в коляске. Ноги у доходяги мужа как плети. Пшёнкина остановила коляску. Хотела познакомиться, стерва. Ещё чего! Мимо прошёл. После этого злитесь. Особенно когда скажешь «собирайся, муж дома ждёт, хах-хах-хах!».

Валентина Пшёнкина зло шоркала себя мочалкой в душевой кабине. Мерзавец! Ничтожество! Он, видите ли, писатель. С большой буквы. Са-вос-тин. Вы слышали о таком гениальном? Постоянно издевается над бедным Володей. Знал бы тот, с кем связалась его подлая потаскуха. Слёзы жгли, выедали глаза. Зажимала рот ладошкой, чтобы гад в комнате не услышал плача.

Савостин прислушался. Что-то долго подмывает, хе-хе-хе. Хорошо поймел шалаву. Довольна. Вот, явилась наконец. В полотенце завернутая. В кресле развернулась. Грудей почти нет. Хотя сама в теле. Стала хватать свои тряпки, прикрывать ими грудь, одеваться. Молчит, не смотрит, обиделась. Сейчас придёт домой: «А я у подружки была. Не скучал?» Как же, «у подружки», посмотрит доходяга черныбыльский из коляски. У «подружки». Ага. У которой прибор всегда в порядке. Ха-ха-ха!

Во-во, пошла. Опять как Регина. Вихляясь. Хлопнула дверью. Ну и хрен с тобой. Всё равно менять буду. Надоела.

Савостин из угла дивана дёрнул к себе ноутбук. Удобно уселся, раскрыл. Прошёл в Свой раздел в библиотеке Горшкова. Посмотреть, сколько посетили за сутки «Войну Артура». Не поверил глазам своим – всего двое. Два читателя! За сутки! Вот козлы так козлы-ы.

Тут же начал открывать и закрывать «Войну Артура». Сам рейтинг наколачивать. Открывал и закрывал раз двадцать. Вот так-то лучше будет, козлы.

Не забыл в игралке несколько раз расстрелять и взорвать убегающего гада Купцова. «Вот тебе, гад! Вот!» Захлопнул ноут. Настроение сразу поднялось.

Но в душе опять увидел мыльную непромытую мочалку. Никогда не помоешь за собой! Брежливо бросил в ведро. Лупил струями по всей кабине, смывал всё после неряхи. Только после этого сам залез и помылся.

Перед зеркалом жужжал бритвой. Потом занялся лицом серьёзно. Причёска ничего, держится, а вот лицо опять оплыло и морщины под глазами. Пришлось больше дать румян и под глазами замазывать. Пора к Альбертине Зуевой. В салон. Хороша бабеч. С пышной причёской. Хорошо бы её прямо в салоне установить. Да это ладно, это потом. А сейчас – одеваться. Сегодня в новое издательство. Запасное. Вроде бы тоже купились на губернатора. Тоже халявщики. Как и Акимов.

А тот всё успокаивает: «Не волнуйтесь, Виталий Иванович! Напечатаем, издадим! Вот где они все у меня!» Кулачок даже сожмёт. Тепло несчастное.

С одной рукой на руле летел по набережной. Свернул в арку к проходному двору. И сразу увидел Плоткина. Кучерявую башку его. Идёт домой, подпрыгивает. Счастливый. Наверно, после тра-ха со своей Зиновьевой. Шваркнуть бы, гада. Да ладно, живи.

Пуганул сигналом сволоту, промчался.

Глава восьмая

I.

Жанна в спальне надевала бандаж для беременных. Муж посматривал, следил. Жена становилась похожей на взнузданную лошадку. На плоткинскую лошадку в трусах.

Муж начинал смеяться.

– Не смотри! Хихикает там ещё чего-то.

Муж не обижался. Соскакивал с постели, обнимал, целовал жену в щёку и бодро направлялся в ванную, утаскивая с собой куртку пижамы.

За завтраком, поглядывая на жену, загадочно стучал ложечкой по темени вареного яйца. Как будто ставил на нём веселые точки.

– Чему ты радуешься? – хмурилась Каменская.

– Сюрприз, дорогая, сюрприз, – отвечал супруг уже со следами желтка на губах. Весь усугубленный желтком, как сказала бы мама. Э, интеллигент. Слюняву до пупа подвесь. Как профессор Преображенский.

Потом, нисколько не скрываясь от жены (жены законной!), он стал названивать своей стерво-зе Колесовой. Уже в прихожей. Уже на выходе:

– Аня, привет! Ну ты как сегодня? Тогда я к тебе. Буду через полчаса.

Повернулся как ни в чём не бывало:

– Ну, дорогая, я пошёл. Жди к обеду.

Хлопнула дверь. Каменская села на банкетку: чего он надумал там со своей Колесовой?

В супермаркете Яшумов и Анна Колесова ходили по раскрытому отделу одежды для новорождённых.

Опытная (растила двух сыночков) Аня набирала всё быстро и точно. Брала распашонки, ползунки, пелёнки; чепчики тонкие, чепчики тёплые; кофточки фланелевые, кофточки тонкие; царапки («Что это?!» – пугался Яшумов. – «Варежки на ручки, чтобы не царапал лицо и не сосал палец»), подгузники. (Ну это понятно.)

– А как ты определяешь, для мальчиков или для девочек? – заглядывал будущий папа.

– А никак. Всё для младенцев одинаково. И для девочек, и для мальчиков. Можно, правда, разного цвета. Но не обязательно. Пора бы это тебе знать.

Яшумов удивлялся: надо же – одинаково. Но можно разного цвета.

Когда рассчитался на кассе, вдруг увидел на стене фотографию голого младенца-ползуна. На руках он и коленках. Повернул голову к зрителям, улыбается. С памперсом сзади, как взрывник с большой закладкой.

Яшумов уже отворачивался, унимал смех. Анна тоже посмотрела, улыбнулась: «Скоро у тебя такой же молодец будет ползать по квартире».

Вернулись в Дом Зингера. Но в книжную секцию Ани не пошли, а сразу в кафе. Сняли плащи, повесили с пакетами на напольную вешалку в виде весеннего голого саженца. Богато одели его. Анна села за столик, расправила газовый шарф. Яшумов пошёл к барменской стойке.

Ели бутерброды с колбасой и сыром, запивали соком.

Потом пили кофе. Смотрели в окно.

Всё тот же собор стоял неподалёку. С куполом, взятым у конгресса США. С чуждыми строениями, нагромождёнными внизу.

Аня рассказывала о своих: о двух сыновьях, их женах, о внуках. Яшумов рассеянно слушал.

Женщина почувствовала его настроение:

– Что-то дома у тебя случилось? С Жанной? Рассказал бы, Глебушка, не таился.

– Да что тут рассказывать. Ошибся я, Аня. Четыре года назад. Ошибся. Но я всё равно счастлив. У меня будет сын или дочка. И это в мои почти пятьдесят лет. Не чудо ли это?

Да уж, действительно – чудо, напряжённо смотрела женщина.

– А вообще, – уже сник Яшумов, – мы любим вопреки всему, понимаешь. Вопреки. Не нужно любить этого человека, а мы – любим. Так что я счастлив.

Колесова смотрела с жалостью на друга покойного мужа. На его растрёпанные длинные волосы.

Стала успокаивать:

– Ничего, ничего, Глебушка. Вот родит – и всё у вас наладится. После родов женщина меняется неузнаваемо. Вон у меня старший Иван со своей Наташкой – как собачились, думала всё, развод, а родила одного да следом второго – теперь душа в душу. Уж ты мне поверь, старой сводне. Всё кардинально меняется у женщины после родов.

Вот именно – «кардинально». Куда уже кардинальней, Аня?

Дома, молчком раздевшись, явил себя жене с розовым ползунком на пальчиках. Хитро покачивал им. Мол, как тебе такое? С китайской улыбкой покачивал. Хоть прямо сейчас снимай его для рекламы.

Каменская изменилась в лице. Испуг в нём, смятение:

– Это же нельзя до родов делать, Глеб. Показывать ползунков.

– Да кто это тебе сказал? – смеялся муж.

– Мама, мама сказала. Она знает.

Яшумов не находил слов.

Пока ходил с ползунком и кричал потолку – дикость! бред! средневековье! – сумки с детским из прихожей исчезли.

– Где сумки?

– Прибрала. Путь полежат. До поры. Дай сюда и ползунок!

Ползунок вырвали из рук.

Тогда ехиднейший был задан вопрос:

– А как же с ванночкой для младенца быть? – И дальше посыпались вопросы: – С градусниками ему же? И для тела, и для температуры воды? С сосками, с комбинезончиками для гуляния? С детской кроваткой? С коляской для гуляния, наконец?

– Вроде бы можно.

– Кто разрешил?

– Мама. С ползунком нельзя.

О, боги!

2.

Савостина внезапно увидел в вагоне метро – сидел наискосок метрах в десяти. Сидел неузнаваемый – печальный и... осмысленный. С осмысленным лицом. Невероятно!

Яшумов поглядывал. Как соглядатай, как сексот. Удивляло, что на метро сегодня. Рендж Ровер сломался?

Парень ответить не мог, по-прежнему сидел-покачивался грустный. Поднялся. Пошёл на выход. Мимо Яшумова!

Главред беспомощно раскинулся и даже зажмурил глаза.

Но Савостин стоял уже возле двери. С петухом своим, тоже унылым. Да он же к нам в редакцию направился!

Яшумов малодушно сидел, не в силах сдвинуться с места. Так и поехал дальше, наблюдая за побежавшим назад графоманом.

Сошёл на следующей. Потом стоял на спасительном своём мосту о четырёх ляхах. Смотрел вниз, на бегущую воду.

Невольно думалась о Савостине как о человеке. Не авторе даже, не графомане, просто человеке. Со слов Григория Плоткина, который познакомился с нашим героем первым, случайно, в какой-то компании (по пьянке, как он выразился, на лестнице, в перекуре) – Савостин был вроде бы откуда-то из-под Рязани. То ли из рабочего посёлка, то ли из деревни. Кто родители – неизвестно. Хвалился, что окончил школу с золотой медалью. Врал, конечно. Воевал в Афганистане. Это, пожалуй, правда. Некоторые детали даже в графоманском «Артуре» не выдумал. А как с липовыми дипломами институтов попал в администрацию губернатора – полный провал памяти у нашего героя. Женат ли, разведён, есть ли дети – пустой экран. Чёрный квадрат Малевича.

Так что же ты за человек, Виталий Савостин?

Яшумов всё смотрел на вылетающую из-под моста воду в лопающихся пузырях. Со стороны казалось, что человек сейчас бросится вниз.

Его тронули за плечо:

– Вам нехорошо, мужчина?

Женское отцветшее лицо. Но глаза в начернённых ресничках напряжены, испуганы.

– Нет, нет, что вы! – рассмеялся Яшумов. – У меня всё прекрасно! Просто задумался.

Женщина в куцем платье дальше пошла, сутуло понесла тяжёлую сумку с продуктами.

Тоже двинулся следом. Савостин наверняка уже убрался из редакции. Однако среди усердных голов за компьютерами сразу же увидел его. Петух расфуфыривал перья перед Плоткиным и Зиновьевой, сидящими за одним столом: «Да у меня в библиотеке Горшкова уже 2000 скачиваний! Каждый день скачивают моего «Артура» 30-40 этих, как их (козлов?), читателей!»

Плоткин возражал, что-то доказывал.

Было желание повернуть назад (в который уже раз!), но пересилил себя, поздоровался со всеми. Трое у стола повернулись и раскрыли рты. Точно одни в редакции. Точно уличённые в чём-то нехорошем. Плоткин и Зиновьева поспешно полезли из-за стола. Мол, проходите, проходите, Глеб Владимирович к себе. Никто вас не тронет. Гарантируем! Савостина нейтрализуем! Савостин независимо задрал голову.

Яшумов шёл к своей двери. Наклонял голову. Помимо воли поднимал плечи. Словно ждал камня. Или, на худой конец, палки по спине. Чёрт знает что! Клиника! Шиза!

У себя налил из графина в стакан и пил тухловатую воду.

Поставил стакан. Нет, что-то нужно делать с Савостиным. Нужно убирать его из редакции. Чтобы духу его не осталось. И сделать это можно только одним способом: напечатать. Напечатать его галиматью наконец. Издать.

Снял трубку: «Григорий Аркадьевич, зайдите ко мне, пожалуйста».

Плоткин у себя бросил трубку и побежал.

Зиновьева осталась.

Обиженный (разгневанный!) Савостин ходил возле стола.

Чуть погода опять телефон. Красивая гадина схватила трубку. И тоже убежала.

Теперь Савостин остался. Один возле брошенного стола. Вот козлы так козлы. Все трое убежали-спрятались! Саботируют Артура. И гад Акимов не идёт.

Остальные клоуны за компьютерами – все будто не здешние. Ухмыляются только. Хрюкальными своими отвратительными мордами.

– Виталий Иванович, не хотите минералки?

Художник Гербов. Покачивает стаканом и бутылкой. Улыбается зубами. Из подлой пасти динозавра.

Вот это да-а. Куда ты, Артур, попал?

2.

В кабинете Главреда звучали вариации на одну и ту же тему. Бубукал недовольный сердитый тромбон, вытягивала фразы смычком серьёзная виолончель, пищала, бегала неукротимая флейта.

...сколько можно говорить одно и то же, коллеги? Почему не движется у вас Савостин? Сколько будет он ходить сюда! Он же рок для нашей редакции. Гибель. Тридцать лет работаю с книгами – такого не было. Почему вы только потешаетесь над ним и ничего не делаете? Сдайте рукопись, в конце концов, какая она есть. Я всё подпишу. Сдайте!..

... извините, вы не правы, Глеб Владимирович. Мы работаем, и работаем усиленно. Из двадцати пяти листов осталось десять (Тромбон схватился за голову, не в силах пукнуть, что-нибудь возразить). На это нужно время. Думаю, в сроки уложимся. А если задержим, то ненамного...

...а я придумал! я придумал! Макса к чёртовой бабушке! Сокращаем. Сразу вылетит листа три! Вместо него подселим человек пять. Коротко, схематично. У меня есть уже одна героиня. Зойка-автоматчица. Она не многословна, Глеб Владимирович, стреляет-косит от бедра. А Глеб Владимирович?..

Выдохлись музыканты. Они же блюстителю русского языка. Сидели под портретами корифеев, приходили в себя. Избегали смотреть друг на дружку.

Кучерявый флейтовый пропел, вытираясь платком:

– Правильно вы говорите, Глеб Владимирович. Он беда. Он разгуливает у нас как у себя дома. Мы в заложниках у графомана оказались. С его грантами, восковыми, с губернаторскими крышами. С нашим дураком Акимовым. И действительно, пора кончать с ним. Без всякой жалости.

Виолончель и тромбон уставились на флейту с изумлением. С испуганным изумлением. Смотри-ка, кровожадная какая...

В обед в кафе Плоткин уже смеялся:

– Он графоман неистребимый, вечный, Глеб Владимирович! Убей его – он сядет в гробу на кладбище, потребует ручку с бумагой. Запишет, отдаст потомкам и снова сложит ручки: – Закапывайте!

Яшумову было не смешно. Он просто устал от этого всего, устал!

– Всё, Глеб Владимирович, всё. Молчу.

3.

Приехавший в издательство Восковой одет был безукоризненно. Щёголем поздних советских времён. Чёрный как уголь костюм, лакированные штиблеты, бабочка. В сопровождении небольшой свиты (Савостин, Акимов, Яшумов) он шёл по редакции. Вениамин Антонович Восковой. Глаза его были круглы и белёсы. Как большие монеты. Он энергично встряхивал руки сотрудников, не давая сотрудникам падать. Казалось, что он просто для знакомства здесь, напролёт. Однако у стола Зиновьевой и Плоткина остановился точно. (Впрочем, Савостин бежал впереди, направляя.)

Плоткин вскочил, пошёл крутиться волчком, тараторить. Не давал начальнику вставить ни слова. Да тот и не стремился вставить. Восковой мысленно вставлял Зиновьевой. Поникшей возле стола Зиновьевой. Этакой толстой тростинушке. Глаза начальника выкатывались: «Ах, хороша чертовка!» Плоткину между делом сказал:

– Я вас понял. Работайте. Задержки с типографией не будет.

И вновь пошёл. Теперь на выход. И опять перед ним раскрывались все двери. Швейцаром служил, опять забегал вперёд Савостин. И как на отливной волне – утаскивались, размахивали руками, пропадали Яшумов и Акимов.

Редакторы выдохнули напряжение, опали на кресла у столов.

– Тяжелая артиллерия Савостина в ход пошла, – сказал вдруг Колобов. Верстальщик редакции. Тихий парень. От которого и слова не по делу не слышали.

Все начали смеяться. Плоткин верещал больше всех, вдохновлял: хихихихихи, господа!

В вагоне метро у Яшумова горело лицо, он сильно потел. Явно поднялось давление. В голове прокручивалась и прокручивалась, что называется, хроника спикировавшего в редакцию бомбардировщика.

Неожиданный визит Воскового – заведующего отделом культуры города! – в небольшое издательство мог показаться странным. Впрямую о Савостине начальник не сказал ни слова. В кабинете Акимова он говорил о грантах губернатора вообще. Говорил банально, избито: «Мы должны пестовать молодые таланты, поддерживать их, давать им возможность издаваться, чтобы их творчество стало известно, так сказать, нашему народу и так далее». Надеялся на долгосрочное сотрудничество с издательством (это с маленьким-то? с малотиражным?). Савостин сидел у него за плечом молча, серьёзно. Как бдительный телохранитель. После пятиминутного монолога (всё о ней, о культуре родимой), Восковой вдруг встал и пошёл из кабинета. Молчком. Думали, в туалет. Нет – в редакцию. Савостин-телохранитель бежал впереди и раскрывал двери. Акимов и Яшумов сзади толкались, боялись отстать.

Ну а в редакции Вениамин Антонович энергично встряхивал руки вскакивающих немых редакторов, да потом только пиялился на Зиновьеву...

Вспоминать обо всём этом было сейчас стыдно. Яшумов морщился. Будто наелся горького. Но помимо воли всё прокручивалось и прокручивалось дальше.

Видел себя на узком крыльце издательства. Среди провожающих. Чуть не падал с крыльца, когда махал со всеми Воскову. Который направился к машине Савостина. И тот, уже как шофёр и швейцар в одном лице, мгновенно забежал вперёд и раскрыл начальнику дверцу.

Перед тем каклезть в авто, Восковой махнул пару раз провожающим. Как дирижёр. Для запева. И трепетания рук на крыльце сразу резко усилились. И все действительно начали падать с крыльца. И Акимов, и Яшумов, и редакторы. А Восковой уже гнал вдоль канала, важный, откинувшийся на сидении.

Яшумов всё морщился от стыда, всё боролся с собой. На Яшумова внимательно смотрела девочка лет десяти, сидящая с нотной папкой напротив. У девочки были широко расставленные большие, как капли, глаза, на темени торчали две короткие витые косички.

Яшумову совсем стало кисло, нехорошо. Поднялся, пошёл к выходу. Хотя до его станции нужно было проехать ещё две.

Дома в прихожей устало раздевался. Сидел на банкетке, снимал обувь. Опять не услышали, что пришёл, опять доносилось из комнат: «Да он же толком ничего не умеет, Жанка! Вчера к твоему приезду заставила баньку покрасить. Облезла вся. Так баньку – как попало. Зато всю морду лица краской упáтрал! Белой!» Ну сегодня, хоть слава Богу, не обо мне, подумал Яшумов. Сегодня просто народное, вечное. Всё в мою копилку: «Морду лица упáтрать».

Яшумов продолжил расшнуровывать кроссовок.

– Ты уже дома? – Традиционно. Привычно. И жена стоит, и тёща выглядывает. Но продолжения «а мы не слышали» не последовало. Вместо него – обе вдруг объединились в тревоге, в страхе:

– Что с тобой, Глеб?!

Яшумов снизу смотрел на жену и на тещу. Он походил на уставшую вечернюю зарю с двумя большими глазами. Потные волосы его слиплись. В чём дело, дорогие?

– Да ты же весь пылаешь! У тебя наверняка давление! – Испуг, тревога жены казались неподдельными. Она схватила мобильник с тумбочки (обычный яшумовский телефон не признавала), уже тыкала кнопки. «Ало! Скорая?»

Тёща завертелась, исчезла. Через минуту прибежала с большим тазом, полным горячей воды.

– Ну-ка, давай-ка твои ноги, зятёк. – Пыталась снимать с зятя носки. (Тот не давался. Сам

снимал.) – Ставь, ставь в таз. Не бойся. Сразу легче станет. Я своего всегда так. Как напьётся, как утром кумач – ставь, паразит, ноги в таз! Извините.

До приезда скорой картина в прихожей напоминала картину в сельской избе – крестьянин (Яшумов) с засученными штанами после трудов дневных праведных парит ноги в тазу. И две женщины бегают, ему подливают.

Врач скорой сразу смерил давление: 180 на 100. Та-ак.

– Вы гипертоник?

– Нет.

– Значит, стресс. У вас угроза гипертонического криза. Нужно следить за собой. Давление меряете? Тонометр есть?

Яшумов сказал, что был. Остался ещё от родителей, но где-то затерялся.

– Купите. И меряйте ежедневно.

Мальчишка-врач корчил из себя опытного диагноста:

– Это могут быть первые звоночки, (батенька). Галя, сульфат магния и тройчатку.

Сестра сделала Яшумову два укола, и он ушёл из комнаты, прилёг в спальне. Слышал, как врач давал наставления Жанне. Видимо, к выписанным рецептам. Потом хлопнула дверь и всё смолкло.

Анна Ивановна ходила на цыпочках. Поглядывала на дверь спальни с Яшумовым. Вот тебе и образованный. Интеллигент. А, Жанка?

4.

Опять снился дикий сон – какие-то два представителя секс-меньшинств непременно хотели попасть в Статистику. На собрании жильцов дома всё время тянули руки. Как нетерпеливые школьники: «Я! Я! Глеб Владимирович! Ну пожа-алуйста».

Яшумов разрешал. Записывал их в блокнот. Для статистики. Только после этого два представителя вскакивали и начинали одновременно, захлёбываясь, говорить. Жаловались, что не находят понимания в подъезде. При свиданиях. Что их всё время гоняют. Они были точными копиями, клонами Савостина. В таких же подгузниках и с петухами на головах. Сам Савостин (клонированный или нет?) сидел тут же, рядом, нога на ногу. С презрением слушал гомосексуалистов. Не выдержал, заорал им: «Заткнитесь, педики несчастные!» И приказал Яшумову: «Записывай меня одного. Для статистики». Яшумов сразу пошёл куда-то. Собрание загудело. «Стой, гад! Вернись?!» – кинулся следом Савостин.

Яшумов дёрнулся, проснулся в темноте. Инстинктивно кинул руку на беременный живот жены. Точно схватился за горячий терапевтический аппарат. Для своего спасения. Жена сбросила руку, повернулась и захрапела в стену. Потихоньку поднялся, пошёл в туалет. «Господи, да когда же этот гад отстанет от меня!» – спрашивал под звон струи у тёмного потолка.

Рано утром в спальне являл собой гипертоника-аккуратиста, который точно по часам меряет себе давление. Согласно предписанию врача. Манжета надета на левую руку точно по центру, на два пальца выше локтевого сгиба. Лицо гипертоника серьёзно. Он нажимает кнопку тонометра-автомата. Слушает гудение прибора. Гудение обрывается. Рука сжата манжетой. Гипертоник теперь слушает звуковые удары своего сердца и смотрит на меняющиеся цифры тонометра. Всё останавливается – 135 на 80.

Пожилая врач в поликлинике, которая лечила ещё его родителей, после всех прослушиваний, кардиограмм и анализов сказала: «У вас наследственная гипертония, с которой вы ходили и даже не подозревали о ней. Ваша мама была гипертоником. Передалось всё и вам. Придётся пить теперь таблетки. И боюсь, пожизненно. Соблюдать режим. И никаких стрессов. Что у вас случилось? Что вас так сразу заколбасило, как выражается мой внук». На длинноволосого, уже немолодого пациента смотрели старые выцветшие, всё понимающие глаза. Пришлось ответить этим глазам неопределённо. Да так, Мария Николаевна. Не говорить же всерьёз о первопричине всего – Савостине. Что некуда от него деться. Что болен им. Ведь сразу под руки поведут. В психбольницу.

Аккуратист аккуратно свернул тонометр и стал укладывать его в специальную сумочку. Жена убирала постель, косилась. «Не смерить ли тебе давление, дорогая?» Даже не ответила. Тогда поднял молнию на сумочке. Не может забыть цену этого тонометра. Ну и таблетки теперь, конечно.

Каменская взбадривала кулаками подушку, прежде чем поставить её как надо. Фунтом.

– Ты почему лягаться стал по ночам? Ты что, в живот хочешь меня пнуть?

– Да что ты, Жанна, – похолодел муж. – Не может быть. Это, наверное, побочные явления от таблеток. Завтра же схожу к Марии Ивановне. Чтобы поменяла лекарства.

– Ага. «Чтобы поменяла». Она будет только рада. Ещё навypисывает кучу. Новую. (Таблеток.) Только плати.

Понятно. Жадность колпинки. Наверное, и с мамой уже всё подсчитали. Тонометр пришлось покупать паразиту. Теперь вот постоянно таблетки.

– Жанна, я ведь на диване могу спать, в конце концов. Если стал так опасен.

– Нет, – сразу ответили ему. – Не надо на диване. Будешь спать здесь.

Тоже понятно. Крестьянский семейный кодекс. Кодекс чести. Муж всегда должен спать рядом с женой. Всегда. Испокон веку так было и будет в крестьянской семье.

Каменская саданула во вторую подушку кулаком и поставила фунтом рядом с первой. Вот так-то лучше. А то ишь чего думал. От жены спрятаться.

На работе в обед между салатиком и котлетой Яшумов рассуждал о крестьянской патриархальной семье. О её традициях, обычаях. «Интересное, доложу вам, явление, Григорий Аркадьевич. Какая там иерархия в семье, какие чудные обычаи!» Видно было, что человек увлечён новой темой. Просто захвачен ею весь.

Плоткин чувствовал какой-то подвох, неправду в словах патрона. Осторожно сказал, что не знает крестьянского быта. В деревне никогда не жил, щей за общим столом не хлебал. Ложкой по лбу до команды «Таскай!» (мясо) не получал.

– Э не-ет, – смеялся Яшумов. – Там много интересного. Много всяких нюансов. Команду «таскай!» подаёт не просто абы кто за столом, а Старик, Иерарх семьи. Убелённый сединами. Только он один.

Плоткин с тревогой смотрел на веселящегося шефа. Свихнулся? Заболел? Смутно чувствовал какую-то связь всего услышанного с женой Яшумова, с Жанной Каменской. Та, вроде бы, тоже из деревни. Неужели там до сих пор кричат «таскай!»?

Яшумов ножом и вилок изящно работал с котлетой и всё пел оды простому народу. Всё восхищался семейными традициями его. Где младшие всегда почитали старших. Где каждый знал свои обязанности, знал, что ему делать. Всё делали в хозяйстве ладно. Сообща. «Отсюда и возникло понятие “община”, Григорий Аркадьевич. Да-а».

Плоткин не верил глазам своим. Яшумов, петербуржец, потомственный до мозга костей интеллигент, намерен пойти в простой народ. Полюбить его. Сравняться с ним. Чтобы тоже лопать мясо после команды «хватай!».

Чудит наш Главный, чудит. Подпал под прямое влияние жены. И всей её тёмной родни. Точно. Обработали.

Плоткин искал свидетелей такому превращению патрона. Невероятному, дикому.

5.

Рано утром сидел на кухне. С полным ртом слюней. Вчера жестоко вытащили и спрятали сигареты. Прямо из-под подушки. Не уследил. Доверчиво уснул. Сейчас в несчастной рукописи перед собой – не написал ни слова. Вот тебе и Юрий Олеша. Вот тебе и его «Ни дня без строчки». А ещё, главное, уверял всех, что это поможет держать форму. Хотя сразу сомнение берёт. Как можно сильно пить, опохмеляться каждый день и умудриться писать? Наверняка сплошные бичевания у Юрия Карловича каждое утро были. Хотел бы так, наверное, писать, хотел бы – дисциплинированно, упорно. Но опохмельная рюмка утром – и всё заканчивалось в ресторане. В ресторане Дома писателей. Где был завсегдаем. И ушёл от такого завсегдайства всего лишь в 60. Некоторые

обвиняли короля метафор в дурновкусии, а порой и безграмотности. Однако всё же видел он и писал гениально. «Обезьянка прыгала, убегала как арка». Или «арки»? Писал смело. Не боялся выглядеть банальным, вычурным, смешным. Смело писал. Время было такое у пишущих. Один лучше другого. Ильф, Петров, Катаев. Не говоря уже о поэтах. Да-а, хорошее было время. А тут сидишь, слюну глотаешь – и ни строчки. Ни по Олеше, никак.

С тоской смотрел на раскрытую форточку. Хорошо бы пустить в неё дымного голубя. Этакого голубка. Да не одного, а нескольких. Этакую дымную стайку. Чтоб летела она себе в ясное небо, пропадала...

Сглотнул. Хотел поискать в ведре хотя бы окурков. В спальне будто резко всхрапнул трактор: смотри у меня! Ида Львовна. И дальше себе засопела.

Так издеваться над сыном!

Не разговаривал. Никакого «доброго утра». В упор не видел серую ночную рубашу на кухне.

– Ладно. На. Травись.

Схватил пачку (зажигалка в руках), побежал на балкон. Прикурил. Окутался наконец дымом. Жадно дёргал. Нагнетал дымовую завесу. За стеклом наверняка наблюдали. Пустил за спину большого льва. На тебе, мама! Любуйся!

Во двор ворвался, заиграл как сабли сигнал Савостина. Рендж Ровера Савостина. Промчался, всё так же победно махаясь саблями. Вот ещё мерзавец. Откуда узнал, что здесь живу, откуда! Не иначе – выследил. Теперь вот и этаж будет знать. С дымящейся на балконе кочегаркой. Которая не успела даже заткнуться, спрятаться. Но куда погнал в такую рань? Да прямоком в редакцию! В редакции будет поджидать. Обрабатывать, изводить Лиду.

В консервной банке задавил окурков, скорей в комнату, потом на кухню по-быстрому собрать рукопись.

– В чём дело? Что произошло? – шарахалась от бегущего сына Ида Львовна. Который уже прыгал, вдевался в брюки.

– А завтракать? А каша? Григорий!

– Потом, потом, мама. До вечера, пока.

И только мелькнула за сыном наплечная его сумка, чуть не прибитая хлопнувшей дверью.

И всё же ошибся. Не было графомана в редакции – везде спокойные, внимательные головы у мониторов.

Здоровался со всеми, жал руки. Попытался опять прильнуть к любимой щеке – какой там! – разом отпрянули. Понятно. Привычно уже. Не любит. «Ну как ты сегодня? Как ночевала? Как Ярик?»

Сел на простой стул. Придвинулся к любимой. Стали работать. Кромсать полотна Савостина. Тут же дописывать. Прямо Ильф и Петров. Смеялись. Спорили.

Вздрыгнули – Савостин возник как приведение. Как будто вытаял из воздуха.

Плоткин не растерялся:

– Доброе утро, Виталий Иванович! С чем пожаловали сегодня?

– Вот, – подал исписанный листок автор: – Это я написал интимное про Артура. Прошу добавить на страницу 120.

Автор потупился, прикрыл своё «интимное» двумя ладонями.

Редакторы, словно в долгожданный, впились в текст. Как всегда написанный каллиграфическим почерком:

«Регина томно разделась и вся изогнулась. На ней были дьявольские трусики. Артур, потеряв голову, засмотрелся».

Первой отъехала от стола Зиновьева. Натурально. С компьютерным стулом. Укрылась у ху-дожника Гербова. И там тряслась. Плоткин изо всех сил держался. Смех глотал, давил где-то в желудке:

– Молодец, Виталий Иванович... Просто замечательно... Ёмко, зримо. Непременно вставим... да... гым... хым... хах-хак...

– Надеюсь...

Савостин с подозрением смотрел на меняющуюся морду Плоткина. Как Артур на меняющуюся морду клопа. Увёл взгляд. Сказал озабоченно:

– Я к Акимову.

Опоздавший Яшумов опять увидел всю редакцию веселящейся. Опять все смеялись. И дирижировал хором, конечно, Плоткин. Который, впрочем, при виде шефа сразу отмахнул, и все поспешно вернулись на свои места. Один компьютерщик Колобов продолжал заливаться в кресле. Точно привязанный. К немалому изумлению Главного.

– «Дьявольские трусики»... Глеб Владимирович...

– Какие трусики?

– Дьявольские... – всё прыскал, не мог остановиться Колобов. – «Он, потеряв голову, засмотрелся». Глеб Владимирович...

– Кто засмотрелся?

– Арту-у-ур... Хих-хих-хих...

Так. Понятно.

– Григорий Аркадьевич! Зайдите ко мне.

Плоткин метнулся к столу, схватил листок Савостина, побежал.

Через минуту главред сам хохотал. В потолок. Нет, бороться с плоткиными и савостиными невозможно! Просто невозможно!

6.

В телевизоре у Жанны из большого автомобиля вытащили субъекта в длинном пальто. Заломили руки, припечатали лицом к стеклу дверцы. Размазали на стекле. Его женщина, оставшаяся внутри кабины – пугалась, не узнавала хахалю. «Спокойно, милая. Я в порядке», жевало на стекле слова неузнаваемое лицо любимого.

Фёдор Иванович не смотрел на телевизор. Фёдор Иванович, пригнувшись, самозабвенно хлебал мясной суп. Казалось, забыл обо всём на свете.

– Губы вытри, – толкнула жена. – Усуслился весь.

Яшумов тут же мысленно записал: «усуслился весь». «Упáтрался весь» – было. Теперь – «усуслился весь». Кладёзь народных слов Анна Ивановна!

Фёдор Иванович смело взял две салфетки и вытер ими губы и щёки. Довольный, светился. Как пацан. Халява. Большая халява. Святое дело. И снова хлебал.

Между тем Анна Ивановна говорила дочери:

– ...Ты была тогда ещё в гипсе. Помнишь? Во втором классе? Прыгала на одной ножке?..

Вот опять, – отметил Яшумов. – «В гипсе». Где такое ещё услышишь?

Неожиданно для себя шумно потянул с ложки суп. Как Фёдор Иванович. Даже звучней, ядрёней. С переливом.

Колпинцы бросили есть и раскрыли рты.

Яшумов тут же исправился: ложку в тарелку стал погружать от себя, не загребать ею, как Фёдор Иванович. Суп подносил ко рту плавно и глотал беззвучно. За столом – аристократ размеренно кушает.

Колпинцы перевели дух. Так пугать!

Яшумов опять попытался завести разговор о серьёзном, о «приданом маленькому». О красивой колясочке ему («Знаете, чтобы в цветочках была»). О ванночке для ежедневного купания, о градуснике для воды.

Силковы умудрялись не смотреть на будущего отца, хмурились. Анна Ивановна сказала только недовольно:

– Не надо этого делать.

– Да почему же! – пытался вывести её на дискуссию Яшумов.
 – Не надо, и всё. Батюшка сказал.
 – Какой батюшка? Где?
 – В церкви! – неожиданно зло ответила тёща. (Пора бы это тебе знать, безбожник несчастный.)
 – Ну хорошо, хорошо, – уже поднимал руки, сдавался Яшумов. – Когда батюшка скажет, тогда и куплю всё. Хорошо.

Поднялся, задвинул стул, поблагодарил. Пошел в спальню одеваться на работу. Неприятный осадок остался. Колпинцы чёртовы суеверные! «Когда батюшка скажет!»

С другой стороны: «Вы Господа нашли?» – «А разве он потерялся?» Такой вот юмор. Полностью относящийся к атеисту-филологу.

Как-то, не пожалев времени, с экскурсией завёл Жанну в Исаакиевский собор. Во всё его высоченное великолепие. «Офигеть», – только и смогла пролепетать верующая колпинка. Сам экскурсовод-филолог только надувался. Как причастный ко всему этому богатству. Только золотых одежд (ризы) на нём и не хватало. «Смотри, дорогая, какая красота». – «Офигеть», – всё задирала голову туристка в мужских берцах и с индийской мотнёй, висящей меж ног. Не верила, что попала в сказку. Впрочем, так вели себя и остальные экскурсанты, больше провинциалы, которые просто онемели и, казалось, не слышали ни Яшумова, ни слов женщины-экскурсовода.

В вагоне метро вспомнились мама и папа. Как они относились к религии, к церкви. Икон в доме не было. Но мама иногда надевала длинное платье до пят, повязывала свои волосы тёмным платком (отчего голова становилась похожей на тугую султан) и шла к двери. Пятилетний Глебка думал, что гулять, радостно бросался. Но Надежда Николаевна мягко останавливала сына и, поглядывая на мужа, говорила, что идёт по делам. Погуляем, как приду. Владимир Константинович становился суетлив, отвлекал сынишку: «Мама идёт по важному делу. Мы ей не будем мешать». Глупый Глебка ничего не мог понять, что это за такое важное дело, что даже его, Глебку, не берут на него. Был ли отец тоже верующим и отправлял жену в церковь как бы посланницей от семьи – от себя, от сына, или был атеистом и смотрел на веру жены снисходительно, терпимо. Хотя и в другую веру, в партию, тоже не вступил. Как ни манили, ни затаскивали.

Незаметно Глеб Владимирович стал смотреть на мужчину, сидящего напротив. Длинноволосый, как и Яшумов, тот сцепил пальцы на круглом животе, покачивался. Эдакий современный сытый малый. Но в бороде аж времён Ивана Грозного.

Сектант? Паломник? Тогда где у него посох и шляпа от солнца?

Перед выходом из вагона сектант толкал в спину. «Полегче, уважаемый. Я знаю свой путь». Сектант не смотрел в глаза, был недоволен Яшумовым.

Глава девятая

I.

Владимир Константинович Яшумов сказал когда-то сыну: «В старости, Глеб, человек становится своей пародией. Брежнева хотя бы вспомнить. наших многих известных артистов. Надо вовремя уйти со сцены. Не позориться. Не появляться нигде, не мелькать, не маячить в телевизоре. Всё, ты ушёл, отыграл своё, тебя нет. Но, к сожалению, в конце дней своих тебя наоборот начинает расpirать от своей значимости, от былых заслуг. От бывшей известности, от аплодисментов...»

Яшумов вспомнил эти слова отца в кафе, случайно глянув на тихо работающий, никому не мешающий телевизор, где в яркий свет многолюдной студии вывели на коляске радующегося, машущего ручками старичка, в котором трудно было узнать бывшего сверхпопулярного артиста. Его, как неумолкающую говорливую игрушку, сын совал с коляской к таким же старикам и старухам. Тоже артистам. По очереди. И те обнимали коллегу, плакали. Но старичок не плакал, старичок радовался. Сын всё вертел его с коляской. Теперь к восторженным зрителям студии. А старичок будто сам вертелся, даже без помощи сына, и всё размахивал ручонками, посылал воздушные поцелуи. Это был его звёздный час. Он дождался его.

Сразу вспомнился ещё один глубокий старик. Писатель, корифей петербургской литературы. Того с ключечкой вывела в наградной тронный зал то ли молодая жена, то ли старая его дочь. Где он должен был получить награду от самого Президента. Как раскачивался он, уже стоя на месте, умирал. словно не выдерживал тяжести золотой медали, навешенной на него президентом. Так и умер, наверное, потом дома, придавленный дорогой наградой.

Вспоминать всё это было сейчас больно, тяжело. Яшумов забыл про еду, не понимал Плоткина, который тоже, казалось, поймал свою волну, свой звёздный час – и всё смеялся, и всё балагурил:

– ...Небезызвестный этот портал, Глеб Владимирович – это цитадель, это оазис для всех изголодавшихся графоманов. Слетелись туда со всей России. Более трёхсот тысяч авторов! Более девяти миллионов текстов! Кого там только нет! Пиши как угодно, что угодно. Всё принимает портал. Всякую галиматью, белиберду. Детский лепет, бред сивой кобылы, штанишки на лямках. Всё там есть. Всё графоманское богатство России собрано в одном месте. Но что удивительно, Глеб Владимирович, – Савостина там нет. Ни с Артуром, ни с другими опусами его. Вы можете такое представить! Савостин – и нет его на этом ресурсе. Не верится, что он не знает о нём. Но нет – и всё.

Главред никак не мог сосредоточиться на словах ведуна. Даже Савостин пролетел мимо незамеченным. А Плоткин не умолкал, размахивал вилкой:

– Причём крепкая настоящая проза там не приемлется, отторгается. Вы знаете, как пишут наши Галя Голубкина и Миша Гриндберг. Год-полтора назад они оба были на этом ресурсе. Были! С надеждой разместили свои повести, рассказы. Так за всё время, что провисели там – читателей набрали только по два-три десятка. И ни одной рецензии не получили. Ни хвалебной, никакой. Графоманы просто не поняли их, не осилили. Но почувствовали, что это чужаки и добра от них не жди. Там интересный порядок в статистике прочтений. Если открывают твою вещь, то у тебя в статистике отображаются фамилия и имя открывшего, и ты можешь перейти на его авторскую страничку. Он так приглашает тебя. Мол, и ты меня открой и прочти мои величайшие творения. И похвали. Галя и Миша сначала честно открывали эти предлагаемые авторские странички и добросовестно читали там одно-два так называемых произведения, но ничего в них стоящего не находили и, как люди честные, хвалить не могли. То есть они оказались на портале чужаками. Изгоями. Так и не понявшими единственного правила графоманов портала – ты всегда хвали меня, тогда и я похвалю тебя. Поэтому вскоре удалились оттуда, закрыли свои странички.

– И что же, никого там стоящего нет? – уже пришёл в себя Яшумов.

– Почему же. Наверняка есть и настоящие писатели. Но их единицы. И они потонули в этой серой массе. И их никто не знает.

На улице Плоткин всё не мог успокоиться, забыть про «этот портал»:

– Признаюсь, Глеб Владимирович, я тоже был там. (Яшумов удивился.) Да, каюсь, был. С повестью и двумя рассказами. Конечно, читателей – кот наплакал. И ни одного отзыва. Тогда я сам начал громить графоманов. Писать короткие рецензии на особо захваленных. Так сказать, начал разоблачать голых королей. Меня терпели недолго. Забанили мою страничку. Как страничку опасного террориста. Взбаламутившего болото. Вот такой мой горький опыт. Забанили, заткнули рот. А, Глеб Владимирович? Не дали развернуться, а? – уже смеялся кучерявый террорист.

В редакции – сразу Савостина увидели. Лёгко на помине! Плоткин тут же подлетел к нему и громко спросил, надеясь на спектакль для всех:

– Виталий Иванович, вы знаете про всемирно известный портал.... (Портал был назван).

– Ну знаю. И что?

– Так почему ваших произведений нет на нём?

– Ещё чего! Среди графоманов-то? В эту кучу дерьма? Я печатаюсь во всемирно известной библиотеке. Этого. Как его? Горшкова. У меня там 10 тысяч скачиваний! Моего Артура читает народ! А вы никак не можете с ним управиться. (Расправиться, наверное?)

Плоткин затряс автору руку:

– Молодец, Виталий Иванович! Просто молодец! Так держать!

Автор, встряхиваемый редактором – сердито смущался:

– Да ладно. Чего уж теперь. Раз народ признал. Давайте, работайте. Гоните Артура в народ.

Сотрудники отворачивались, прятали смех. Один верстальщик Колобов откровенно безнаказанно смеялся. Колотился прямо в кресле.

Но что там Колобов какой-то. Что он понимает? Народ признал!

2.

Плоткин в воскресенье с утра решил соответствовать встрече. Поэтому надел и явился к Зиновьевой и Ярику в модных джинсах. С дырами на коленях. Как будто собаки рвали человека, а он еле отбился.

– Ну, вот и я. Как вы, мои дорогие? Готовы?

Сегодня *своих дорогих* Плоткин решил поразить. Намерен был повести в музей. В Музей печати. Ярик запрыгал, хотя и не представлял, что это такое. Однако Зиновьева даже пропустила мимо слово «музей» – во все глаза смотрела на голые коленки любимого.

Уже хмурилась, сердилась. Ей что, тоже закусить *под джинсу*. Какую-нибудь джинсовку надеть с цепями, с колоколами?

– Ну и зачем ты вырядился так? А?

– Но позволь! Ты же тоже будешь по-молодёжному – в кофточке с плечом?

– Да кто тебе это сказал! Господи! – говорила уже из спальни Зиновьева. Где из противоречия какого-то надевала свой самый строгий женский костюм. Костюм переводчицы, секретаря, менеджера среднего звена корпорации.

В Музее печати Плоткин несколько смущался своего вида, но кое-где ходили такие же оборванцы, и парни, и девицы, и Плоткин успокоился – он в бренде.

Зиновьева с сумочкой и в строгом своём костюме всё время стремилась как-то в сторону от оборванного. Помимо воли. И Ярика за собой тащила. Но джинсовый догонял и направлял, куда нужно. К нужному экспонату. Чёрт знает что! – спотыкалась женщина на высоких каблуках.

В довольно большом зале с четырьмя окнами ничего не могла понять среди старинных расставленных чугунных монстров. В виде паровозов и железных высоких арф. Ярик всё время кидался к гильотинному ножу для обрезки книг. Пытался орудовать им. Приходилось уводить и тихо вносить.

Наконец вышла экскурсовод с белым бейджем на кофте. Посетители сразу окружили её. И оборванцы, и нормальные люди. Экскурсовод останавливалась у какого-нибудь станка и рассказывала его историю, как и положено, показывая указкой на железные детали. Ярик притих. И даже оборванец рядом потупился.

Через какое-то время женщина с бейджем ушла, и все опять стали бродить сами по себе. Ярик кидался к ножу – приходилось оттаскивать.

Зиновьеву тронули за плечо:

– Здравствуй, Лида...

Кирилл Кочумасов! Глаза выкатываются, сдохшие муравьи будто ожили. Ползают по лысине!

– Лида, я хочу... ты не имеешь права... ты не должна... я отец... слышишь?.. ты обязана нас познакомиться... я имею право... Лида!..

Зиновьева беспомощно оглянулась. Плоткин и Ярик всё боролись с гильотиной.

Женщина уже пятилась, вырывалась. Плоткин увидел, подбежал:

– В чём дело, гражданин! (Прямо милиционер, современный полицейский.) Вы что это себе позволяете в музее!

Кочумасов во все глаза смотрел на плюгавенького мужичонку. На мужичонку в рваных джинсах. Рядом с хорошо одетой Зиновьевой. И это твой избранник? Твоя любовь? Кочумасов не видел даже сына, держащего плюгавенького за руку. Повернулся, пошёл из зала. С лысиной сзади загорелой – как пятка.

Тоже вышли на набережную. Мать и сын молчали. Музейные печатные машины обсуждать не могли. Плоткин воочию увидел полярника папу. Однако – делал вид. Уже ташил в кафе неподалёку. Мороженое от души! Тархун! Джазок из колонок! А, мои дорогие? Скорей за мной!

Через неделю, тоже в воскресенье, оставили Ярика с Идой Львовной смотреть телевизор и есть всякие вкусняшки. А сами по-быстрому вернулись обратно в квартиру Лиды.

После индийского кино в прихожей и спальне – голый лежащий воин сказал:

– Он ведь не отстанет, Лида. Так и будет преследовать... вас... (Сказать «преследовать нас», язык не повернулся.)

Зиновьева безотчётно перебирала волоски на грудке воина.

– Нет. Он трус. Будет только выглядывать из кустов.

Непонятно было: в осуждение это она сказала или с сожалением. И опять же, а как он, Григорий Плоткин? Как же быть с ним, в конце концов? Куда его девать, черт побери!

Поздно вечером, после того как отвёл Лиду и Ярика в их квартиру, висел на чугунной огородке над каналом, окутывался дымом. Никуда не хотелось идти. Ни домой, ни обратно к Зиновьевым. Посмотрел на кафе, где были неделю назад. Но оттуда уже выдавливали всех наружу.

Хотелось плюнуть вниз, в дрожащую луну. Не посмел. Пошёл домой так. Со слюнями.

Ночью долго не спал. Всё вспоминал инцидент, случившийся в музее. Стычку, сказать по-русски. Себя, – трусливого, но духарного, всё ждущего, что прилетит в лицо кулак. Железную надувшуюся Зиновьеву, которую, казалось, ничем не прошибёшь. Смущённого до слёз, не знающего, куда деваться мальчишку, который давно догадался, давно всё знал про полярника папу...

Плоткин прошептал, засыпая: «Бедный пацан... С такой матерью...»

3.

– ...А ты похвали его, доча, сперва, похвали. А уж как он поплывёт, ты тут его и прищучишь. Да. Похвали его, доча, похвали, не бойся...

– Хватит, мама, хватит!

Беременная доча ходила по спальне, хватала какие-то тряпки. Ямочки возле губ резко означались на злом лице. Как при доброй улыбке. Это всегда пугало Анну Ивановну. Господи, опять как гангстер на деле. В весёлой маске...

Доча, уже присогнутая, налаживала на себя широкий пояс. Как будто плохо обученная лошадь. На поясницу и большой живот. Сбруя не налаживалась, съезжала. Мать бросилась, стала помогать.

– Я тоже, когда тобой ходила, напаяливая такую же. Только та красивше была. В цветочек и с застёжками.

Из прихожей послышался телефонный звонок. Никак не ожидаемый женщинами.

– Ответь, – сказала дочь.

Анна Ивановна на цыпочках побежала и сняла трубку:

– Слушаем.

Сперва ничего не могла понять. Но дошло. Из Германии. Эта, как её?

– Поняла, поняла. Сейчас. Кто я? Я мама. Сейчас позову.

Так же на цыпочках прибежала. И сообщила дочери. Чуть не на ухо:

– Там эта. Из Мюнхена. Глеба требует.

Не надев толком пояс, Каменская заспешила в прихожую, схватила трубку:

– Да, Алёна Ивановна! Здравствуйте! – И тоже напряжённо слушала далёкий голос.

– Я вас поняла, Алена Ивановна, поняла. Но он с час как ушёл на работу. Звоните ему туда, он должен быть на месте. – Вдруг осмелела: – Когда вас ждать к нам в Питер на гастроли, Алёна Ивановна? Мы все... все жаждали вас!

Иванова будто не услышала слов Каменской:

– Глеб мне звонил – вы ждёте ребёнка. Милая Жанна, берегите себя, не переживайте попусту, хорошо питайтесь, гуляйте на воздухе. Глеб всегда будет рядом с вами... поможет... во всём... – Голос женщины вдруг начал прерываться, и она замолчала. – ...А с гастролями вряд ли что получится... У меня изменились обстоятельства... Всего вам доброго, милая Жанна. Берегите себя и ребёнка.

Каменская на аппарате заглушила гудки.

– Странная она какая-то сегодня была – говорит, а сама словно бы плачет...

Женщины онемели. Одна с забытым поясом набок, другая опятная вся, но тоже как перекошенная.

Яшумов сидел плечом к плечу с Галиной Голубкиной. Окончательно подчищали её рукопись, чтобы отдать потом Колобову для его работы – сверстать весь текст и создать макет книги. Ну а дальше уже всё напрямик в типографию.

Яшумов показывал карандашом на свои помеченные исправления. Молодая женщина с простым деревенским лицом сразу склонялась к указанным словам. Как к совершенно незнакомым ей словам, как будто не ею даже написанным. Голова с плоским незатейливым пробором волос застывала. Женщина думала. И говорила: я согласна («Согласная я!»).

Яшумов переворачивал две-три страницы, и снова втыкал карандаш. И женщина опять читала незнакомые слова.

Включилось и заиграло белое солнце на мобильнике Яшумова. Под солнцем – название солнца аршинными буквами: АЛЁНКА.

Яшумов схватил телефон:

– Да, Алёна, да! Здравствуй, родная!

Далёкая женщина поздоровалась и сразу заплакала.

– Что такое, что? Что случилось? – Делая Голубкиной большие глаза, Яшумов двинулся в коридор и закрыл за собой дверь.

– Что, что произошло?

– Дитрих... Дитрих умер... Глеба...

– Когда? Как? Отчего?

– Вчера... – всё плакала женщина. – Утром... на репетиции... стало плохо... упал... без меня... мне нужно было позже... на час... пришла, а его уже выносят на носилках... мёртвого... Глеба!..

Яшумов что-то бормотал, успокаивал. Говорил, что приедет. Прилетит. Ближайшим же рейсом! Алёна!

Но женщина уже не плакала, говорила, видимо, вытирая слёзы:

– Нет, Глеб. Не нужно тебе лететь. Извини, что позвонила. Что грузу тебя. Но у меня нет ближе тебя никого. А друзей здесь у меня нет. Всех оставила, растеряла в России. Извини меня, дорогой. И на наш с тобой телефон зря позвонила. Думала, что ты ещё дома. Жанну только взбаламутила. Не говори ей ничего о смерти. Это ей не нужно совсем. В её положении. А уж я как-нибудь сама...

Женщина опять заплакала:

– Упал, Глеба!.. Мне рассказали... Прямо со скрипкой... На пол... Все вскочили. Никто не знает, что делать... А он лежит... на полу... прямо на скрипке... Как разбитое сердце своё зажал. Спрятал от всех! Глеба!..

– Ну успокойся, нельзя так, не надо, Алёнка, я же хотел, я всегда, не надо, прошу тебя...

Держал погасший телефон перед собой, словно не верил услышанному.

Голубкина при виде главного редактора поднялась со стула – лицо Глеба Владимировича было белым, а нос-картошка красным.

– Глеб Владимирович, у вас несчастье?

– Да, Галя, несчастье, – сел за стол, ничего не видел на нём Яшумов. – У близкого родного мне человека. Сегодня давайте отложим, Галя. Завтра. Завтра с утра приходите.

Голубкина взяла свой блокнот и ручку, сказала «до свидания» и тихо вышла.

Однако почти сразу возник в дверях Михаил Гриндберг. Похожий на гордого орла в очках. С папкой под мышкой.

– Завтра, Миша, завтра приходите, – поднял бессильную руку Яшумов.

Гриндберг сразу потупился. Стал орлом застенчивым. Удерживал папку обеими руками. Лапами. Внизу живота.

Ни слова не сказав, попятился. Пропал.

Вечером опять стоял Яшумов на мосту о четырёх львах. В культовом своём месте. Куда приходил и в радости, и в печали. Всё так же проносились внизу вспыхивающие пузыри. Окна вечерних домов походили на теплящиеся могилы.

Жалко было Алёнку до слёз. Бедного Дитриха её не знал, не видел, ни разу не разговаривал даже по телефону. Родители его были то ли из Поволжья, то ли из Казахстана. Может быть, поэтому парень мало походил на расчётливого немца. Не лез никуда, не копил, не делал карьер. Лет пятнадцать назад, как прошёл конкурс в оркестр на третий пульт первых скрипок, так и просидел за третьим пультом, не стремясь подняться выше. Хотя скрипачом, по словам Алёны, был сильным, и мог бы стать концертмейстером оркестра. Не случайно, наверное, они нашли там друг друга. Оба с несмываемыми клеймами пожизненных русаков. Хотя были и другие охотники на концертную денежную корону Алёны Ивановой. Были. И в самом оркестре, и вокруг него, в музыкальной тусовке. Но – нет. Дитрих. Простоватый, не практичный, по мнению настоящих немцев, малый. Большая квартира в Мюнхене с неба ему упала. Не от родителей даже с Поволжья – от двоюродного деда. По завещанию. Настоящего немца. Крупного предпринимателя. В его квартире, как оказалось, очень страдали потом молодые муж и жена, когда потеряли свою дочку. Которая родилась больной и года даже не прожила. О здоровье самого Дитриха Алёна не говорила. Может быть, и вполне здоровым был. И вот – умер. Умер в одночасье...

Яшумов всё смотрел на бегущую воду. На отражённую, слезящуюся на воде луну.

Дома в кухне была только Анна Ивановна. Как всегда не услышала хлопнувшей двери. Однако воскликнула:

– Ой, смотрите скорей! Животики надорвёт!

В телевизоре Жанны (без Жанны) хозяйничали старые барбосы и болонки с кудельками. Артысты давно погорелых театров. Словно с боем прорвались они в телевизор Жанны. Что-то там вешали, смеялись от своих же шуток, веселили молодёжь в студии.

Потом один барбос и одни морж с усами предались сладким воспоминаниям. «А помнишь, как он... А помнишь, как она...»

И опять тяжело было смотреть. Господи, ну зачем вылезают, зачем? Ну сидели бы дома, с внуками, с правнуками. Выращивали бы цветы. Какую-нибудь картошку. Но – нет. «Снова туда, где море огней». Словно из последних сил. На костылях, на колясках. Обгоняя друг дружку. Отталкивая. «Будь смелей, акробат!» Господи-и.

Яшумов сидел перед оставленной ему едой, прикрытой полотенцем. Потом снял полотенце, стал есть. Даже не помыв рук. Коротко, дико улыбался теще, когда та со смехом поворачивалась. Мол, тоже животики надрываю, не беспокойтесь.

Пришла из ванной жена. В махровом халате, с султаном на голове. Мазала руки кремом. Молча взяла пульт и прекратила безобразие в своём телевизоре. Не обращала внимания на замахавшую ручками мать.

Спросила у мужа:

– Дозвонилась до тебя Алёна Ивановна?

Муж сказал, что дозвонилась.

– У неё что-то случилось? Она в порядке?

Хотелось сказать «она в полном порядке». Сказал:

– У неё умер муж. Дитрих.

– Да ты что! Как? Когда? – Чувствовалось, что женщина испугалась за Алёнку. Сама напугана, не верит.

– Вчера. В одночасье.

Яшумов коротко рассказал обо всём случившемся. Пошёл к себе. В кабинет.

Дочь и мать замерли. Опять.

Анна Ивановна оживилась:

– А как это – «прямо за пультом»? Доча? На электростанции, да? Электриком он?

– Оставь, мама!

4.

...С утра на планёрке опять наехал Купцов. Опять при всех опустил. Поэтому дождался обеда, примчал Пшёнкину к себе домой, установил и жёстко отыгел. Стало легче.

Лежал руки за голову. Толкнул застывшую любовницу:

– Да ляг ты, ляг! Мало, что ли, тебе?

Пшёнкина на коленях медленно повалилась. На бок.

Подтянул ноут, хотел в игре изничтожить Купцова. Догнать – и взрывами, взрывами: на тебе, гад, на!

Вдруг увидел в работающем телевизоре Яшумова и Акимова. (Что за хреновина!) Сидят где-то на сцене, за столом, только двое, а перед ними головы с затылками рассыпались.

Бросился, схватил пульт, дал звук:

– ...Наряду с известными авторами, о которых я вам рассказал, в этом году у нас будет широко представлена и талантливая молодёжь. Голубкина Галина, Гриндберг Михаил...

Анатолий Трофимович больше молчал, а говорил длинноволосый козёл. Всё нахваливал Гриндберга и Голубкину.

Пшёнкина уже прилипла к боку. Пояснял ей:

– Счас, счас! Обо мне будет говорить. Смотри, слушай!

Но козёл за столом, оказывается, уже пошабашил. Уже складывал бумаги. О «Войне Артура», об авторе «Войны Артура» ни слова, ни звука. Это как?

Анатолий Трофимович придвинулся к нему и что-то сказал тихо. Но тот только плечом передёрнул: дескать, отстань.

Тогда Акимов не растерялся, взял микрофон в свои руки и сам начал говорить в него:

– Глеб Владимирович забыл упомянуть ещё одного нашего молодого автора. Это Виталий Савостин с романом «Война Артура». Обязательно обратите внимание на дебютный роман этого талантливого перспективного автора.

А козёл, главное, надулся и продолжает собирать свои бумаги и книги на столе. И ни слова в поддержку Анатолию Трофимовичу. Вот гад так га-ад.

Пшёнкина Валентина поняла только, что двое эти из издательства Виталика, но кто из них кто – не разобрала. Поэтому просто успокаивала:

– Ерунда, Виталик, забей, прорвёшься.

Но любимый уже не смотрел на экран. Мрачный, сидел на стуле и качал большую гантель. Качал, как небывалой силы и веса свой прибор. Готовил себя к чему-то.

Залюбовалась.

Из Дома книги Яшумов и Акимов вышли врагами. Акимов кипел:

– Как вы не можете понять, в конце концов! Савостин – это Восковой. А Восковой – это губернатор. Все наши гранты, пресс-конференции – это из-за Савостина. Через него. Никакие ваши гриндберги и голубкины не получили бы ни черта! Если бы не он. А? Неужели это трудно понять! Он же выигрышный наш билет. С ним мы попали в струю. Восковой выделил нас из десятка таких же издательств. Издыхающих. Неужели трудно понять это!

Яшумов молчал.

– Ну чего вы взъелись на него? Чем он хуже вашей Голубкиной? Чем? Тем более Плоткин его причесал. Сказал мне, что книга пойдёт, будет даже иметь какой-то успех. А?

Яшумов сказал наконец:

– Извините меня. Я не могу поддерживать графоманов. Не могу переступить через себя. Знаю, что мне придётся уйти из редакции... но не могу... Извините.

Яшумов повернулся. Поддёрнул тяжёлую сумку на ремне, набитую книгами, пошёл.

Акимов тоже пошёл. В другую сторону. Ругался. Матом. Нет, к е... матери из издательства! Плоткин подойдёт. Плоткин будет плясать как надо. Только Плоткина теперь.

Акимов не замечал встречных людей. Ноги, как чужие, ставились неуверенно. Давление давило голову. Из-за этого упрямого придурка. Вытирался платком. Нет, ты посмотри какая дубина! «Не могу переступить!» Я тебе покажу...

В редакции все видели пресс-конференцию. По окончании её сразу поняли, что Главный может пострадать. И серьёзно. Плоткин уже метался, срочно сколачивал группу. В защиту главреда. Все уже помахивали кулаками. Предварительно. Репетировали. Не дадим в обиду! Не позволим!

Сразу окружили Яшумова, как только тот появился. Ну, как, Глеб Владимирович? Как? Рассказывайте!

– А что, собственно, господа? Мы представили вышедшие книжки и сказали о молодых. Вот и всё.

– Ну как же, как же! – наседали Колобов-программист, в последнее время ставший слишком активным. Как забытое всеми магнитное поле. – Вы же припечатали его. Ну Савостина. К позорному столбу. Вы же дёрнули плечом!

– Это вам показалось. Всё прошло хорошо... Работайте, господа, работайте.

Главред пошёл в кабинет.

Не поверили ему. Всё берёт на себя. Все удары. Как всегда. Никого не хочет подставлять. Точно. Плоткин не выдержал, побежал к Акимову. Один. Долго доказывал:

– ...На нём же вся редакция держится. Он же редкий профессионал. Где вы найдёте в наше время такого, как Глеб Владимирович? Где?

– Дурак ты, Плоткин, честное слово. Я ведь тебя поставлю вместо него. Неужели не понял?

Плоткин поблел:

– Да вы что! (В своём уме?) Да я же сразу уйду. И вся редакция уйдёт со мной! (Если посмеете тронуть Главного.)

Акимов смотрел на дурака. На редкого. На дурака еврея.

– Ладно. Я ничего не слышал от тебя. Иди работай. И всем скажи. Защитники нашлись...

Плоткин выпал прямо в объятия группы. Ну, ну! Что он сказал, что!

– Порядок. Теперь не посмеет. Пришлось сказать ему. Пару ласковых.

Повели как героя. Словно бы в цветах, в аплодисментах. («Ура! Навалял Пузырю!») Повели в пустую редакцию. Где осталась только Зиновьева. Как всегда. Возле стула торчала. Схватившись за него. Штрейкбрехерша чёртова!

Между тем Яшумов будто и не подозревал, какие страсти кипят вокруг его имени. Довольно спокойно сидел у себя, решив ещё раз подправить рукописи Голубкиной и Гриндберга. Любимцев своих. Оставить память о себе. Перед тем как окончательно вышибут из издательства.

Дома вечером удивился – его встретили предупредительно и даже с почтением. В гостиной был накрыт стол. Анна Ивановна и Жанна, приодевшись, сновали вокруг салатов и расставленных приборов.

Фёдор Иванович тоже был в новом костюме. Однако встретил зятя почему-то задрожавшим голосом:

– Молодец, афганец. Видели тебя. В телеке. Хорошо жажнул.

Фёдор Иванович отвернулся и даже смахнул слезу.

– Ну-ну, Фёдор Иванович, успокойтесь.

– Ых-хх! – спрятался на груди у зятя Фёдор Иванович.

5.

Глаза устали читать. Снял очки и сдвинул двумя пальцами переносицу. Так всегда делал отец, чтобы взбодрить зрение. А читал он много. И свои работы, и работы коллег. Без очков веки его были красными. «Вот, полюбуйтесь, Куриная Слепота пришла, за стол садится», ругалась мама во время обедов. Сразу подсовывала ему морковный сок. И сама постоянно натирала и отжимала морковь, и Арину Михайловну заставляла. «Куриная Слепота» посмеивался, но безропотно пил. Помогало это мало. В последний год свой стал видеть совсем плохо. Но всё равно умудрялся читать. С толстой линзой у склонённой головы походил на глубинную рыбу с большим глазом. Что-то там рассматривающую на дне. «Могила исправит», говорила с досадой жена. Могила «исправила».

Привычно Яшумов осматривал стол, за которым сидел. Стол отца. Реликтами остались на нём только пересохший пластмассовый плоский прибор с двумя чернильницами, перо-вставочка (отец писал, исключительно такая им) и мощное пресс-папье. Былого тотального отцовского порядка на столе давно не осталось. Теперь здесь царил полный бардак. Бардак сына. Найти в котором нужно было сложно. Частенько ругался непонятно на кого, перекидывая папки и листы.

С тоской смотрел на гения порядка. На портрете на стене. Где тот был снят в мантии и квадратной шапочке с кисточкой. Где он смотрел свысока. Как кронпринц науки, по меньшей мере.

Умер бедный во сне. «Без проблем», как тихо сказала закаменевшей матери на поминках подруга её, виолончелистка Кургузова. «Он ведь гипотоник у тебя был. А гипотоники живут долго и скверно. Вот Бог и пожалел. Прибрал по-тихому. Без проблем».

Покорболо тогда от услышанного. И это сказала верная подруга матери. С буреломом на голове, прихваченным чёрной повязкой. Но мама, походило, не услышала её слов. Вся в черном, сидела отрешённо. С остановившимся взглядом. Никого не видела за столом. Ни стареньких профессоров, которые, казалось, пришли на поминки только для того, чтобы тоже дожидаться своего часа, дожидаться на людях, ни их вечно надутых обиженных жён, ни молодых голодных аспирантов, которые хорошо налегали на водку и закуски после промозглого кладбища...

В отличие от отца, мама никогда не носила очков. Даже в старости. Хотя слово «старость» вряд ли ей подходило. Работала в оркестре до последнего своего дня. До последнего своего часа. Умерла, как и муж. Только не в постели, а в гримёрной за столом. Точно уснула на нём на своих руках. Рассыпав ноты оркестра, которые не успела раздать. Сама в концертном платье, с диадемой в волосах...

Кларнетист Коцев рассказывал потом Яшумову, как всё та же Тамара Кургузова пыталась оживить подругу. Сразу упала на колени и стала толкать в грудь, дуть в рот. Но всё оказалось бесполезным – Надежда Николаевна лежала бесчувственной куклой, и упрямую плачущую Кургузову просто оттащили от умершей... Все стояли над Надей и не верили, что она умерла... Ну а потом, как всегда с опозданием, примчалась скорая. Врач которой только констатировал смерть...

Забыл про книгу, которую читал, про очки в левой руке, Яшумов смотрел на портрет матери, висящий неподалёку от отца. Глаза заволакивало туманом. Достал платок, протёр глаза.

Надежда Николаевна была снята фотохудожником в полуанфас. Склонённая голова, глаза задумчиво смотрят перед собой. Раньше казалось, не музыкант даже, не скрипка задумчиво смотрит – женщина-поэтесса. Ахматова по меньшей мере. Цветаева обдумывает свои стихи... Теперь при взгляде на портрет виделось другое – мама давно смирилась с судьбой, думает о неизбежности своей смерти, чувствует её приближение...

Снял очки, опять вытирал глаза.

Потом Яшумова позвали ужинать, и он сидел за одним столом среди чужих людей. Которые давно хозяйничали в его доме, давно, как сами говорили, «прописались» в его квартире. Вполуха слушал «надрывшегося» сегодня тестя, который бахвалился, какой он справный, хозяйственный мужик, купил целый баллон краски всего за 200 рублей. И кисть малярную вдобавок выцганил. Слушал хитренькую тещу, у которой только одна задачка: раскрутить пентюха-зятя по полной, и всё для любимой дочи, для будущего своего внука. Смотрел, наконец, на свою любимую. Само-

довольную, самовлюблённую женщину, которая, казалось, никого никогда не любила и вряд ли полюбит. Правда только если будущего своего ребёнка.

Опять возникала риторика без ответа: что было бы, если бы мать и отец вдруг внезапно воскресли и увидели этих людей за своим семейным столом? В своей квартире? И сына вместе с ними? Одобрили бы они такой уход его в народ?

– Что приуныл, афганец? Пер... веселей!

Ночью держался за живот храпящей жены как за спасительную гору. Как за Афон, по меньшей мере. Будто отступник, который страстно хочет вернуться на праведный путь.

Из коридора в поддержку ему бомбил апостольский храп, перемежающийся со всхлипами и верещаниями ангела.

Утром Яшумов раздольно, эпически пел, аккомпанируя себе на пианино:

...По диким степям Забайкалия...

Призывал, дирижировал остолбеневшим колпинцам одной рукой. Ну же, пойте:

...Эгыде золото роют в гора-ах...

Съехал. Точно. Слетел с катушек!

Глава десятая

I.

«Не-ет! – опять кричал во сне Яшумов. – Я не Почта Банк! Я редактор Яшумов! Не-ет!» Но братки из 90-х подступали: «А почему ходишь в куцем пиджачке и ноги ставишь циркулем, типа буквой Хэ? А? Отвечай!» «Это он! Он! – кричала толпа обманутых вкладчиков, размахивая депозитами. – Он, гад! Почта Банк! Поработайте с ним, пожалуйста, поработайте! Как он с нами!» И братки начали работать. Работать на совесть. «Не-ет!» – всё кричал, вырывался Яшумов. Он же – Почта Банк.

Толпа через какие-то мгновения – отхлынула: Почта Банк был весь в лохмотьях, в резаных лентях. Он плакал: «Гады, я не Почта Банк...» И голые ноги уже не стояли циркулем. Были тонкими, жалкими. Братки отворачивались. Не могли смотреть на него. Им было стыдно. Такой косяк!..

Яшумов вскинулся на постели, сел. Жанна храпела, охватив живот обеими руками. Как будто недовольно выговаривала животу. Осторожно тронул за руку: «Повернись на бок». Не выпуская живота, повалилась лицом к стене. Заговорила в стену. Теперь как будто Яшумову выговаривала. Что он потревожил живот. Яшумов медленно лёг на спину.

Шёл ноябрь месяц, последний месяц беременности жены. Уже подходил, надвигался день и час икс. Яшумов не мог представить, что будет делать, как вести себя в этот день и час. Душа обмирала. Одна надежда на Анну Ивановну. Которая посвистывает себе сейчас из коридора. Свободной пташкой. Без баса своего профундо. Которого всё время отправляет в Колпино. *На хозяйство*, как говорит. Чтобы следил там за *курами*. За боровом Гришкой. И муж сначала с радостью едет домой. Но деньги, какие жена выдаёт на жизнь, быстро спускает. И вот уже опять на пороге возник, похмельный, виноватый. «Ну как она, афганец, как?» Не дочь даже беременная, нет – *жана!* Его сразу гонят в комнату няни и начинают там... А что начинают там? Драть за волосы? За остатки волос? Впрочем, это Бог только знал.

«Яйца приходится теперь одни кушать», – говорил он культурно и доверительно за столом афганцу. «Не понял вас, Фёдор Иванович». – «Ну яйца, из-под курей». Яшумов всё равно «не просекал». «Ну даст пятихатку на неделю – и как хочешь. За бутылкой пару раз сбегашь, и одни яйца потом только кушаешь. В электричке потом – только зайцем. А сюда к вам – как погорелец. Пешком. С пустой котомкой. На метро даже нет». «Не вздумайте денег ему давать, Глеб Владимирович!» – пронеслось мимо. А? Афганец? А ты говоришь. «Теперь перед глазами круг с самолётками у меня всё время дрожит. Гальваника». – «Я тебе покажу гальванику! Ну-ка ешь давай!».

Анна Ивановна везде поспевала. Когда зять вдруг с испугом начинал смотреть на живот жены (живот, казалось, уже подпёр не только грудь, но и горло) – поспешно успокаивала. С полным правом переходила на ты:

– Ничего, зятёк, ничего, не волнуйся. Как-никак я двоих рожала. Знаю, что и как. Так что... – Сказать, как муж: «пер... веселей» – не могла. Искала синоним. Нашла! – ...так что гляди веселей, зятёк!

Но Яшумов почему-то не очень верил уже в её знания и навыки. И особенно тогда, когда переводил взгляд на мужа её, на Фёдора Ивановича. Который хотя и отощал в Колпино, но по-прежнему ничего не ел сейчас за столом. У которого всё летали «самолётики» в глазах. «Гальванические, афганец, гальванические!»

В интернете вечером долго изучал, как оказать первую помощь беременной. При начавшихся схватках. Что нужно делать домашним, как не растеряться, не упустить время. Момент.

Но странно – везде писалось только о действиях самой беременной. Как она должна дышать при начавшихся схватках, какие положения принимать, чтобы облегчить боль. Даже как следить по будильнику за периодичностью этих схваток и... записывать (!) их. Даже успеть собрать сумку для роддома. С документами, своим полисом. Даже резиновые тапочки не забыть положить! Бутылку воды (без газа)! Даже мобильник. Зарядное устройство! И всё это она – одна. Сама.

О муже, тем более о родителях её – не говорилось ни слова. Нигде. Просто она – самостоятельная родильная машина. Рожаящий спортивный экстремал.

В одном месте, правда, вскользь было сказано, что кроме скорой и такси в роддом её может отвезти и муж. Если у него есть машина. Если он... *адекватен и чувствует себя хорошо.*

Это юмор такой медицинский? Или это всерьёз?

На другой день на работе рассеянно слушал Плоткина и всё думал: а он сам, Яшумов, адекватен? «И будет чувствовать себя хорошо»? Когда жена начнёт стонать, охать и сгибаться? Впрочем, машины своей у него никогда не было. И значит, тест на адекватность и хорошее самочувствие проходить ему не нужно. В роддом жену повезут другие. Адекватные. И в отличном настроении.

Вечером по дороге домой зашёл в супермаркет и выбрал крепкую сумку, типа хозяйственной, с несколькими карманами на молниях внутри и снаружи.

– Где твои документы? – спросил дома у жены.

– Это зачем ещё?

– Ты должна собрать сумку беременной. Вот она, эта сумка. Давай документы. Паспорт, страховой полис, твою обменную карту.

Каменская, показалось, о сумке беременной услышала впервые. Однако сразу прониклась к ней уважением. Быстро находила всё и подавала мужу. Муж раскладывал по карманам сумки. От себя добавил купленные резиновые тапочки и большую бутылку воды. Без газа.

– Для чего?

– Надо. Узнаешь, – закрывал молнии муж. Строго спросил: – По-собачьи дышать умеешь?

– Нет, – испугалась Каменская. – А зачем?

– Чему вас только учат в консультации... Смотри и слушай...

Анна Ивановна и Фёдор Иванович не поверили глазам своим: зять ползал возле тахты и дышал, как бобик в жару. При этом хватался за поясницу, стонал и вскрикивал. Изображал схватки беременной. И снова дышал как обезумевший бобик.

– Поняла?..

2.

На работе ждало приятное событие – с курьером типография прислала сигнальные книги Галины Голубкиной, Михаила Гриндберга и, конечно, Савостина. (Без него же – никак.)

Все сразу окружили Главного. Подсовывали ему книжки. Как маленькому, как имениннику, наперебой объясняли:

– Смотрите, смотрите, Глеб Владимирович! Артур с пулемётом! С пулемётными лентами! Черепок как у неандертальца. Но зато с челюстью! Глеб Владимирович! Гербов постарался! (Гербов прикладывал руку к груди, благодарил.) А это Гали Голубкиной! Смотрите, смотрите! Нормальная обложка. Заливной луг, березовая роща. Солнце светит. Как из Галиной души. А вот Гриндберг, Гриндберг! Миша! Глеб Владимирович! Смотрите!..

Плоткин ликовал. Однако сбежал и чуть не за шиворот притащил Акимова. Тот только хмурился сначала. Потревоженный, выдернутый из кресла. Как известно, просто сосед с грандиозным кабинетом. Ни он никому не мешал. И ему не мешал никто. (Дневать и ночевать в кресле.) Но тоже проникся – принял в руку довольно толстый савостинский том. Покачивал, прикидывал вес. И обложка понравилась. «Только красного, на мой взгляд, много. Крови на ней. Надо было бы убавить», – повернулся к художнику Гербову. Тот только руки развёл: материал, Анатолий Трофимович, материал такой. Мол, против *матерьяла*, сами знаете, не поспрёшь. Да уж, пришлось согласиться Акимову.

Никто, конечно, не работал. Уже позвонили Голубкиной и Гриндбергу. На удивление, Гриндберг притащил в сумке шампанское. Целых три бутылки! Сразу начали стрелять, наливать. Сдержанная Голубкина, ставшая неузнаваемой, лезла, целовала Главного. Тот отстранялся, но был польщён. Гриндберг танцевал смурной нелепый танец. Все смеялись. Только Акимов хмурился. Отставил бокал, набрал Савостина:

– Виталий Иванович? Приветствую! (Все разом замолчали.) Вам придётся сегодня сплясать у нас. Книга ваша вышла. Вот она. Я держу её в руках. Подъезжайте. Ждём вас...

Измученный и вдохновенный, в редакции Виталий Савостин увидел картину, которая называлась «Никто не работал». Все ходили с бокалам, кучковались, смеялись, чокались. Никто даже не повернул голову к вошедшему. Вот козлы так козлы-ы. И как тут быть писателю, автору? Акимов подошёл, сунул шампанское и стал водить как новичка какого, салагу. Чтобы чокались с ним, Савостиным, автором «Войны Артура». Однако один только Колобов похлопал по плечу и чокнулся. Как бы от души: «Молодец, писатель!» Но почему-то опять смеялся. Вот прямо заходилась от смеха. Нажрался, что ли, уже?

Савостин хотел было к Главному, с бокалом, ну чокнуться чтоб – тот будто не заметил, отвернулся. Даже плечом будто опять передёрнул. Как тогда, на сцене. За столом. Вот гад. И всё к Голубкиной своей, к Голубкиной лезет, козёл. Натурально хочет вставить. При всех!..

Когда сабантуй закончился, и благодарные авторы ушли, и Савостин за ними, злой, неоценённый – Плоткин, уже в кафе, опять ликующе сказал:

– Ну всё, Глеб Владимирович, Петуха мы больше не увидим. Никогда!

Однако патрон, закусывая, был скептичен:

– Не знаю, не знаю. На подходе, Григорий Аркадьевич, наверняка уже «Артур 2». А там, глядишь, и «Макс 3» родится.

Смеялись до слёз. До едких слёз. Размахивали над едой вилками.

– А там, глядишь, и другие писатели губернатора подтянутся, – добавил Плоткин. – А, Глеб Владимирович?

И снова закатывались.

Получив бесплатно свои авторские экземпляры, Савостин купил ним ещё триста штук. И вроде бы и правда из редакции исчез. В последующие дни не появлялся. Но что это навсегда – не верилось. Должен он появиться снова, должен.

3.

28-го ноября как всегда обедали в кафе. В плазменном висящем телевизоре показывали Невский проспект. Идущую по нему густую дневную толпу. Снятую с высокого ракурса. Стандартного. Когда кажется, что люди не идут, а толкуются на месте.

Плоткин вдруг сказал:

- Когда вижу столько идущих разом черепушек, мне становится не по себе.
- Это почему же? – улыбнулся Яшумов, отрезая от сосиски.
- Да ведь в каждой сидит целый мир, целая вселенная.
- И что же в этом плохого? – всё улыбался Яшумов.
- Да как «что», как «что»! Ведь все эти мирки в черепушках эфемерны, ненадёжны. При-

зрачны.

– ?!

– Дадут тебе по башке – и всё. Улетит твой мир, твоя вселенная. И вот представьте теперь, таких черепушек идут сейчас миллионы. Они так же идут сейчас в Буэнос-Айресе, в Нью-Йорке, в Мельбурне, в Шанхае. А? Представили?

– Вы хотите сказать, что жизнь наша ненадёжна, эфемерна, как вы выразились.

– Не жизнь, Глеб Владимирович, не жизнь как таковая. А мирки наши в черепках, мирки, все-ленные.

Яшумов задумался. Почему-то неприятно стало от услышанного. «Мирки в идущих черепках». Сказал:

– Что-то вас сегодня не туда повело, Григорий Аркадьевич.

Опять по гололёду возвращались в редакцию. У Яшумова ботинки с толстыми рифлёными протекторами держали лед, почти не скользили. У Плоткина ноги разъезжались, он постоянно сдвигал их, и дальше мельтешил как балерина. И всё же умудрялся курить. Словно помогать себе дымом.

Возле издательства с облегчением бросил окурок в урну. Он дошёл, благополучно. Но на крыльце ноги его вдруг взмыли вверх, и он как-то боком хрястнулся о ступени и скатился на асфальт. Сразу схватился за колено и застонал:

– Вот, накаркал. Черепушка цела, а ногу, кажется, сломал.

Яшумов посадил его. Прямо на асфальте, на льду. Плоткин по-прежнему держал колено и раскачивался.

Яшумов бросился в редакцию за подмогой. Выскочил назад с раздетым Гербовым. Вдвоём подхватили, занесли поджавшего ногу Плоткина на крыльцо, поставили на здоровую ногу и осторожно завели пострадавшего внутрь.

При виде скачущего бой-френда, ведомого под руки, Зиновьева встала и схватилась сзади за стул обеими руками. Точно хотела улететь, исчезнуть.

– Я в порядке, в порядке, – стандартно бормотал ей Плоткин.

Прямо в пальто его усадили в компьютерное кресло (он сразу развалился в нём), стали вызывать скорую. Набирал в телефоне Яшумов. Остальные склонились над беднягой. Женщины держали его за руки, гладили.

Плоткин больше не стонал, но веки его от боли сжимались.

Зиновьева вдруг стала икать. Отворачивалась, выдёргивала платок, зажимала рот. Но её, как расплывчатый фон, не видели.

Скорая приехала довольно быстро. Плоткина понесли как настоящего пострадавшего – лежащим на носилках. Все редакционные шли вместе с ним, провожали. Где была в это время Зиновьева – неизвестно.

В скорой с больным поехал Яшумов.

В травмпункте сидел в пустом коридоре. На диванчике. Рядом с одеждой Плоткина. Пришлось снимать и верхнюю, и нижнюю. Поддерживаемый санитаром, Плоткин усакал за дверь без обуви, без брюк, в трусах в цветочек.

Яшумов долго ждал. Вставал, ходил. Рассматривал на стене серьёзных плакатных людей (людей на одно лицо), которые были с переломами ног, рук, с наложенными шинами. Но удовлетворёнными – они получили первую помощь.

Плоткина в трусах вывели. С носком на одной ноге и гипсом по колено на другой.

Традиционный тревожный вопрос из сериала:

– Как он, доктор? Что у него?

Плоткин сидел безучастный ко всему. Обколотый анальгетиками.

– Трещина кости, – ответил врач. – Придётся посидеть ему дома месяц-полтора. Вот вам рецепты и памятка, где расписано, как ухаживать за больным, что ему принимать. Купите сразу костыли. В нашей аптеке всё есть.

Яшумов традиционно горячо благодарил врача. Принялся одевать больного. Долго возился со штанами и ботинком, который никак не надевался на здоровую, но безвольную ногу.

Побежал в аптеку на второй этаж.

Плоткин в пальто и вязаной шапке остался сидеть как пьяный – наедине с собой.

Минут через десять Яшумов уже понукал:

– Ну-ка, давайте-ка, Григорий Аркадьевич. Бодренько, бодренько, на одной ножке.

Скукожившийся в пальто Плоткин на костылях висел, но шевелил «одной ножкой» бодренько. Переставлял её по коридору на выход, почти не качаясь. Загипсованная нога торчала из надрезанной штанины белой клюшкой. Яшумов с пакетами лекарств и вторым ботинком в газете метался, страховал.

К Плоткину добирались на такси. Куда с гипсовой ногой еле влезли.

Ида Львовна, увидев сына на костылях, попятилась, но автоматически воскликнула:

– Опять накурился!

– При чём тут это! – истерично пропищал сын. – Я не курил. Несколько часов, мама!

С ним спорить не стали, забрали костыли, раздели на диване и осторожно отвели в спальню, где и положили на кровать. Несчастный вскоре забылся, свесив здоровую ногу на пол, а гипсовую с подушки нацелил прямо в фотопортрет на стене, где был запечатлён кучерявый мальчишка, который прижал к своей щеке голубя. Гордого голубя с длинным клювом.

На кухне Яшумов пил чай. Рассказывал, как всё произошло. Старая женщина, казалось, не слышала Яшумова. Глаза её с болью метались. Яшумов, как мог, успокаивал. Трогал женщину за руку.

Она заплакала, наконец, в прихожей, когда провожала его, спасителя сына.

– Ну-ну, Ида Львовна. Успокойтесь. Всё будет хорошо. Гриша быстро поправится. Он у вас молодой. Молодой молодец, Ида Львовна.

Старая еврейка зарыдала на груди у молодого мужчины. Относительно молодого.

Яшумов долго стоял на набережной. В Мойке под луной и звёздами кипела чёрная вода.

Повернулся, чтобы идти домой, и увидел Зиновьеву. Лида с Яриком спешила к арке во двор Плоткина. Что называется, тайно, под покровом ночи.

Сам пошёл. В другую сторону. Невольно думал: странно вела она себя сегодня. Когда увидела беспомощного коллегу. Когда того тащили. Испуг, брезгливость, сострадание – всё разом на побледневшем лице. Очень странные отношения мужчины и женщины.

– Где опять завис? – встретили недовольными словами. – Что на этот раз?

Раздевался. Начал было рассказывать про Плоткина, про его несчастье, про травмпункт...

Но его прервали. Чуть ли не криком:

– А ты обо мне подумал? А? Не о Плоткине – обо мне! Мама с папой в Колпино, режут Гришку, а я тут... а я тут одна... В любую минуту может начаться... – Железная женщина заплакала.

– Ну, ну, дорогая. Успокойся, успокойся. Я с тобой, – обнимал, гладил. Уже вёл в кухню. Усадил на стул: – Какого «Гришку»? Зачем?!

– А вот спроси у старых дураков! «Поедем – и всё. Пора резать. Если что – муж справится. Ты не бойся, доча. Он теперь учёный у тебя. В женскую консультацию ходит, обучается».

– Ну, ну. Успокойся.

В женской консультации и был-то всего один раз. И тут же второй раз с самой Жанной. А колпинцы дремучие уже ехидничают. Но... но что, если бы и правда у жены всё началось. Пока он находился с Плоткиным?..

Жаром сразу обдало. Даже вспотел. Однако и Анна Ивановна хороша. Вот тебе и «доча» её постоянное. Заботливое, ласковое. Гришку колоть пора. Резать. Понимаете? Ни дня нельзя ждать. Ножи срочно нужно точить. Сабли для Гришки. А ты справишься, афганец. Справишься. Пер... веселей!

4.

Ночью долго не мог уснуть. Таращился в меняющийся от света машин потолок. Жена не храпела. Отвернувшись к стене, казалось, тоже ждала, затаилась.

... – Вы что – сектант? – прямо спросили в женской консультации, куда сам, наконец, пошёл. Пожилая врач в белом халате и шапочке смотрела сердито.

– Да что вы такое говорите, доктор! – Изобразил даже возмущение. Всё время косился на пыточное кресло. На пыточную женскую дыбу. Стоящую всего в двух метрах от стола женщины. Как доказательство. Как громоздкий вещественный диплом профессионала-палача. Вернее, гинеколога. Извините.

– Да ваша жена была всего два раза у меня. Два раза! За девять месяцев! Нам что, за уши её сюда тащить?

Женщина смотрела на некрасивого мужчину с длинными потными волосами. Точно – сектант! Бросила карту с данными Каменской опять на стол:

– Так мы тащить не будем. Сейчас не советское время. Теперь – как хотите. Можете рожать хоть в своей ванной. Головастики в воде разводить. Можете хоть кверху ногами.

Принялся мягко объяснять. Успокаивать возмущенную женщину:

– Понимаете, доктор. Жена очень подвержена влиянию родителей. Особенно матери. А они у неё – глубоко верующие люди. Ходят не к врачам, а к бабушке. Консультируются, если можно так выразиться. А что уж тот им напевает в уши – можно только догадываться. Поэтому так и получилось. Но я готов исправить всё, готов пройти у вас обучение. И по возможности полное.

– Эко хватились когда! – смотрела врач на оптимиста. На оптимиста с бегающими глазами. Потом стала всё же рассказывать *о действиях мужа* в час икс. Дала брошюру.

– У вас будет мальчик. УЗИ показало.

Обрадовался, ахнул. Благодарил как ненормальный. Хватал её руки, тряс.

– И ещё. Везите жену в восемнадцатый роддом. Это хороший роддом и недалеко от вашей улицы. Тоже в центре. У вас есть родовой сертификат?

– Нет. А что это такое?

– Так, понятно. Сейчас же поезжайте домой и привезите ко мне жену. Со всеми документами, которые у неё есть. В сопровождении бабушек, матушек, кого угодно, но привезите. Немедленно. И деньги. Одиннадцать тысяч рублей.

Сразу выскочил за дверь.

Дома встретили в штыхы:

– Да не поеду я куда! Какие ещё сертификаты! Да ещё одиннадцать тысяч?

Закричал:

– Нет поедешь! И немедленно!

Весь дрожал, чувствовал «испепеляющие молнии из глаз»!

Опустила голову. Сдалась. Стала искать одежду, переодеваться.

В кабинете у гинеколога сидела, как подсудимая на допросе, припёртая к стенке. Следователь в белом халате ходила, разоблачала, стыдила. Как и Яшумов час назад, провинившаяся смотрела на гинекологическое кресло. На стул антихриста, как всегда говорит мама. Ладно, хотя бы сейчас не придётся взбираться на него. Осмотрят на кушетке.

После осмотра, после всех наставлений врача, после оформления сертификата и расчёта за него – ждали такси возле здания консультации. Не хотел, но спросил:

– Почему ты не сказала мне, что прошла здесь УЗИ? Два месяца назад? Что будет мальчик? Что он уже есть, Жанна! Почему?

– Ничего я не знаю, ничего я не проходила, – как могла, защищалась Каменская. – Что я скажу теперь папе с мамой? Когда они узнают об УЗИ?

Значит, бегала на исследование втайне от родителей. На «дыбу» они ещё позволили дочери. И то – один только раз. «Слышишь, доча? А уж дальше – ни-ни. Грех!»

Вот такие суеверные идиоты. И дочка такая же...

Всё это было неделю назад.

Опять таращился на чёрный потолок. Ночь тянулась бесконечно...

Толкнули под утро. Когда еле светало. Толкнули грубо. Ногой. Но сразу вскинулся:

– Что, родная, что?

– Кажется... началось...

Лежала на спине, охватив живот. Прислушивалась к себе.

Застонала, повалилась на бок.

– Спокойно, родная, спокойно. – Уже включил ночник. Уже тянул жену на край тахты, чтобы она села: – Легче будет. Ноги, ноги спусти на пол. – Сунул большую подушку: – Обними и держи. (Отвлекающее ноу-хау Яшумова!)

Сам уже метался по спальне, из настенных шкафов доставал приготовленное бельё жены и два платья. (Им, им приготовленное! Сама пальцем не шевельнула! Всё из-за того же дурацкого суеверия!) Жена послушно сидела с подушкой. Вслушивалась в себя. Знал, что между первыми схватками могут быть перерывы и в полчаса, и в час. Но лучше пусть сидит и слушает. Ноу-хау работало.

Сумка беременной готова, все документы разложены, добавил мобильный и зарядку. Сбегал на кухню, принёс бутылку воды и бутылку сока. Сливового. Всё. Порядок.

– Ну, дорогая, давай потихоньку сходим в туалет и будем одеваться.

– Да зачем одеваться – ничего уже нет.

– Будет. Давай, давай помаленьку. Подушку можешь оставить. И сумку беременной брось. Она не понадобится в туалете.

Осторожно вёл по коридору. Жена в страхе, в ожидании боли передвигалась медленно. Поддерживал, поддерживал, направлял.

Ждал у двери. Вслушивался в песни унитаза. Пытался определить по ним – всё ли в порядке. Обрушила воду и вышла с её шумом, словно бы с большим облегчением. Но тут же сломалась и заохала. Ледяными руками хваталась за мужа.

– Ой, Глеб! Ой! Мне плохо! – Хваталась за свою поясницу, за живот, сгибалась.

Удерживал, как мог, не давал упасть:

– Дыши, дыши, как я учил. Дыши. Часто.

Рванул в прихожую и прибежал с банкеткой.

– Присядь, присядь, родная. Легче будет.

Села. Откинулась к стенке. Словно разом сбросила боль. Тяжело дышала.

Осторожно вёл опять. Вёл в спальню. К одежде, чтобы одеваться. Почему так быстро подошли вторые схватки? В чём дело?

Торопливо одевал. Тёплые чулки ещё куда ни шло, но семейные большие штаны почему-то не налезали. Никак. Ну-ка встань! Уже командовал. Безропотно поднялась. Натянул штаны на живот как комбинезон. Для мастера деторождения. Вот так. Остальное всё – пошло легче. И последний штрих – платье беременной. Упало балахоном вниз. Без задержки.

Теперь ждть. Сунул тетрадку, ручку: «Записывай. Периодичность схваток. Ты обязана»

– Ты съехал!

– Да-да. Когда схватки будут через пять-десять минут – вызовем скорую.

Смотрела на тетрадку – и верила, и не верила.

Однако дальше всё пошло не по плану, не по расписанному в тетрадке – уже через минуту жену опять согнуло от боли – она чуть не упала на пол. Опять раскачивалась, стонала.

Так. Только без паники. Не паниковать. Схватил мобильный, быстро набрал номер. Однако кричал на весь дом:

– Скорая? У женщины схватки! Каждые пять минут! Срочно приезжайте! Нам в восемнадцатый роддом! Какой сертификат? Да есть, есть сертификат! Срочно приезжайте! Пишите адрес... Ждём!

Повернулся. С дикими глазами:

– Ну, милая, нам пора на выход. Как говорится, зрители ждут. Давай, давай помаленьку.

В прихожей довольно быстро превратил жену в непрошибаемую тумбу. Поверх пальто – ещё зимних шалей и шарфов накрутил. («Ничего, ничего! На улице минус».) Сам быстро оделся. Схватил пресловутую сумку беременной.

Вывел жену на площадку, захлопнул дверь. Осторожно стал спускаться по лестнице. Подтанцовывал чуть впереди и сбоку. Жанна медленно ставила ноги на ступени, охала, закрывала глаза от боли. Тихомирова влипла в стену, встав на пуант. Шавка её даже не пикнула, не смогла прорычать своё «ри-и-и».

Во дворе удерживал жену и махал скорой, которая уже ползла вдоль дома.

– Что же ты одел-то её так. Как на Северный полюс. – закантиковывали роженицу в скорую два санитары. Объяснял, что на улице минусовая температура, что жене это опасно.

– Ну, едешь, что ли?

Занырнул за санитарами внутрь.

Всю дорогу удерживал жену за руку. За ледяную руку. При схватках сжимал её, старался принять боль на себя, на себя!

В приёмном покое далеко не пустили. «Не мешайтесь, без вас всё сделаем». Жанну уже раздевали две санитарки. За ширмой, но было видно. Сдёргивали одежду, разоблачали как матрёшку. Сразу надели какую-то грубую серую рубаху и охающую в сопровождении медсестры из родильного повезли в раскрытую широкою дверь лифта. Приостановились, закрыли обе половины двери. Поехали.

Стоять на месте не мог. Ходил по довольно большому помещению. Сумку беременной уже отобрали, все данные в книгу приёма внесли. «Вам нельзя здесь больше находиться. Выйдите, пожалуйста, на крыльцо. Ждите там. Вам всё сообщат». Глаза дежурной акушерки были как равнодушные бледные моли.

На крыльце стоял. Потом ходил. Всё время смотрел на часы в сотовом. Потом, чтобы как-то сдёрнуть время, чтобы выколотить его хотя бы ногами, стал бегать по въезду для неотложек. Туда и обратно. Вверх и снова вниз. Видел смеющиеся лица, наблюдающие из-за стекла за спортсменом. Видимо, цирка такого здесь ещё не видели.

Наконец вышла сама акушерка: «Всё прошло благополучно. Жена родила вам крепкого малыша. Вес 3 300. Завтра можете прийти в регистратуру и всё узнать подробно. Приёмные часы и так далее. Мы вас поздравляем».

Подхватил тощую испуганную женщину, закружил как доску. (За стеклом вообще, наверное, упали.) «Спасибо вам, милая, спасибо!» Расцеловать не решился.

Рванул на улицу. Для зрителей из окна подпрыгнул пару раз, дал антраша. Пусть посмеются, пусть!

Душа, как говорят, ликовала, пела. Домой никак не хотелось. Шёл вдоль Мойки во льду неизвестно куда. Работу сегодня – побоку. Никто ничего не скажет. Сын у Яшумова родился! Сын! Вспомнил про колпинцев. Ах вы мои суеверные! Что теперь вы зятю скажете? Набрал Анну Ивановну. «Анна Ивановна! Внук у вас родился! Долгожданный внук!» В доме в Колпино словно стали падать табуретки, мебель. И тихо стало. И слёзы, и всхлипы пошли. И зятёк ты наш дорогой! Да когда это, когда это случилось? Господи! «Сегодня, 25 ноября, полчаса назад. Жанна чувствует себя хорошо. (Крепкой оказалась.) Ну а внук ваш – прямо богатырь. Три килограмма, триста граммов! Представляете? В общем, бросайте завтра своего Гришку и утром ко мне. Вместе поедем в роддом.

Повезём всяких вкусняшек нашей героине. Соков, фруктов. И возможно, что даже увидим её и малыша. Жду вас!»

Дальше шёл. На душе было всё так же светло. Утреннее солнце тоже сбросило хмарь, смеялось. Стречные люди улыбаались. Думали, что пьяный. Или выиграл у Почта Банка миллион.

Опять останавливался и звонил. Первой, конечно, Алёнке в Германию. А потом Ане Колесовой. Жене незабвенного Коли. И оба раза было всё одинаково. Пел себе и жене хвалебные гимны, хоралы. Женщины искренне радовались. Давали всякие советы молодому папаше. Некоторые – не без игривых намёков, не без юмора. И прощались одинаково: «Береги себя, родной. Жду вас теперь троих у себя в Мюнхене!» Это – Алёнка. «Береги себя и сынишку, дорогой! Обязательно встретимся!» Это – Аня Колесова.

Неожиданно обнаружил, что вышел прямо к арке дома Плоткина. Ага! Вот ещё кому нужно сказать! И проведу болящего, и поделюсь с ним радостью. Ну и с мамой его, конечно, Идой Львовной.

Но не рановато ли будет? Посмотрел на часы мобильного – 8.20 утра. В самый раз. Смело пошёл на горку, к туннелю.

5.

25-го утром Савостин гнал вдоль Мойки в новую редакцию. На вторые переговоры. Где всё подготовил, с козлами тамошними разобрался сам Восковой. Вениамин Антонович.

Неожиданно увидел Яшумова, идущего к арке проходного двора. К арке Плоткина. Сразу резко затормозил и тоже повернул на пригорок.

Уже крался в туннеле, следил.

Гадёныш в дрепездоне своём, с волосьями по плечам шёл по правой стороне туннеля и чуть ли не плясал. Другка своего шёл навестить, два гада сейчас встретятся.

Савостин вдруг почувствовал небывалый подъём, даже восторг. Глаза полезли на лоб. Он может сделать сейчас с этим гадом всё, что захочет. Может шваркнуть, взорвать. Это игра. Игрушка. Игрушка в натуре.

Савостин стиснул зубы, дал по газам. Рендж Ровер со старта давал 120. Послышался тугой удар, и Яшумов исчез.

Савостин промчался двором, выскочил на параллельную Невскому и полетел.

Савостин что-то кричал. Ударял руль. Как бешеный хохотал...

Игорь СИЛАНТЬЕВ

МОЛОКО И ТРАВА И ЖИТЬ

Сбербанк или кто-то другой
Написал, что мне одобрен кредит
На покупку коровы и козы.

Я сейчас в отделение побежал.
Я взял денег и животных купил.
И козу и корову и еще.

И еще на вершине холма,
На вершине холма я сажу.

Пусть коза пощипывает траву.
Пусть корова даёт молоко.
Пусть мигает огнями Сбербанк.

А мне оно совершенно хорошо.
Я давно ведь такого хотел.
Чтобы молоко и трава и жить.

В Нижнем Тагиле на Вагонке
В глубине пионерского парка
(Называется он так, потому что
На входе пионер с горном),
Так вот, на перекрестье дорожек
Я к фонтану одинокому вышел.

А в центре его когда-то
Дева с веслом стояла.

Игорь Силантьев родился в 1960 году, живет в Новосибирске. Доктор филологических наук, главный редактор журналов «Критика и семиотика» и «Сибирский филологический журнал». Стихи и проза публиковались в журналах «Звезда», «Сибирские Огни», «Просодия», «Крещатик», «Футурум АРТ», «Квадрига Аполлона», «Двоеочие», «Артикуляция», «Литература» и в различных сборниках и альманахах. Автор четырех книг стихотворений и короткой прозы. В «Волге» публиковались стихи и проза (2018, 2019).

А вокруг по сторонам света
Четыре сидели лягушки
Из позеленевшей меди
И струи пускали в деву.

От девы с веслом осталось
Основание из серого камня.
И мхом лягушки покрылись.
И высохло дно фонтана.
Ну а я не с пустыми руками.
Я чекушечку ополовинил
И запрыгнул в фонтан резво.
Той девы с веслом заместо.

И дрогнули медные твари.
И выпустили в меня струи.
И северная вылила воду.
А южная вином оросила.
С востока брызнуло кровью.
А с запада мочой, извиняюсь.

Не стал допивать я водку.
Побежал скорей отмываться.
Чтобы лезвиями глаза не стали.
Чтобы горем не запахло тело.
Чтобы сердце не набрякло небом.
Чтобы смерть в ногах не завывала.

Третье, четвертое, и пятое, и шестое.
Люблю собирать и раскладывать на ладони
Кленовые ушки-крылатки. Какой-то
Еще не разобранный чудится смысл мне
В этом невольном простом порядке.

В следующий раз собираю частицы
Сосновой коры и опавшие иголки.
Нечаянный текст на ладони читаю.
И губы мои неловко кривятся.
И слово несказанное в горле тонет.

Но все же попробую. И я не существую.
Вещество моего тела разбирает воздух.
И душа опадает пылью на травы.
Я всегда мечтал с ними сродниться.
Я замираю и ложусь в сырое лицо.

А тут передо мной Икар свалился.
Синяк с недопитой бутылкой пива.
Промычал чего-то и вырубился, славный.
Из кожзаменителя крылышки комом.

Да какой он Икар, какие они крылья?
О чем эти слова? Все банально до скуки.
И пиво из горлышка повытекло, зараза.
Бутылку на карачках в кусты закинул.

Икает Икар. В слюнях Икар плачет.
Ползает передо мной, бронзовым богом.

Вот уже сколько времени прошло, и мы с тобой изменились.
Я стал квадратный такой, а ты стала круглая такая.
И покачиваются глаза на наших лицах, а в глазах коктейлем
Встречаются радость и сожаление и еще немного забвения.

В самом деле, я с трудом, я с трудом забываю твое имя.
И во рту моем привкус чего-то крашенного и сухой газеты.
Хоть и не ем я ничего такого, впрочем, не во вкусе дело.
Это всё вещи, они почти случайно впиваются в мое время.

Знаешь, если собрать, сгрести в кучу эти глупые вещи,
Круглые и квадратные, а еще глупые жесты и взгляды,
И нас с ними вместе, и сбросить все в дырявую половицу
Памяти, тогда, пожалуй, станет единственно легче.

Какой-то веселый дедушка,
Борода у дедушки клинышком,
Кидал из корзинки в форточку
Мне сереньких мертвых птичек.

Махонькие нá пол шмякались.
Всклоочены, спутаны перышки.
Черные лапки разбросаны.
И глазки покрыты глянцем.

Я тельца связал веревочкой
И сделал себе ожерелие.
И вышел такой на улочку.
И к деду шагнул с корзинкой.

А он сто рублей протягивает.
А я сто рублей рассматриваю.
Глаза поднимаю, а нет никого.
И птички, и птички спорхнули.

А я когда в поезде ехал себе,
То пил беспробудно с попутчиками.
И рожи плясали в глазницах моих.
И хохот по черепу зайцем скакал.

А ночью я выполз ужом на перрон.
Упал из вагона пустым башмаком.
Упал и царапал замерзший асфальт.
Царапал до крови и выпавши полз.

Но с облака фея спустилась ко мне
И ровно под ручку в буфет отвела.
Свободна в плечах и грудью сильна.
И кофта духами пахнет навзрыд.

А утром, а утром, а утром, а что?
А утром часов на мне нет и штанов.
А утром штанов на мне нет и креста.
Креста на мне нет, а доехал.

Вновь поднимаюсь на лифте на свой, на десятый.
И между третьим и пятым на крышу кабины
Прыгают с лифтовой шахты досужие зомби,
Рвут жестяное покрытие и в щели щемятся.
Тут мне становится страшно, но ближе к восьмому
В руки беру я себя и читаю из Блока,
Ту, что пришла покрасневшая с мороза...
После сбиваюсь и, в угол забившись, плачу.
А зомбаки там, на крыше, садятся кружком на корты
И затихают. Трубит механизм подъемный.
Вот и десятый. Вокруг раскрываются двери.
Я выхожу. Я вернулся домой, в свое небо.

Я шел и шуршал высохшими листьями,
Наверное, потому что вокруг была осень.
Вокруг было тихо и на сердце было тихо.

А тут из листвы выскакивает воробышек
И прыгает с разлету прямо мне в сердце.
Может, случайно у него получилось!

Я остановился. А он в сердце топчется,
Попрыгивает, а то разок-другой клюнет.
Не скажу, что приятно, скорее, больно.

Но вроде успокоился, а может, вылетел.
Постоял я тихонько и листвой умылся.
Вокруг стало пусто и на сердце пусто.

Я вот щас разрубил дракона
И еще дракона другого.
А еще разрубил анаконду.
И сколопендру тоже.

И верховного разрубил злодея.
И низайших его вертухаев.
И всю интеллигентную массу
Порубил на мычащие кусочки.

А потом я пошел и встретил
Продававшего фрукты узбека.
– Уважаемый, купи абрикоса!
Ище вкусный купи орешка!

Я хотел и узбека, чтобы
Увеличить надвое население.
Но не стал, а купил дыню.
Ну и да, разрубил ее.

Холод кроватной спинки.
Скрипы панцирной сетки.
Ватный матрац комками.
И потолок и стены.

И пол. И худые тапки.
И рядом ночная ваза.
Крышка прикрыта плохо.
А рукой не дотянуться.

И клоун с дурной гримасой
Крича забегает в палату.
Да нет никого, это сердце,
Это солнце чудит, пляшет.

Руку мне дай, успокойся.
Усни, а если понравится,
Можешь не просыпаться.
А горшок я поправлю.

Я матери позвонил на тот свет.
А она: – У меня на исходе заряд,
Ты давай перезвони потом.

Я позвонил туда же отцу.
А он: – Тут такая плохая связь,
Ты давай потом перезвони.

Я брату звонил и звонил сестре,
И даже собаке набрал, и еще
Написал на стенке их имена.

Это в итоге успокоило меня.
Я звонить на тот свет перестал.
И даже разбил телефон.

Шел я, шел и уперся в мармеладную стену.
И подумав, написал на мармеладе слова.

Не нужно звать смерть.
Она может прийти не тебе.
Лучше позови жизнь.
Неважно, кому она придет.

Ну а потом я съел
То, что написал.

РАССКАЗЫ

Радио Шансон

Накрапывал дождь. «Дворники» надсадно скрипели и оставляли на лобовом стекле мутные разводы. Дорога за стеклом двоилась, будто в глазах дрожали слёзы. Он включил погромче магнитоу.

На остановке голосовала девушка. Он притормозил.

Она открыла дверь и заглянула в салон:

– Тут недалеко.

Он согласно кивнул, и она юркнула на переднее сиденье. Полы её пальто разошлись. Он скользнул взглядом по сетчатым колготкам и туго стянутой на бёдрах полинялой красной мини-юбке. Зонта у неё не было, и распущенные круто завитые волосы были усыпаны бисеринками дождевых капель. Она смахнула упавший на лоб пружинистый травленный перекистью локон и повернула к нему мокрое, играющее блиаками лицо, изменчивое в полусвете салона, точно изображение на голографической открытке.

– Погода просто отвратная.

Он ничего не ответил.

– Что слушаешь? Радио Шансон? Любишь, чтоб дёшево и сердито?

– Не нравится – не слушай.

– Попробуй не слушать, когда так орёт.

Он сделал потише.

Они подъехали к перекрёстку.

– Здесь направо.

Он включил поворотник.

– А дальше прямо.

Он пропустил пешеходов на переходе. Последней ковыляла старушка под чёрным потрёпанным зонтом. Она крепко сжимала изогнутую ручку зонта, словно руку поводья. Зонт был со сломанной спицей и похож на ворона с перебитыми крылом.

Он вывернул руль.

– Только денег нету, – бросила девушка словно между прочим.

Он покосился на неё.

– Денег нет, – решительно повторила она. – Чего вылупился?! Хочешь, перепихнёмся? Вон за гаражами удобное место. Все туда ездят. В рот – пятьсот, так – тыща, анал – полторы. Тебе скидка за доставку.

Он притёрся к бордюру и затормозил. Достал из кармана сигареты. Щёлкнул зажигалкой.

Илья Оганджанов родился в 1971 году в Москве. Закончил Литературный институт им. А.М. Горького, Московский государственный лингвистический университет, Международный славянский университет. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Урал», «Сибирские огни», «Крещатик» и др. Автор романа в рассказах «Человек ФИО» (СПб.: Алетейя, 2020), двух книг стихов: «Вполголоса» (М.: ЛИБР, 2002), «Тропинка в облаках» (М.: Летний сад, 2019). Переводы с английского: Т.С. Элиот, Роберт Фрост, Сильвия Плат, Уолт Уитмен, Дилан Томас, Эзра Паунд, Филипп Ларкин; переводы с китайского: Ду Фу. В «Волге» публикуется впервые.

Глубоко затанулся и выпустил изо рта облачко дыма. Салон окутало молочно-перламутровой пеленой.

Полчаса назад всё это он заставлял проделывать свою девушку. Вернее, это она думала, что она его девушка. Их свела общая знакомая. «Девчонка хорошая, домашняя, с высшим образованием, работает. Не модель, конечно, но и не уродина. Живёт одна. Пусть за МКАДом, зато собственная квартира. Тридцатник стукнул, а никого так и не было. На стенку лезет от тоски. Подумай. Не мальчик ведь уже».

Он пришёл с шампанским и коробкой конфет. Она нарядилась в платье с вырезом. Накрасилась, словно разрисованная в детском кружке матрёшка. Приготовила оливье. Сначала смущалась. После третьего бокала раскраснелась. Громко невпопад смеялась. Болтала без умолку. Включила музыку, присела на диван. Он плюхнулся рядом. Зашептал на ухо какую-то чушь, полез под юбку и властно зашарил ладонью по горячим студенистым ляжкам. Она подставила ему приоткрытые губы. И шалея, бешено округляла глаза и будто поскуливала. После Тони ему было всё равно. Наплевать. Чем хуже, тем лучше. И почему он должен кого-то жалеть? Кто его пожалел?! Сама напросилась. Груша переспелая. Ничего, переживёт. Быстренько найдёт себе утешителя. Все они одним миром мазаны.

В ванной шелестел душ, будто там тоже, как и за окном, шёл дождь. Он поднялся с дивана. На скомканном голубом покрывале темно-бурое пятно, похожее на островок в океане. Он огляделся, будто только что попал в эту комнату. Кремовые обои. Сервант с хрустальными бокалами, фужерами, рюмками, разрисованными блюдами и кофейным сервизом, наверное, ещё от бабушки осталось. Книжная полка: Агата Кристи, Мопассан, Тургенев, английский для начинающих, какие-то цветастые женские романы. Траурно-чёрный экран телевизора. На стене – узорчатая тарелка, явно откуда-то из Турции, портрет Нефертити на папирусе – из отпуска в Египте и маленькая икона Божьей матери с младенцем. На столике у дивана – сонник и крем для рук.

Комната пропахла её духами. Кажется, их карамельный аромат впитался под кожу. Он оделся. Взял со стола бутылку минералки и жадно, не отрываясь выпил, ощущая в горле приятное покалывание.

Она вышла, закутанная в махровый халат. Распаренная, уютная. В коридоре заглянула ему в лицо, как провинившийся ребёнок. Глаза у неё покраснели, губы подрагивали в какой-то блаженной-плаксивой полуулыбке. У двери она порывисто обняла его, уткнувшись носом куда-то в шею, и тихо всхлипнула...

В темноте салона тревожно вспыхивал огонёк сигареты. Он придавил окурочку к краю пепельницы. Сглотнул горчащую слюну и придушенным голосом спросил:

– Ты где живёшь?

– Через два квартала. Дом семьдесят восемь, корпус четыре, шестой подъезд, – отчеканила она заученной скороговоркой.

Он нажал на педаль газа. Подъехал к бесконечно длинной панельной девятиэтажке. Её окна светились глубоко в темноте, будто огни уплывающего к звёздам инопланетного корабля.

– Не хочешь, как хочешь... – сказала она, потупясь. – К себе не приглашаю. У меня дочка маленькая и мать болеет.

Он вытащил из кармана джинсов сплюснутую, потёртую тысячу и сунул ей в руку.

– Давай вали, пока я не передумал.

Она хлопнула дверью и пошла к подъезду, покачиваясь на высоких шпильках, словно на ветру.

В салоне стало как-то пусто и неудобно. Обычно он чувствовал облегчение, когда пассажиры высаживались и он оставался в машине один. Он любил припарковаться где-нибудь в спокойном месте, посидеть в тишине, покурить. Или колесил по улицам без цели, не высматривая клиентов. А если совсем надоедало бомбить, выезжал за город и гнал по трассе, сколько хватит бензина. А тут вдруг что-то защемило...

Он развернулся. У светофора остановился на красный. Достал из куртки мобильник.

– Здорóво, Колян. Ты дома?..

Колян не просыхал вторую неделю. Его грудастая хлопотливая Светка залетела и умотала в Чебоксары готовиться к свадьбе – там дешевле и родня рядом.

– Я сейчас заскочу.

Хотелось напиться до беспамятства.

Дребезги

Мы шли по раскисшей тропинке вдоль сплошного деревянного забора. На тропинке отпечатывались наши следы, и в них натекала мутная жижа. Тропинка обрывалась у дыры в заборе. Мы друг за другом пронырнули внутрь и, перепрыгивая талые лужи, стали пробираться по заброшенной стройплощадке к подъезду недостроенной высоты.

– Не отставать, за мной! – командовал Андрей, потрясая над головой четырьмя бутылками портвейна, словно связками гранат. – Место отличное, вам понравится, – подбадривал он нас, избегая по лестнице.

Передо мной поднимался Гена, длинный и тощий, как тень от церковной свечи, и нараспев декламировал простуженным баском: «Как ныне сбирается вещий Олег...» Из-под Гениных коротких брюк виднелись сползшие гармошкой носки и задники стоптанных ботинок. На правом болтался развязавшийся шнурок. Надо было сказать об этом Гене – лестница была без перил. Но я не решился его прерывать.

– Долго ещё, Андрюша? – спросила за моей спиной Лялька.

– Молчанье было ей ответом, – угромо просипел Борис. Он шёл последним. Дымил сигаретой и жонглировал бутылкой армянского коньяка.

– За такой отвратный характер твоя прима тебя и динамит.

– Топаи безропотно за своим счастьем, дитя моё, – и увидишь небо в алмазах, – наставительно пропел Борис и поправил сползшую на глаза потёртую ковбойскую шляпу.

– Какое я тебе дитя, от горшка два вершка, – огрызнулась Лялька. – Тоже мне, дембель недоношенный.

– Я, между прочим, уже год как вернулся.

– И с тех пор пьёшь без просыху да коньяки из бара таскаешь. Какой бабе это понравится?

– Уж, конечно, не той, что целый день покрашенными коготками по клавиатуре стучит и кофе начальнику подаёт, – и Борис проворчал себе под нос ещё что-то невнятное.

Под ногами хрустел песок и битый кирпич. Наши шаги гулко отдавались в пустом подъезде. На лестничных площадках чернели дверные проёмы. Их мрачная пустота страшила и притягивала своей зловещей безлюдностью. Казалось, мы в каком-то лабиринте, в каменном колодце, и нет ему ни конца ни края. Но мне было всё равно. Так даже лучше, идёшь себе да идёшь. Взбираешься невесть куда, ни о чём не заботясь, ни о чём не думая или думая обо всём сразу. Ступенька за ступенькой. На мгновение заглядывая в зияющие пустоты ничейных дверей. И снова ступенька за ступенькой – выше и выше по лестничным маршам. Налегке, прогулочным шагом, без цели, без надежды – в никуда.

– Добро пожаловать в мои хоромы, – с церемонным поклоном встретил нас Андрей на восемнадцатом этаже. – Прошу в залу.

Бетонная площадка была покрыта тающими островками наледи, похожими на растёкшийся по сковородке жжённый сахар. По краям торчали сваи. Порывами задувал пронизывающий ветер. Над головой, беспокойно клубясь, плавали сизые облака, отчего небо казалось живым. И на все стороны открывался вид на Москву, будто сложенную из детских кубиков.

– Впечатляет, – прогундосил Гена. – А стены и крышу куда подевал?

– Не успели доделать, барин, к вашему визиту. Не извольте сердчать.

На фанерке, положенной на четыре кирпича, стояли откупоренные бутылки портвейна.

– Какой ты хозяйственный, Андрюша, стол накрыл, – мечтательно протянула Лялька.
 – Губы-то закатай, – буркнул Борис и указательным пальцем сдвинул на затылок свою кобальтовую шляпу.

– Так, господа артисты, не лайтеся. Минуточку внимания, – торжественно произнёс Андрей.
 – Позвольте поздравить всех с премьерой!

Мы чокнулись бутылками и отхлёбнули прямо из горла.

– Как вы только хлещете это пойло? – процедил Борис, разглядывая на свет свой коньяк.

– По-моему, выступление удалось, – не обращая внимания на Бориса, продолжал Андрей. – Лялька всех очаровала своей «Катюшей» и голливудской улыбкой, Генка отчитал гениально, хоть сейчас народного давай. Да и мы, кажись, не подкачали?

– Вы были неотразимы, мальчишки! Не думала, что платья и макияж вам так идут, – приснула Лялька. – Просто настоящие красотки!

Мы переглянулись. На лицах виднелись следы грима: красная помада в уголках губ, несмытая тушь на ресницах, на щеках пятнами – плохо стёртые румяна. У меня, наверно, тоже что-то осталось. Я машинально провёл ладонью по лицу.

Наш народный театр давал на заводе «Станколит» концерт к 8 Марта. Три недели репетировали мы праздничную программу, и чопорная режиссёрша, Инесса Вениаминовна, некогда блиставшая в областном ТЮЗе, отчаянно всплёскивала сухими руками, словно взывая к небесам, и сотрясала своды клуба строителей прокуренным голосом:

– Как эти бездари собираются поступать в театральный?! Я же не в силах обучить человека, у которого ничего нет за душой! Вы хоть понимаете, что у людей праздник?! Они вкалывают как лошади и ждут от вас, с позволения сказать, от артистов, ра-до-сти!

Это она придумала номер с переодеванием. Всех парней нарядили в женские платья, густо накрашили, и мы должны были разыгрывать какие-то незатейливые сценки. Наверное, получилось смешно, потому что в ответ на все наши плохо отрепетированные дурачества оплывшие измождённые лица в зале озарялись широкими улыбками.

– Главное – заводскому начальству понравилось, – ввернул Борис.

– Понравилось – и ладно. Выпьем лучше за прекрасных дам, – поднял свою бутылку Андрей.
 – Лялька, за тебя! С праздником!

– Интересно получается, Союз накрылся, а праздники советские остались, – проворчал Гена и, запрокинув голову, точно гипсовый горнист, сделал несколько жадных булькающих глотков, и на его тонкой жилистой шее резко выдался острый треугольный кадык, как будто в горле у него застрял кусок щебня.

– Спасибо тебе, Андрюша, – сказала Лялька. – Хоромы твои сногшибательные. Дом без окон, без дверей, без людей и без зверей. Это твоя будущая квартира?

– Как же, держи карман шире, – прикуривая новую сигарету, вставил Борис.

– Нет, не моя. Обычная стройка. Пару лет назад гакнулась. Инвестор, гад, проворовался, и братва его грохнула. Но от этого не легче – рабочим ни рубля не заплатили.

– Сам-то откуда всё это знаешь? – подозрительно шурясь, спросил Гена.

– Да так, приятель один рассказывал... – замял разговор Андрей.

– Будь это моя квартира, я бы тут всё обустроила по-заграничному, – вздохнула Лялька. – Здесь у меня была бы просторная прихожая, тут гостиная, дальше – спальня и детская, кабинет мужа, комната для гостей...

– Ишь, размахнулась, – съязвил Борис. – Лучше скажи, где у тебя сортир?

– Для тебя – во дворе, – зло бросила Лялька.

Борис, пошатываясь, направился к угловой свае. Было слышно, как о бетон ударила и зашестела струя.

– Свинья, – выдавила Лялька и отвернулась.

Андрей вразвалочку подошёл к Борису, ухватил его за шкуру и, приподняв, тряхнул так, что тот угрожающе покачался у самого края бетонной плиты.

– У нас, – прошипел Андрей, – таких вмиг за борт выбрасывали для прочистки мозгов. Усёк, связист?

– Усёк, боцман. Больше не повторится.

– Тогда ширинку задрай и бегом извиняться. ...А галюн на одиннадцатом.

Портвейн согрел слабо. Я поставил на пол ледяную бутылку и задышал на задубевшие пальцы. Ветер, в клочья разметав плотные облака, приутих. Небо во всю ширь покрылось багрово-фиолетовыми разводами. И кое-где в домах тепло засветились окна. В голове шумело. До этого я пил всего-то два раза: на выпускном и провалившись в Автодорожный. Мать тогда очень переживала. Говорила, что я пропаду, как отец. Что надо устроиться на какую-нибудь работу. Что она из сил выбилась одна меня воспитывать и содержать. Мать, конечно, было жаль. Но я никуда не устроился. Шатался всё лето по городу и как-то за компанию с приятелем завернул на прослушивание в ГИТИС, там познакомился с Андреем и остальными. Они пригласили в народный театр.

– Театр что, вчерашний день. Кино – это сила, – философствовал Андрей. – Я, как с флота дембельнулся, погулял пару лет, а после решил – баста: кровь из носу поступлю во ВГИК. В театральный-то мужиков принимают до двадцати семи, девок – до двадцати четырёх. А во ВГИК и постарше проходят.

– Да сколько примеров, когда и тридцатилетних брали, – подхватил Гена и глубже натянул на лоб кепку с надломленным засаленным козырьком. – И вообще – диплом не главное. Главное, чтоб талант был.

– Это верно, – кивнул Андрей. – Талант всегда себе дорогу пробьёт. Я так решил: пока в массах оботрусь, примелькаюсь, такие бугаи, как я, нынче в моде. Заведу полезные знакомства, а там поглядим. Правда, Ляль?

Лялька молчала, уткнув вздёрнутый носик в растянутый вязаный шарф.

Сейчас они начнут наперебой, с придыханием пересказывать друг другу судьбы великих актёров и режиссёров. Отчаянно спорить, кто гениальней – Смоктуновский или Матросов, Борисов или Фон Сюдов, Мордюкова или Маньяни. Ругаться, доказывать. Я любил слушать их путанные вдохновенные разговоры об искусстве, о театре, о кино, их грандиозные планы и мечты о главных ролях. С ними было хорошо. С ними я чувствовал себя свободным, полным прекрасных смутных надежд. И хотелось тоже иметь какой-нибудь талант.

– Деньжат бы раздобыть, – вздохнул Андрей. – Может, Геныч, срубим по-быстрому? Сгоняем кой-куда за товаром, вдвоём оно сподручней. У меня у приятеля точка на рынке, он товар оптом возьмёт за хороший процент. Тебе же мать с постели поднимать надо. А мне алименты платить. Не век же нам вагоны разгружать?

– Поглядим... – протянул Гена и поднял воротник пальто, мешковато висевшего на его сутулых плечах.

Борис ходил гоголем вокруг Ляльки, отбивая непослушными ногами чечётку, и, закатив глаза, подвывал убитым голосом: «Прощай, радость, жизнь моя, знать, уеду без тебя». Лялька куталась в коротенькую болоньевую курточку и нервно поправляла клетчатую беретку с красным помпоном, в которой она была похожа на клоунессу.

– Ну, чего приуныли? – Андрей обвёл нас помутневшим взглядом. – Внимание, внимание, почтенная публика! На арену приглашаются сильнейшие атлеты планеты. Смертельный номер: человек и кирпич. Чья возьмёт?

Он поставил кирпичи буквой П:

– Кто первый? Прошу на ковёр.

Гена резво подскочил, вдарил с размаху худой костистой рукой и наигранно застонал от боли. Нетвёрдо ступая, подошёл Борис. Примерился, тяжело задышал, ахнул и ребром красной мясистой ладони расколол кирпич.

– Молодец, связист, – сказал Андрей. – А так слабо? – он поднял кирпич и с криком «Смерть фашистам!» разбил его о голову. Лялька протянула Андрею платок. Он вытер выбритый до зеркального блеска голубовато-пепельный череп с бледной проплешиной на темени и вопрошитель-

но оглядел нас. Это представление разыгрывалось не в первый раз, и мы уныло смотрели на Андрея. Он сник и заговорил потухшим голосом.

– Тут неплохо, правда? Я, знаете, прихожу сюда развеяться. Постоишь на этой верхотуре. По-думаешь. И как-то легче становится. Представишь, что ты на палубе, на капитанском мостике, и корабль на всех парусах несётся в открытое море. И где-то впереди тебя ждут неоткрытые земли, неведомые народы...

Солнце село за дома, похожие на детские кубики. В окнах домов уютно горели разноцветные огни.

В тишине по-бабьи пьяно запричитал Борис:

– Почему всё так, а? Я ей и цветы, и жду, как осёл, у театра, и домой провожаю. А она...

Он захлебнулся слюной и с ожесточением утёр кулаком глаза.

– Что ты, перестань, – Лялька погладила его по спине. – Дура эта твоя прима кордебалетная. Пожалеет ещё сто пятьдесят раз.

Он ткнулся ей в плечо и тонко завыл. Она обняла его.

– Вроде всё допили. Куда тару девать, хозяин? – спросил Гена.

– Валяй за борт, – махнул Андрей. – Хотя постой. Давай так: чья быстрее долетит – тот первым и станет народным артистом.

Они застыли у края бетонной площадки с пустыми бутылками в вытянутых руках.

– Отпускаем на раз-два-три, – предупредил Андрей, и в его глазах блеснула азартная искорка. Бутылки нырнули в темноту и звонко разлетелись вдребезги.

– Ничья, – поспешно выпалил Гена и щелчком указательного пальца пустил вслед за бутылкой окурок. Рассыпая рыжие искры, окурок кометой очертил в воздухе дугу и пропал в загустевших сумерках.

– Пойдём, может, и мы бросим, Борь? – сказала Лялька.

Борис ухватился за торчащий из сваи кусок арматуры и свесился «за борт». Его вырвало с глухим утробным стоном. Ковбойская шляпа соскользнула с головы и, планируя, исчезла в темноте.

– Всё, Витаминовна меня теперь убьёт, – прохрипел он. – Это ж реквизит.

– Ничего, Боря, найдём, – Лялька вытерла ему платком губы, подбородок и лацкан кожаной куртки, как ребёнку, вымазавшемуся мороженым. Забрала его бутылку и вместе со своей брезгливо выбросила.

– Пока летит, думаешь, ничего, авось не разобьётся, – промямлил Борис.

– Все мы легим, летим куда-то... – всхлипнула Лялька, – и когда-нибудь...

В сумерках, с высоты восемнадцатого этажа стройплощадка была едва различима и казалась большой опустевшей песочницей с криво всаженными в землю лопатами, бетономешалкой, перевёрнутыми тачками и носилками.

Я тоже кинул свою бутылку, и она разбилась с глухим чавкнувшим хлопком.

– Студент, ты чего, не допил, что ли? – осуждающе спросил Гена.

– Я не студент, понятно, – гордо ответил я, с трудом ворочая заплетающимся языком. И, глубоко натянув на уши вязаную шапку-петушок, полез во внутренний карман куртки за повесткой из военкомата.

Аттракционы

Ты прыгнул с кровати и зашлёпал босыми ступнями по паркету. Потоптался у двери, прислушиваясь, не проснулся ли я, но открыть не решился. Ты понимал, что папа устает за неделю и по выходным ему надо отдохнуть и выспаться, иначе у него не будет сил ходить на работу, писать статьи, и тогда у нас закончатся деньги, и мы не сможем купить еду, и умрём с голоду. Ты былмышлёный малыш и не стал распахивать дверь.

Я свесил ноги с дивана. Небо за окном было серое, унылое. Вставать совсем не хотелось.

Я слышал, как ты рылся в коробке с игрушками. Достал машинку и стал катать её по полу, забавно подражая рычанию мотора. Должно быть, это пожарная машина, которую мы купили с тобой в прошлые выходные. Тебе очень нравился её огненно-красный цвет, выдвигающаяся лестница и синие мигалки на крыше. Нравилось представлять себя храбрым пожарником в каске, с брандспойтом, бесстрашно входящим в пылающий дом, чтобы спасти людей.

В детстве я тоже любил катать машинки и, сложив губы трубочкой, гудел мотором. И воображал себя пожарником, как и ты. Говорят, ты очень похож на меня. Глаза, руки, жесты... Может, и чувствуем мы одинаково, я не знаю. Тебе уже четвертый год, а я иногда смотрю на тебя словно впервые. Наверное, потому что провожу с тобой мало времени – «мог бы и больше внимания уделять родному сыну».

За завтраком ты был молчалив, сосредоточен и с напряжением вглядывался в хмурое небо за окном. Не просил включить мультики, не капризничал и безропотно ел свою нелюбимую овсяную кашу.

– Чего такой серьезный? – спросила жена.

Ты неопределенно пожал плечами.

– Какие планы, мальчики, куда собираетесь сегодня?

– В парк, – ответил ты за двоих.

– Сходили бы на аттракционы, а? Вчера же были в парке, не надоело?

Уткнувшись в тарелку, ты тихо и настойчиво повторил:

– Пойдём в парк.

– Как хотите. Не забудьте зонт – дождь обещали.

Было пасмурно и прохладно. Во дворе стояла бытовка. Одиноким рабочий в замызганной спецовке сидел на пороге и курил. Его голова тонула в змеистых клубках дыма. Ты рассеянно взглянул на рабочего и отвернулся, ничего не сказав, погружённый в свои мысли. Вчера ты подробно расспрашивал, что и как делают рабочие и зачем они перерыли наш двор и поранили грузовиком клён. Тебе было жалко бедное дерево, и ты всё спрашивал, как оно будет жить дальше с ободранной корой. В стороне от бытовки штабелем лежали доски такого же беззащитного телесного цвета, что и оголённый ствол клёна. К дому тянулась траншея, зияя развороченными внутренностями. И вдоль неё валялись изъеденные ржавчиной обрезки канализационных труб, похожие на осколки разорвавшейся бомбы.

Мы вышли на улицу. Высоко на стене сталинской пятиэтажки темнела вывеска, ещё советских времен: крупные выцветшие буквы – АТЕЛЬЕ. Вчера ты спросил меня: «Папа, что там написано?» Я ответил. «А что такое ателье?» Я попытался объяснить, что там чинят и шьют одежду. «И где оно, это ателье? Тут же магазин, где мама покупает мне шоколадки». Я сказал, что ателье давно закрыли, одежду теперь шьют редко, а укоротить брюки можно в мастерской у метро. «Тогда зачем вывеска?» Я не знал, как лучше объяснить: забыли снять, не дошли руки, слишком высоко, не было распоряжения... «Так получилось, сынок».

Сегодня ты был равнодушен к вывеске и к раненому клёну, и ко всему остальному, что встречалось нам на пути.

Не заглянул с любопытством в овраг. Зимой по его крутому склону съезжали на санках ребята. Я обещал, что ты тоже будешь кататься с горки, когда немножко подрастёшь. И теперь, проходя мимо оврага, ты с надеждой спрашивал: «А скоро уже зима?» Но сегодня ничего не спросил.

В парке не стал кормить орешками белок. И даже не остановился на мосту через нашу мелкую речушку, карей зеркальной лентой петлявшую в траве. Обычно ты набирал горсть камешков, бросал их в воду и смотрел на расходящиеся круги. Или пускал листья-лодочки и следил, как их уносит течением. И тебя было не оторвать от этого занятия.

От моста на пригорок взбегала тропинка. С пригорка открывался вид на луг, речку и жидкий смешанный лесок. На пригорке за этюдником стоял художник. В потёртом безразмерном пиджаке с широкими оттянутыми карманами и закатанными до локтей рукавами, в просторных вельветовых штанах и артистично сдвинутой на затылок соломенной шляпе, из-под которой до

плеч свисали пакли седых волос. Болезненно худой, небольшого росточка, с пепельной кустистой бородой, порыжелой вокруг рта, он щурился от едкого дыма догоравшей в зубах сигареты и старательно подмалёвывал перламутровое облако над макушками елей.

Ты, как и вчера, пристроился за спиной у художника и, затаив дыхание, разглядывал пейзаж на картине. Художник заканчивал свой вчерашний этюд, и поэтому небо у него было по-прежнему звонко-голубое и залито ровным солнечным светом, а речка весело играла бликами. Вчера ты весь сиял от восторга, когда луг, речка и лес, словно по волшебству, каким-то неведомым тебе, чудесным образом проступали под медлительной плоской колонковой кистью – точь-в-точь такие же, какими виделись с пригорка, и будто оживали на загрунтованном картоне.

Художник привык, что дети и взрослые топчутся у него за спиной, и не обращал на тебя внимания. Он нервно смешивал на палитре выдавленные из серебристых тюбиков жирные лужицы краски, видимо, спеша закончить работу до дождя.

На пригорке было ветрено. Пиджак художника надувался парусом, и казалось, ветер сейчас унесёт его вместе с этюдником и недописанным вчерашним солнечным пейзажем.

Ты в недоумении и почти в испуге оторвался от картины. Поднял непонимающие тревожные глаза на мрачное зеркало реки, на беспокойно шелестящие деревья и затянутое тучами предгрозовое небо. Потом пристально, с укоризной и какой-то неприязнью посмотрел на художника. Разочарованно скользнул взглядом по этюднику с картиной солнечного погожего дня, повернулся и косолапая зашпешил с пригорка. И правда пора было возвращаться – собирался дождь.

На мосту ты остановился. Просунул голову между скрещенных перекладин ограды и не отрываясь смотрел на воду. Вода была прозрачная. Песчаное дно усеяно голышами и корягами. У берега показывались водоросли. Они напоминали выброшенную новогоднюю мишуру и «дождик». Извивались и стелились по течению, будто уплывая.

Я облокотился о старые деревянные перила. На них перочинным ножиком было вырезано пронзённое стрелой сердце и внутри – чьи-то инициалы. Ты не доставал до перил и ничего этого не видел и не знал. Может, сердце здесь вырезано уже давно, с тех времён, когда и я был ростом ниже перил, и сам много не видел и не знал.

Со дна всплыл воздушный пузырь. На поверхности разошлись круги. «Посмотри, похоже на пластинку», – хотел сказать я. Но не успел. Круги исчезли. Из-под моста вынырнул жёлтый берёзовый лист, и его быстро унесло течением.

В детстве я воображал, что наша речушка убегает куда-то далеко-далеко и впадает в большую реку, а та – в море. И мечтал смастерить плот или лодку... Осенью целые караваны опавшей листвы уносило течением. И я с отчаянной завистью представлял тот долгий путь, который им предстояло проделать до большой реки и дальше – до моря и его неведомых загадочных берегов. Я смотрел и смотрел им вслед, пока они не исчезали за поворотом русла. За ними устремлялись другие – ещё и ещё. И казалось, этому никогда не будет конца...

– Пойдём, – ты потянул меня за рукав.

Обратно ты шёл молча, понурившись, и снова о чём-то напряжённо думал. А у подъезда посмотрел на меня грустными серьёзными глазами и сказал:

– В следующий раз давай лучше на аттракционы.

Люба МАКАРЕВСКАЯ

ДЕВЯТЬ ПЕСЕН

Если я
только
архетип
стану песенкой
простой

Над мертвым
весенним
небом

Над солью
и слюной
над обещанием
данным пустоте
как спящему
в другом
краю
света
и тьмы.

Пчелы жалят
руки
ноги
и ступни
если в ад
сойду
ты ведь
будешь там?

Люба Макаревская родилась в 1986 году в Москве. Стихи и проза публиковались в журналах «Дружба народов», «Транслит», «Воздух», «Носорог», «Зеркало», «Новое литературное обозрение», «Незнание», а также на сайте «Сноб» и в ряде других сетевых изданий. Вошла в шорт-лист премии Bookscriptor в номинации «Современная проза». В 2017 году выпустила альманах «След», посвященный теме насилия. Автор книги стихов «Любовь» (М.: АРГО-РИСК, 2017). Стихи переводились на испанский и английский языки. В «Волге» публиковались стихи (2017, 2018, 2019).

Где не страшные
живые
просят мертвых
об одном
два три
слова
пять шесть
прикосновений
меньше/больше
лишь бы
повторение
любви

Как рука
скользит
по позвонкам
там где
темный лес
собирается
из слез
и влаги
и на опушке
все красивые
а глаза пустые
и обнимаешь
крепко
значит ты живой.

В этом году
время
не идет
оно лежит
ногами
к выходу
или снегу

Если бы
триеровской
нимфоманкой
был бы мужчина
как бы он сказал
– Я ничего не
чувствую

Он был бы
похож на тебя

Я собиралась
в небе
я собиралась
между ног
и там где
из позвонков
растут цветы

И вот теперь
ногами
к снегу
к концу
к началу
к входу
или выходу?

Лежит
время
в валенках
в беззвучных
слезах
и зовет
то ли маму
то ли папу
то ли нас.

Вот я Царевна Несмеяна
мертвая девочка
злая ведьма

Гроб хрустальный
медленно трещит
точно под властью
взгляда
точно под властью
желания

Заломишь
книжную страницу
как руки

Смотри дыхание
короче памяти
смотри прикасаясь
к той черте

Где смерть
расцветает
больше не зная
стыда.

Как любовники
сплетаются
в единое
полотно
в одну
соединительную
ткань

Я хочу
стать красной
тряпкой

Я легкое
легкое
мясо

Возьми
переверни
положи
на язык

Как на руки
огня
где боль
гуляет
в обнимку
со смертью

И тепло
их брат/сестра
не страшный
нежный
как нарыв

И касаясь
неба
точно марли
взглядом
говоришь
ему/ей
– Пожалуйста
еще.

Горит на губах
и глубже
там где сердце
встречает цепкая
улыбка смерти

/Прекрасное далеко
не будь ко мне
жестоко
я начинаю путь/

Что это будет
там
там
там где
зрачок ищет
только способ
ожога

Его всегда
прерванную
вероятность.

Какое солнце
было тогда
над мной
и тобой

Ясное как
знание
за которое
всегда
платишь

Играешь
в пионерку
в комсомолку
в боль

Ради движения
света
по тому что
прежде было
твоей кожей

а теперь только
поверхность.

Обратилась в ртуть
в ядовитое вещество
в ясность зла

В лес застывший
перед ударом
зимы

В последний
полушепот

Где в коконе
находишь
полусонного
как полуслепого
и речь отдаешь
как кровь
в пробирку

Как последнюю
честь
перед расстрелом
или венчанием.

Два равных
животных
без пола
без рук
без улик

Мы только
равные
здесь
Где поле
битвы
развернуто
алым флагом
ради фразы:
– Ты чувствуешь?

Ты чувствуешь
кровь

густую как
бычья

Сняв с меня
оболочку
тоньше
пленки
два три
слоя лжи

Ты чувствуешь
теперь?

Где лобковые
волосы
вьются словно
в мыле
сводя
пространство
к черноте

И из бойни
выходим
новые мы
прозрачные
как рентгеновские
снимки.

Марина БУВАЙЛО

РАССКАЗЫ

У нас на районе

Весной темнеет поздно, и занятые неспешным общением друзья не сразу поняли связь между опустевшим двором, закрывшейся палаткой в конце дома у ворот и отсутствием Любки, Любаши или тети Любы – для кого как.

То есть не связь, а отсутствие связи, то есть, чтобы понятно посторонним было, палатка закрывалась в восемь, к этому времени вернувшиеся с работы женщины успевали приготовить ужин, спешили бабки, загоняли детей домой, вслед за ними брели оголодавшие мужчины, двор пустел, но ещё до этого появлялась Любка, Любаша, тётя Люба, она же Любовь Васильевна, регистратор из районной поликлиники и, матом и по всякому (к её чести и к чести друзей не всегда матом, потому что иногда к её приходу всё было готово, и она сдерживалась), заставляла дружков дяди Коли транспортировать его домой. Дело не лёгкое, потому что после инсульта дядя Коля не истощал, как полагалось бы инвалиду, а наоборот, благодаря поддержке друзей поправлялся и поправлялся как на дрожжах. Да и то сказать, даже детей-дистрофиков после всяких войн, голода и болезней пивными дрожжами отпаивали, потому что в них витамины. Ну вот, на витаминах дядя Коля после инсульта выжил и поправился. Довольно сильно, так что так просто на третий этаж и не втащить. Но дружба есть дружба, наловчились, дотаскивали вместе с коляской до тёплого коридора и делали ноги, пока Любка ещё во что не запрягла. Вообще-то баба она была не стервозная, кормила дядю Колю и в грязи не содержала, перед работой в тёплом коридоре оставляла, чтобы дружки его прямо оттуда забирали, а в квартиру не шлялись. Ну, поругается или трубку скафандра космического выкинет, которую Серёга ему приспособил напитки пить. Так и что, новую отрезать не проблема, заводу не убудет.

Установив необычность ситуации, не только не расстроились, а даже как-то порадовались за Любку, вот отгул баба взяла, в гости, может, или в кино, а то перед праздниками на концерт или даже в кафе с коллективом. Но весна весной, а всё ж потемнело, и магазин тебе не ларёк, не набегаешься – далеко.

Давай мы тебя, дядь Коля, наверх доставим, Любаша придёт, а ты уж и на месте.

А дальше... дальше хуже. Потому что домой Любовь Васильевна не явилась, и хоть стучал дядя Коля здоровой стороной по коляске, мычал изо всех сил, никто не отреагировал и мер не принял. Утром соседи обнаружили его в коридоре, но удивились не сильно, потому что иногда Любка с самого ранья на работу бежала, а уж лужа под креслом дело житейское, у ихней же двери, придёт – вымоет. Мычал-мычал дядя Коля, но соседи – не Любка и не дружки, в мычание его не вникали. Только когда сползаться под грибок на детской площадке стали, кто с работы заглянул, кто проспавшись после ночной, кто просто проспавшись, когда дяди Коли до кворума хватать не стало, разобрались.

Забеспокоились и в поликлинику звонить стали, а им говорят, да она ж в отпуск ушла, со вчерашнего дня ещё, дома ищите. Дверь в квартиру толкнули, открылась, прикрыта только. Там

Марина Бувайло родилась в Баку. По образованию врач. С 1981 года живет в Лондоне, работает психиатром. Публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и др. Автор книг «Эх, дороги» (М.: НЛО, 2006), «Игры» (М.: НЛО, 2009), «С.П.У.М.С.» (М.: НЛО, 2011). В «Волге» публикуется с 2012 года.

порядок, в холодильнике щи и котлеты с макаронами, а на столе записка – ухажу насовсем, не желаю дальше жизнь тратить на пьяницу проклятого. Где пенсия лежит сам знаешь. Всю сразу не пропей. С приветом твоя бывшая жена Любовь Васильевна

Квартира 13

Почему-то не могу вспомнить номер, кажется, что 13, вряд ли, но пусть будет так.

Молодой профессор женился после смерти матери, когда-то владелицы квартиры, уплотнённой в разные годы доживающими свой век родственниками и пришлыми строителями социализма. Женился, как водится, на студентке и прописал её у себя. Поначалу в квартире жило довольно много людей, но когда я попала туда – Майка привела – оставались только красавец водопроводчик Эдуард, высокая, надменная Таисья Петровна (которая, пренебрегая настоящим именем Эдуарда, прозвала его Васькой, и прижилось, потому что водопроводчика, да ещё такого пьяницу, куда удобнее звать Васькой), и Майкина «семья» – две мачехи и отец-профессор, к тому времени уже немолодой. Комнат в квартире было шесть, две в начале коридора, отдельные, в них жили чужие, одинокие – Васька, и Таисья Петровна, остальные смежные, анфиладой, их занимали Майкины родственники. Имелась ещё «комната для прислуги» – каморка, отделённая перегородками часть коридора, – ну и кухня со столами и шкафчиками, по одному на ответственного квартирсыёмщика.

Профессор, женившись на девчонке, вероятно, сравнивал неумелую и капризную жену с матерью, у которой вся жизнь, всё хозяйство были отлажены, несмотря на перипетии первой половины двадцатого века, и справлялась она с бедами пострашней убежавшего молока и пригоревшей яичницы не надувая губ и не заливаясь слезами. Во всяком случае, моложавый профессор довольно скоро подружился, а потом и ввёл в дом женщину постарше жены, – привел на свою большую, но неудобную для враждебного проживания жилплощадь. Так вот, женщины, жены – бывшая и новая – враждовать не стали, а напротив, старшая взяла шефство над младшей и потихоньку обучала не только искусству готовки, но и умению обращаться с мужчинами, всяким мелким хитрым навыкам. Поощряла и помогала в организации любовных свиданий с неким женатым человеком. Молодая оказалась хорошей ученицей, профессор – ревнивым.

Как-то так получилось, что... не то чтобы одновременно он был мужем обеих женщин, но то одна, то другая отыгрывали его, он перебирался, собственно даже не перебирался, все его вещи находились в той проходной комнате, где за шкафами и портьерой был ещё матерью обустроен ему кабинет, большой, светлый, с кожаным диваном и креслом, письменным столом у окна, так что, оставаясь большую часть суток на своей территории, только спать уходил... от кабинета то влево, то вправо.

Причём это всегда горячо обсуждалось всеми участниками, на время прекращались общие обеды, разделялись, с тактичным участием Таисьи Петровны, кухонные принадлежности, полки в холодильнике. Ссор между женщинами не было, но молодожёны на время уединялись в своё медовое существование. Которое, естественно, заканчивалось. Рано или поздно возобновлялись совместные готовки, трапезы. Потом после какой-нибудь ссоры между супругами профессор и на ночь оставался в своём кабинете... Потом...

Годам к 70-ти профессор внезапно стал заметно сдавать, быстро поседел, обнаружили диабет, подагра, и больше он уже никуда не перебирался, жил в своём кабинете под надзором и опекой обеих женщин.

Тут-то и появилась Майка. Оказалось, что по время очередных размолвок и бесхозности профессор был утешаем... ну, женщиной, тоже бывшей студенткой. Поскольку та женщина была не только независимой, гордой, но и достаточно вздорной, долгосрочные отношения с ней не складывались, однако завелись мальчик и девочка. Навещал он детей не слишком часто и на коротко, приносил деньги и подарки, изредка водил в театр или в музей, и в голову ему не приходило при-

вести их домой. Но тут подросла Майка и, поскандалив с матерью, отправилась искать отца, который по нездоровью и вовсе исчез из жизни детей, тем более что мать, да и брат, всё с большим раздражением относились к его посещениям.

После первого изумления обе мачехи...

Так что вскоре Майка уже жила в четвёртой, используемой вечерами как столовая, комнате и безраздельно владела семейной каморкой. Я практически поселилась там, не в каморке, а вообще в квартире. Моим первым любовником стал Эдуард-Васька, не потому что я любила его или он меня. Просто я зашла в квартиру, когда никого кроме него не было дома, и он, напоив меня чаем, в тот момент он не был в запое, вообще он пил не как другие, ежедневно или подчиняясь зарплате (плату водопроводчики получают от благодарных подхалимствующих клиентов всё время), пил подчиняясь внутреннему, может быть лунному циклу, напоив чаем, он бесцеремонно пересадил меня к себе на колени... Мои одноклассники до этого тоже пытались, но так неумело, что кроме смеха и неловкости ничего из этого не получалось. Потом, вручив мне мой школьный фартук, который чуть раньше он внезапно содрал с меня, сказал: «Во, видишь! если влипнешь, не вздумай сказать, что от меня! Ты приходи, когда захочешь, но только когда я трезвый. Пьяный я за себя не отвечаю. И, вообще, не расстраивайся, не из-за чего».

В тот раз я ничего не поняла, но впоследствии оценила Васькино благородство. Вообще, во многом он действительно был благородным человеком, не только красавцем и отличным слесарем. И, по-своему, заботился обо мне. Даже сам выстирал и погладил фартук.

Я никому о Ваське никогда не рассказывала и приходила к нему, когда заведомо кроме него в квартире никого не было. Не часто. Если он оказывался пьян, в той начальной стадии запоя, когда ему хотелось поговорить, мы с ним просто подолгу разговаривали, совершенно не стесняясь друг друга. Мне он был интересен тем же, что и остальные жители квартиры – это было в своём роде уникальное погружение в чужую, я и тогда понимала, что чужая, жизнь. Хотя нет, не понимала, инстинктивно чувствовала... ну, подруга... её семья... сосед, всё в одном коридоре – так случилось, ну да, случилось, но у меня потом будет по-другому.

Можно подготовиться к экзамену за год, а можно и за неделю. Интенсивный жизненный опыт может стоить жизни, а может её спасти. За два с лишним года, проведённых в квартире 13, я получила концентрированную прививку широты взгляда и толерантности – иммунитет, который меня потом много раз выручал.

Мачехи вдвоём воспитывали Майку, а заодно и меня. С ними можно было говорить о том, о чём со своими матерями мы не то что не говорили, не могли и помыслить об этом. По разным причинам – Майка свою презирала за истеричность, моя была тепличным растением, выращенным сначала моей бабкой, потом пересаженным на такую же искусственную почву моим отцом, который обожал её, но, как я стала догадываться впоследствии, уже после знакомства с квартирой 13, и других женщин не пропускал. Лет до двенадцати я тоже была вполне тепличной, но потом крутая отцовская кровь сыграла во мне, и я стала бунтовать. Неожиданно отец, баловавший и оберегавший своих домашних от любых столкновений с жёсткими сторонами жизни, меня в этом бунте поддержал, и к пятнадцати годам я обрела свободу взрослого, но, если честно, достаточно глупого человека. Хотя училась я хорошо, может быть потому, что и в этом отец не разрешал матери контролировать меня, а может быть несмотря на.

Майкина семья в большой степени стала и моей тоже – я проводила с ними намного больше времени, чем дома – но всё-таки чувствовать себя так раскованно, как Майка, которая, в общем, тоже была приёмной, профессор был не в счёт, мне не удавалось. После ужина, почти всегда я оставалась на ужин, профессор уходил к себе, а мы, отодвинув грязные тарелки на часть стола, которую он освободил, закуривали. Майка и я курили с лагеря, в котором и познакомились, Людмила, старшая мачеха, курила тоже лет с пятнадцати, а Зою, младшую, совратили мы, и она пускала клубы дыма даже более густые, чем наши, потому что мы-то свои честно фильтровали лёгкими, а она эту науку ещё не постигла.

Сидения за необузданным столом принимали разные формы. Начинали с обычной болтовни о школе, работе, прошедшем дне, иногда мачехи читали стихи, у них были разные вкусы, и стихи они читали разные, но не так, как в школе и, главное, не те. Мне больше нравились Евушенко, Ахмадулина, Есенин – их читала младшая, Зоя, а Майке – Маяковский и Багрицкий. В Маяковского она просто влюбилась и донимала меня им к месту и не к месту, например, в метро громко: «Через час отсюда в пыльный переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир...», я делала вид, что всё в порядке, но внутри сжималась – в отличие от Майки, я стеснялась привлекать внимание. Или вместо до свиданья: «дорогая, хорошая, дай простимся сейчас». Мы приносили с собой день, прожитый в другой обстановке, с другими людьми, но рано или поздно начинали задавать друг другу вопросы... Мачехи и я – достаточно деликатно, Майка – прямо и жёстко.

Мне казалось, что все, кроме меня, были абсолютно искренни, весь смысл наших разговоров состоял в искренности, которую мы не можем позволить себе с другими, и это мучило меня – а я и с ними не могу, НЕ МОГУ! Не могу рассказать им о Ваське, или о том, что я думаю о своей семье – отец был довольно большим партийным боссом, но при этом я знала, чувствовала, что партию эту он презирает и ненавидит, и учит меня, подспудно, не открыто, дойти до этого самой. И я, несмотря на то что его самого презирала за двоедушие, говорить об этом не могла.

Вообще «несмотря на» было в большой степени моим не то что девизом, девизы выбирают сознательно, было как бы определяющим моей жизни. То есть я как бы складывала свой опыт про запас, в тайную копилку и, несмотря на него, продолжала ходить в школу, писала контрольные и сочинения, готовилась в институт. Словно ангел-хранитель держал меня за руку и не подпускал к краю.

Профессор вскоре скоростижно умер, и с его смертью женщины разъехались, потеряли интерес друг к другу.

Много лет спустя я узнала, что мы все, включая соседку Таисью Петровну, в разное время, а иногда и в одно, были любовницами Эдуарда...

Примерно тогда же я узнала, что Зоя писала... должна была под давлением? или по собственному выбору? и не только на профессора, на всех в квартире... мне неприятно думать об этом, я доверяла ей больше, чем другим...

С Майкой мы иногда перезваниваемся.

К Людмиле – очень старая, она живёт теперь в маленькой однушке в Тёплом Стане вполне одиноко, но неукоснительно следит за собой, подкрашивает волосы синькой и сбивает собственные кремы для рук и лица – я иногда заезжаю.

Переболев 13-й квартирой, я никогда не пыталась снова зайти туда, хотя Майка всё ещё живёт там.

Павел ЧХАРТИШВИЛИ

БУКЕТИК ОТ РАМУТЕ

Рассказ

Москвич Борислав Михайлович Сергеев учил юное поколение правильно писать по-русски и любить шедевры отечественной и зарубежной художественной литературы. Школьники же лепили ошибки. Они не корпели над «Войной и миром» или «Паломничеством Чайльд-Гарольда», предпочитая гонять шайбу. Сергеев был терпелив, не унывал, а по поводу проблем с дисциплиной ребят сказал на подсвете, что конечно надо принимать меры, но не стоит превращать школу в учреждение, в котором служил штандартенфюрер Штирлиц.

Когда-то молодую Александру Харитоновну, будущую спутницу жизни Борислава Михайловича, похвалил старый профессор:

– Очень способная студентка.

Потом она дослужилась до должности ведущего экономиста и на ней застряла. Как-то дома промолвила с грустью:

– Видимо, это мой потолок.

В мае 1982 года супруги, их дочь и друзья праздновали шестидесятилетие Борислава Михайловича. За окном цвела вишня. Сергеев с детства радовался весной ранней листве, осенью – золотой. Вечером, проводив гостей, жена вымыла посуду и села к телевизору. Повернулась и сообщила в ужасе, что знаменитой актрисе семьдесят. Муж ответил:

– Ну и мне через десять лет будет столько.

А через три недели настало пятидесятипятилетие Александры Харитоновны. Сергеевы мечтали отдохнуть на пенсии. Они давно подсчитывали, сколько лет осталось до счастья, и вот наконец уволились. Пенсия мужа составила 120 рублей, жены – 110.

Дипломная работа их дочери называлась «Истина и психическая реальность в психоанализе». Теперь Элеоноре Бориславовне было тридцать два. Ей не везло с устройством личной жизни. Иногда, будучи в комнате одна, она негромко напевала:

Старинные часы ещё идут...

Старинные часы – свидетели и судьи.

Когда ты в дом входил, они слагали гимны,

Звоня тебе во все колокола.

Умолкала, а спустя некоторое время опять ловила себя на навязчивом пении хита эстрадной звезды. Поразмыслив, она констатировала: обсессивно-компульсивное расстройство. В транспорте, в очереди, на работе с ней такого не происходило.

Павел Чхартишвили родился в 1948 году в Москве. Окончил Московский техникум автоматики и телемеханики и исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал механиком-прибористом, техником-конструктором, статистиком, учителем истории. 40 лет работал в Государственном архиве РФ, почётный работник этого архива. Печатался в журналах «Вопросы истории», «Преподавание истории в школе», «День и ночь», «Север», «Урал», «Подъем», «Южная звезда», «Сура», «Байкал»; в «Независимой газете». В «Волге» публикуется с 2018 года. Живет в Москве.

Однажды у Сергеевых сидела сослуживица Элеонора Бориславовны и запивала чаем популярный среди москвичей вафельный торт «Сюрприз» (килограмм за 2 рубля 20 копеек). Предложила родителям подруги интересно и познавательно отметить их юбилейный год. Сказала, что в городе Тракай в собственном доме живёт знакомая ей и её мужу супружеская пара с двумя дочками. Хозяева говорят по-русски и недорого сдадут комнату, она сама им напишет. Заинтриговала. Замки великих князей: Витаутаса – в прекрасном состоянии, в нём исторический музей и хорошая столовая; и Кейстутиса – там только башни и руины; усадьба и дворец Тышкевичуса; доминиканский монастырь; костёл Явления Пресвятой Девы Марии и православная церковь Рождества святой Божьей Матери; Караимский этнографический музей; три озера, из них самое красивое – Гальве, есть лодочная станция, можно купаться. Райский уголок. Для окончательного просвещения хозяев оставила им пластинку с симфонической поэмой «Море» Микалоюса Чюрлёниса.

Семья кое-что знала о балтийской «витрине СССР», советской Европе. Борислав Михайлович помнил сообщение об открытии современной автомобильной трассы через всю Литовскую ССР, от Вильнюса до Клайпеды. К пятидесятипятилетию Сергеева родительский комитет подарил ему роман «Потерянный кров» Йонаса Авижюса, на титульном листе под благодарностью классному руководителю и добрыми пожеланиями расписались учащиеся десятого «Б». Борислав Михайлович что-то читал о поэте Юргисе Балтрушайтисе. Сергеевы видели вестерн «Никто не хотел умирать», в котором четыре брата мстили за убитого отца. Семье нравились Донатас Банионис, Регимантас Адомайтис и Юозас Будрайтис, Александре Харитоновне запомнился Альгимантас Масюлис. Дочь слышала об оперном певце, теноре Виргилиусе Норейке и скрипаче, дирижёре Саулюсе Сондецкисе. После ухода сослуживицы Элеоноры Борислав Михайлович полез в свой футбольный архив и установил, что вильнюсский «Спартак» (позднее переименованный в «Жальгирис») трижды играл в четвертьфинале Кубка СССР. Наконец Сергеев, прочитав когда-то и запомнив даты взятия немцами первых советских городов, не забывал говорить себе каждый год 22 июня: «В Каунасе ещё наши», 23 июня: «В Вильнюсе ещё наши», 24 и 25 июня: «В Шяуляе ещё наши».

Александра Харитоновна с улыбкой вспомнила Ковалюнаса, ушедшего несколько лет назад на пенсию. Жена каждое утро сооружала ему свёрток с провизией. После сытного обеда на рабочем месте он мирно дремал за своим столом, переваривая съеденное, и прихватывал рабочее время. Завотделом этого не замечал: сидел спиной к Ковалюнасу. Так продолжалось долго, этому вообще бы не было конца. Но однажды старший экономист захрапел. Мягкий, интеллигентный заведующий повернулся:

– Ну Вилмантас Юозо...

Подумав, родители Элеоноры Бориславовны решили сняться с насиженного места.

7 июля дочь провожала их на Белорусском вокзале. Поезд «Москва – Вильнюс» ещё не двинулся, а на стариков уже повеяло ароматом Литвы: проводницы говорили между собой на своём родном языке.

В купе наши пенсионеры общались со спутниками: немолодой парой из Пасвалиса – городка на севере Литвы (так сказали попутчики). Женщина, в отличие от своего мужа, говорила по-русски чисто. Бабушка и дедушка навели внука, уже восьмой месяц служившего в дивизии под Москвой. Парень признался предкам, что от тоски готов пойти домой по шпалам. Услышав, что москвичи едут на месяц в Тракай, соседи по купе заверили их: не пожалеете. Шёл разговор о том о сём. Вспоминали юность. Мужчина из Пасвалиса рассказал, что в 1940 году одни бросали ромашки под ноги входящим в город красноармейцам, других возмутила отмена *privati nuosavybė* – частной собственности. НКВД арестовывал. Сам он тогда мало что понимал и к 22 июня 1941 года не достиг призывного возраста. Тевтонские «освободители» заняли Пасвалис через неделю после своего вторжения, их тоже встречали с цветами. Что творили СС, СД, литовские полицейские и активисты – страшно вспоминать. Немцы пытались мобилизовать «для защиты Литвы» парней девятнадцати – двадцати пяти лет, но большинство не явилось; лично он отсиделся в лесу. Летом 1944 года в окрестностях Пасвалиса шли бои, затем в городе проходил другой призыв – в Красную Армию. Многие опять не пришли: им были не нужны ни немецкие фашисты, ни советские большевики; хотели, чтобы родина жила сама по себе. А он явился. Его направили в нестроевую часть. Там он помог ефрейтору Кире Монаховой: нёс полевой телефон.

Спросил у жены:

– Какой марки?

– ТАИ-43.

Продолжил:

– И вот: почти тридцать восемь лет вместе.

История была потрясающая, Сергеевы её оценили.

Борислав Михайлович рассказал, что был здоров и хотел в РККА, но, попав в Военно-воздушные силы, был определён на аэродром и тоже не был на передовой. Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы...», «Тридцать лет Победы...».

Сосед по купе сказал:

– У нас тот же комплект.

– У меня ещё «За взятие Берлина», – напомнила телефонистка.

Александра Харитоновна улыбнулась:

– А я не воевала.

– И слава Богу, – прокомментировал мужчина.

Сергеев сообщил, что он – единственный из юношей класса, доживший до 9 Мая 1945 года.

А одноклассники собираются и вспоминают ребят.

Заговорили о культе личности. Литовец заметил:

– Коммунистическая партия убрала из второго куплета гимна Литовской ССР упоминание о Сталине.

Борислав Михайлович ничего не имел против:

– Да. Может быть коммунизм без ГУЛАГа.

Самые наивные московские «шестидесятники» уже сознавали несбыточность главной мечты XX века. Но учитель Сергеев ещё веровал.

Литовский ветеран возразил:

– Пока не получилось.

Спросил Александру Харитоновну:

– А вы как считаете?

– Я в этом не специалист, – ответила она. – В своей профессии кое-что понимаю, а во всём не разбирается никто.

– Таких, как вы, большинство: в чём-то разбираются, в чём-то не разбираются. Есть ещё меньшинство: те, которые ни в чём не разбираются, – улыбнулась жительница Пасвалиса.

Путешественники выспались. Завтракали, пили чай. Из динамика лились литовские народные песни. Мелодии, голоса и игра музыкантов были хороши. Затем послышалось:

– Добрый день, товарищи пассажиры! Наш поезд прибывает в столицу социалистической Литвы – 659-летний Вильнюс с полумиллионным населением. Всего вам доброго. Будем рады снова видеть вас в нашем поезде.

Зазвучал гимн. Борислав Михайлович различил три слова: «летува», «партия», «коммунизм». Спросил мужчину:

– Кто автор музыки?

– Авторы. Дварионас и Швядас.

Простившись с попутчиками, Сергеевы вышли на привокзальную площадь. В неё втекала «Улица С. Шопена» – так было написано на табличке. Забавно. Поехали в исторический центр Вильнюса. Названия некоторых остановок, объявляемые водителем, звучали экзотически. Например, «Аушра». Сойдя с троллейбуса, прочитали: «Замковая гора, высота 48 метров». И ещё: «Башня Гедиминаса – Великого князя литовского, короля литвинов и русинов, высота 20 метров, XV век, готика». Поднялись на гору, затем на башню. Отдыхались. Со смотровой площадки хорошо был виден Старый город и долина реки – её название они узнали позже: Нерис, или Вилия.

Посетили красивый костёл. Туда вошёл солидный мужчина их возраста в хорошем костюме, в галстук, с портфелем, опустился на колени.

Проголодавшись, муж и жена зашли в «Valgykla». Почти все столы были свободны. На второе москвичи с удовольствием съели по куску недорогой говядины. В их родном городе была та же, что и в Вильнюсе, невысокая государственная цена: два рубля за килограмм, но раздобыть говядину по этой цене в Москве было сложно.

Выйдя из столовой, пошли по одной из центральных улиц. За высокой решётчатой оградой увидели скверик, за ним – здание, над которым развевался флаг: на красном фоне золотые пятиконечная звезда, серп и молот; ниже – узкая горизонтальная белая полоска; под ней – более широкая зелёная полоса. Скверик был очень кстати, захотелось посидеть там в тени, поедая мороженое, купленное в киоске с вывеской «Ledai» (узнали ещё одно слово). Пенсионеры вошли в открытые ворота, не обратив внимания на стоявшую сбоку застеклённую будку. В будке вскочил мужчина в штатском и замахал руками: сюда нельзя.

Съездили в знаменитый жилой район Лаздинай.

В те времена в нашей стране книги стоили недорого. Но правдивые, талантливые рассказы, повести, романы издавались недостаточными тиражами. Когда такие произведения появлялись в магазинах, выстраивались очереди; счастливые, оказавшиеся в нужное время в нужном месте, расхватывали долгожданное чтиво, и на полках опять красовалась макулатура. Сослуживица Элеонора, агитируя Сергеевых ехать, сказала, что в Вильнюсе, в университетском городке есть книжный магазинчик, где всегда в продаже произведения замечательных советских писателей 1960-х – 1970-х годов на русском языке. И супруги направились на троллейбусе туда с предвкушением удачи. Нашли и университетский городок, и магазин. Покупателей почти не было. Борислав Михайлович ахнул: Юрий Казаков, Сергей Залыгин, Владимир Тендряков, Вячеслав Кондратьев... Он начал обсуждать с женой: вот это... нет, лучше вот это... Продавец молчал. Стоявшая рядом дама сказала по-русски:

– Это только для студентов.

На студентов наши пенсионеры не были похожи. А возможно, причина была иная: бабе не понравилось, что выбирающие книги говорят не по-литовски. Стерва, подумал Сергеев, что ей, жалко? Настроение было испорчено. Ушли.

Устали. На большом современном автовокзале сели в «Икарус». Мягкие сиденья, комфортно. В пути Сергеева думала: надо будет за идею и организацию поездки купить подружке Элеоноре что-нибудь хорошее. Когда подъезжали к Тракаю, матери вспомнился рассказ дочери. Элеонора пришла в бухгалтерию психушки выяснить: почему заплатили так мало? Бухгалтерша разложила бумаги и объяснила, что заплатили не мало, а даже много. Александра Харитоновна вспомнила плакат в актовом зале своего учреждения: «Экономика должна быть экономной – таково требование времени».

Приехали. На автостанции Борислав Михайлович прочитал, что отсюда ходит автобус в Каунас. Решил: съездим. Супруги нашли улицу, дом, на соседнем здании висела вывеска «Moteriska avalynę». Пенсионеров ждали хозяева: муж и жена в возрасте Элеоноры. А вот и дочери: десятилетняя Аутра и четырёхлетняя Рамуте. Хозяйка показала гостям комнату, уведомила:

– Умываться будете над ванной, а мыться – в городской бане.

Александра Харитоновна спросила хозяина, как переводится надпись на близлежащем доме. Тот ответил:

– «Женская обувь».

Москвичи сразу увеличили число известных им литовских слов. Сергеева сказала мужу:

– Завтра туда ходим.

Правильно. Замок Витаутаса и дворец Тышкевичуса подождут.

Борислав Михайлович записал: добрый вечер – лабас вакарас, спасибо – декуи, пожалуйста – прасоме.

Отдыхали в садике. Сергеев вспомнил противную тётку из книжного магазинчика. Думал о дочери. Размышлял о распространённой точке зрения, что для полного и правдивого отображения жизни надо уделять в романах значительное место социальным вопросам и политике, эти темы – неотъемлемая часть бытия, они постоянно лезут во все щели; приводились примеры: Оноре де

Бальзак, Фёдор Михайлович Достоевский, Роберт Пенн Уоррен, Грэм Грин. Борислав Михайлович не был согласен, он считал, что художественная литература не должна дублировать политологию, историю, обществоведение, её дело – человеческая душа, чувства, поступки.

Он наблюдал, как Рамуте рвёт цветочки. Малышка подошла к Александре Харитоновне и подала ей букетик.

Сергеевы привыкли смотреть вечером по Первой программе Центрального телевидения СССР информационную программу «Время». Борислав Михайлович спросил хозяина:

– Можно?

Тот кивнул.

Ведущий Евгений Сулов рассказывал, что вчера взломщик Майкл Фейган пробрался в Бунингемский дворец, украл бутылку из винного погреба, затем оказался в спальне царствующей королевы Великобритании и королевств Содружества. Пятидесятишестилетняя Елизавета Вторая проснулась и увидела выпивающего Фейгана. Он попросил у неё закурить, она начала звать на помощь. Чёрно-белый «Рекорд» два раза сам выключался, Рамуте изо всех сил топала ножкой, изображение и звук тут же восстанавливались, девочка смеялась, и её отец веселился от души.

Появилась недовольная хозяйка. Гости встали, пожелали хозяевам спокойной ночи и удалились.

Борислав Михайлович напомнил жене о запрете мыться в ванной.

– Ничего, – ответила она. – Действительно, можно сходить в баню.

Кончался вечер 8 июля.

Бориславу Михайловичу приснился специальный выпуск программы «Время». Вела его Нонна Бодрова. Выпуск был посвящён торжественной встрече в аэропорту «Шереметьево» Леонидом Ильичом Брежневым Первого секретаря ЦК Компартии Литвы Гедиминаса. Лидер братской республики был в ретро-костюме с двумя золотыми медалями «Серп и Молот». Говорил без бумажки, почти без акцента:

– Товарищ Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Президиума Верховного Совета СССР! Литва и Россия – соседи почти восемь веков. Имело место всякое. Но давно прекратилась стрельба. Осуждены незаконные репрессии. Литва, сорок лет назад – аграрная, стала в составе СССР промышленной республикой. Хочу передать Вам и всем народам великого Советского Союза привет от дружественного народа Литовской ССР.

Семидесятипятилетний Брежнев, в льняном костюме светло-песочного цвета, с пятью Геройскими звёздами, надел очки, вынул листок.

– Дорогой товарищ Гедиминас! Пусть учёные изучают прошлое, мы их послушаем с чувством глубокого удовлетворения. Но смотреть надо в будущее. Коммунизм несёт людям мир, труд, свободу, равенство, братство и счастье. Draugas Gediminas, sveiki atvyke i pavizdinis socialistas miestas Maskva!

Было заметно, что говорить ему трудно. Он подошёл к высокому гостю и расцеловался с ним. Под музыку Дварионаса и Швядаса салютная батарея сорока-пятимиллиметровых орудий производила артиллерийские залпы. Маршировал Почётный караул.

Всё в природе и обществе развивается, меняется. Время будет идти, Сергеевы больше узнают, претерпит изменения их мировоззрение, увянут иллюзии. Спустя несколько лет после поездки родителей Элеоноры Бориславовны мы начали восстанавливать старые храмы и строить новые; мы говорили родным: «Прости меня за всё» и слышали в ответ: «Бог простит – и я прощаю», мы простили соседей по этажу. Может быть, найдут в себе силы простить друг друга и соседи по географической карте.

Наступило 9 июля 1982 года. Тёплая короткая ночь простёрлась над заболоченным берегом Нямунаса, над дюнами, озёрами, хвойными лесами, пологими холмами, над древним Вильнюсом, над Пасвалисом и Тракаем. Двое начинающих московских пенсионеров крепко спали. Александре Харитоновне снилось, что она в модных туфлях, купленных в «Moteriska avalyne», ступает вслед за мужем на перрон Белорусского вокзала и видит улыбающуюся Элеонору. В руках у дочери цветы, она не одна: с ней незнакомый её родителям мужчина, располагающий к себе.

Эдуард РОЗЕНШТЕЙН

Такие романы хорошо идут в Германии,
провинция, семья, плохие новости
не потревожат нашей горестной гармонии,
немного доброй материнской местечковости.

Рахель в девичестве и Суламифь в замужестве,
затем обеих в Бабьем Яре, в этом ужасе.
Зачем-то выжившее жалкое отрочество,
гевалт, кирдык, ой взй так и переводятся.

Набор все тот же, важна тематизация,
и в ход идут слова, слова из прошлого,
теплушка, дифтерит, эвакуация,
трупик дитя на неизвестной станции
и воздаянием за все экранизация.

Поманила прохлада еще одного оливкового сада.
Сколько их в нашем небесном граде?
Дыхание, одухотворенное ментоловой кэнди,
могучая челюсть английского проповедника,
под мягкий шелест искусственного ручья,
с упором колена между лопаток,
упражняется,
мнет и вправляет шейные позвонки,
ласково проводит рукой по загривку,
неужели ты не понимаешь, что господь любит даже таких как ты,
висят флаги, как скальпы новообращенных,
группа филиппинцев непременно хочет, чтоб я с ними сфотографировался,
поэтому расслабься, ты тоже для кого-то местная достопримечательность,
ты тоже в далекой Маниле, как это дерево,
приобретешь неизвестное тебе значение.

Эдуард Розенштейн родился в 1973 году в Киеве. С 1997 года живет в Израиле. Учился в Иерусалимском университете.
Публикации: «Иерусалимский журнал», «Воздух», «TextOnly» (под псевдонимом Арсений Былинкин).

Когда тебе исполнится смерть отца,
никто не знает, этот возраст скрыт

когда подстерегает ритуал
которого не знаешь
за этой дверью скажут что сказать
сюда
входи же

чтобы войти
ты непроизвольно ссутулишься
и остановишься в росте

кряжистая походка старух и сирот
почва осела где-то на уровне крестца
и кость как у дерева
начала расти вширь.

Участок для мамы

Вкладываться надо с умом,
вкладываться в землю, вкладываться в небо
(здесь самые высокие проценты),
вкладываться в женщину,
как в большую розовую копилку с подрисованными бровями,
потруси ее и в ней зазвенит твое многодетное бессмертие,
вкладываться надо с умом, не разбазаривая.

Остался только один участок земли,
но дорогой, с подзахоронением, не вширь, но вглубь.
И заломил цену.
Пришлось купить, чтоб не в стену.
И раввин впервые посмотрел на меня с уважением:
ты сделал хорошее вложение.

маленькое черное
как на рентгеновом снимке
прожигает через увеличительное стекло
газета на автобусной остановке
порывисто
вздымает к небу молитвенно сложенные кулаки
прикосновение паяльника

сквозь слоистое марево
слабое дуновение канифоля
цоканье деревянных колес
как будто кто-то угнал из Национального музея
шикарный венгерский катафалк
гордость коллекции
поблескивая лаком
медленно цокает по деревянному настилу
у кафе Rozmarin
вдоль последнего слова архитектурной техники
ложные окна пирамид в честь умерших спонсоров.

Адвокаты риэлторы банковские работники
судьи маклеры брокеры подрядчики девелоперы
однотонные рубашки и галстуки
черные тупоносые туфли по местной моде
излюбленный подиум окрестных воротил кофейного навара
о эти бесконечные покачивания чреслами
в почасовых гостиницах
дарящие иллюзию бессмертия!
блаженно растянуться в плетённом кресле
как на кладбище после занятий любовью
кафе Rozmarin у больницы Ихиллов заряжает особой энергией.

Блестящий черным лаком венгерский катафалк
медленно цокает по деревянному настилу
сквозь мягкие ткани и сухожилия
глазные прорехи и костный мозг
блаженная пенка капучино
сладкая горечь эспрессо
я буду вспоминать тебя
смачный хруст диетического печенья
сочный прихлеб всхлип предсердья
влажный прищур женское и правое
старое и живое мужское и мертвое.

Чёрный шикарный венгерский катафалк
длинной влажной бессонной ночью
кого ты пытаешься обмануть
прикинувшись что спишь
комком грязи плевком плоти
вжавшись и обхватив
вцепившись и не отпуская
но сползая сползая
тяжелой каплей расплавленного олова
не оставляя следа

Счастливые потребители фармацевтического фастфуда
центр разветвленной сети больничных касс

финансовые потоки фармакологической индустрии
царственное высокое сиденье амбуланса
как букашки разбегаются в разные стороны легковушки
беснуются тысячи всадников твоего частного апокалипсиса
в этом городе властвует не секс и не смерть
но предсмертие
бесстрастно развалился на соседнем сидении возница
кого везем?
гони не гони
покачиваемся на месте взад-вперед
как на детской деревянной лошадке
разбегаются в стороны
беспорядочные узкие тель-авивские улочки
как будто отцы нации из восточно-европейских местечек
Фришманы и Фишманы
улепетывают и улепетывают от лощенного казака
в белых рейтузах с красными лампасами.

В предутренней прохладе тебе наконец приснится
одновременный скрип уключин черная барка
скользит вдоль стен города где нет ни каналов
ни лошадей в плюмаже ни савана ни возницы
только цоканье узких колес венгерского катафалка.

По утрам, когда мусорщики, как моряки,
висят на своих мусоровозах, бороздя
пустынные просторы южного Тель-Авива,
овеваемые свежим гниlostным бризом,
они картинно подносят руку к глазам
и вглядываются в даль, как оперные певцы,
солнце слепит глаза,
на ходу они соскакивают со своих мачт
и вперевалочку с непривычки,
разминая ноги на земле, как настоящие жители морей,
вытягивают из-за пояса рукавицы с широкими раструбами
и ловко поддевают контейнеры, майна!
Вонючая жижа со дна, арбузные корки из порванных кульков
и дохлые кошки расплескались по асфальту, не беда!

По утрам из окна, как ребенок, вытягивая шею,
я люблю смотреть, как они,
бесстрашно держась одной рукой,
второй плавно загребают воздух,
соскакивая на ходу, как будто пустятся сейчас
в матросский танец вприсядочку с залихватским
выбрасываньем коленец и прихлопываньем по голенищам,

как славно, наверное, нестись по пустынным улицам,
обдавая первых прохожих сногшибательными волнами
неведомых будоражащих глубин,
когда я вырасту, я тоже обязательно стану мусорщиком.

приветливо помахав
на итальянский манер
ладонью к себе
как бы подбадривая
cheer up! – как они говорят
странная манера плавать
загребая ладонью не воду
но воздух над головой

немного выпренно
я бы сказал эксцентрично
махать незнакомым людям
возможно это заплыв
не в длину а в глубину
да уже видишь
осталась одна ладонь
приветливо помахав
на итальянский манер

а крыша зацвела, дернина зацвела
цветами, название которых еще найду
в учебнике по ботанике душистом
как все новые учебники в августе

неужели больше никогда
не будет хрустеть на разломе
как откровение твоих колен
девственная биология за 8-й класс

я жадно проглатывал их еще в августе
историю биологию ботанику
я спешил понять, что будет со всеми нами
кроме скучного учебника по литературе.

Иван ГОБЗЕВ

МОЯ ДЕМОНКА

Рассказ

На самом деле ничего не изменилось. Теперь я это понял. Подозреваю, что в принципе так устроено мироздание на самом фундаментальном уровне.

Раньше я много возмущался, протестовал, писал везде о том, что это неправильно. Что вся социальная система устроена несправедливо, что нас эксплуатируют и используют как рабов на галере.

Фактически получалось так, что работали мы иногда и по шестнадцать часов в день, просто часть работы выполняли дома. По сути дела высшее руководство нас насиловало, как и в годы расцвета капитализма, но так тонко и завуалированно, что мы вроде ещё и благодарны были за это.

Теперь я понял, что, видимо, заблуждался, и общество так устроено потому, что так устроен мир, вся вселенная. Это закон природы.

Но, конечно, есть детали. Если ты предприимчив и не такой ленивый дурак, как я, то ты очень и очень даже можешь преуспевать в...

– Ну? Чего надо?

Я уже довольно долго мялся у двери, изредка робко постукивая. Но вот эта проржавевшая и исцарапанная дверь отворилась, и вышла она. Они здесь все очень высокие, минимум на голову выше меня, при том что и сам я не маленький. К их внешности я пока не привык. Во-первых, она совершенно голая. Кожа тёмно-серая, с сальным отливом, местами щетинистая, мощный хвост, крутится как будто сам по себе, и спиральные рога. И копыта. В целом даже красивая, если отбросить культурные условности.

Смотрит на меня нетерпеливо.

– Лопата для угля сломалась. Мне сказали к демонку пойти...

– О, боже, дурак! – закатила она глаза. – Во-первых, я не демон, а демонка. Во-вторых, я похожа на человека, который выдаёт лопаты?

– Ну... Честно говоря, вы вообще на человека не похожи.

– Дерзишь? Проваливай, пока жив! – и она развернулась, чтобы уйти. Я не удержался:

– Кстати, демонесса звучит лучше. И я уже мёртв.

В то же мгновение я получил хвостом по губам, больно, но не очень сильно, могло быть и хуже.

И захлопнула дверь. Захлопнула, и тут же за ней раздалось: «Ааааа!!! Не надо, не надо, пожалуйста! Ааааа!» Страшные, леденящие, как говорят в таких случаях, кровь крики. Но я привык.

Я в аду.

Иван Гобзев родился в 1978 году. Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат философских наук. Работает в должности доцента в НИУ «Высшая школа экономики». Печатался в журналах «Нева», «Новая Юность», «Зинзивер», «Дружба народов» и др. Автор четырех книг прозы. Предыдущая публикация в «Волге» – рассказ «Ложиться надо сейчас» (2020, № 5-6).

Если бы я знал при жизни, что окажусь тут, то очень ценил бы мои условия работы. Это на самом деле был рай на Земле. Но так всегда бывает – что имеем не храним, потерявши плачем.

Здесь рабочий день не кончается никогда. И перерывов тоже нет. Здесь так: либо ты работаешь, либо ты тот, кто в котле. Я выбрал первое, но не уверен, что меня хватит надолго.

Почти все новички выбирают работу, потому что никто не хочет заживо вариться в кипятке, идти под разделочный нож или на растерзание чудовищам. Иногда, но редко, попадаются принципиальные, кто сразу заявляет: «Работать на вас я не буду!» и сам даже лезет на костёр, без помощи чертей. Чаще так поступают те, кто при жизни как раз ничего не имел против работы и отдавался ей на все сто. А тут вдруг, смеются демоны, начинается это кокетство. Хотя я на самом деле понимаю – это принципы. У меня их нет, но не потому что я плохой человек, а потому что так учил Будда.

Однажды меня поставили кидать уголь под котёл с новичками.

Стою, кидаю лопаты одну за другой, стараюсь не расслабляться, потом что знаю уже – сразу по спине получу. Жар адский, всё багровое, языки пламени пляшут на небе. Душно, сердце бешено колотится, всё время кажется, что сейчас в обморок упадёшь, но на самом деле не упадёшь, хотя и хотел бы. Вспоминаешь со сладкой печалью, как сидел в офисе с девяти до пяти, потом в метро, зажатый другими такими же, открывая и закрывая одни и те же приложения в телефоне, а потом дома за ноутом ещё до двух ночи, и понимаешь: вот где рай-то был! Но здесь лучше не думать. Вообще. Так легче. Просто кидай лопату за лопатой в ослепительное горнило, превратись в механизм, сосредоточься полностью на деле и ничего не впускай себе в голову. Хотя и трудно это, требует большой практики. Самое сложное – принять, что надежды нет. То есть это навечно и варианта только два: либо ты с лопатой, либо ты в котле.

– Вань! Вань?! – слышу вдруг голос сверху.

Поднимаю глаза, смотрю, над котлом голова приподнимается.

– Боже, Виктор Петрович?! Вы?

Виктор Петрович мой последний начальник. Большой человек, очень уважаемый в нашей компании был.

– Да, Вань я, привет...

– Как вы тут оказались? – спросил я и сразу понял, что вопрос-то дурацкий.

– Да как все, Вань, как все... Слушай, можешь мне помочь? А то я уже не могу... Пять минут, а вся кожа облезла, глаз лопнул и волосы выпали...

Да, вид у него в самом деле был неприятный! Только по голосу и узнал.

– Виктор Петрович, – говорю, – ну есть другие варианты... Например, растерзание монстрами, сожжение заживо... Но везде своя специфика!

– Нет-нет, Вань, я не про это... Я вообще боль терпеть не могу, я уже всё, на грани, а это, говорят, теперь навсегда!

– Ну так мы в аду, – смеюсь, – тут как бы всё ради боли, чего вы хотели!

– Вот как ты заговорил! Раньше всё сюсюкал: ах Виктор Петрович, ах Виктор Петрович! А теперь вот как?

Я смутился:

– Виктор Петрович, так может вам работу тогда выбрать?

– Да что ты говоришь, Иван! Я в жизни ничего тяжелее ручки не держал! Поздновато переучиваться!

Но тут один из чертей длинным шестом погрузил Виктора Петровича под воду, а другой врезал мне так, что я полетел прямо в печь.

Пошёл просить о переводе. После того как сгорел вместе с лопатой, решил немного отдохнуть, полежать в котле. Пошёл туда, куда черти отправили. Подхожу, смотрю, а место знакомое. Вообще тут все места похожи, но я узнал по ржавой багровой двери в царапинах. Постучал робко.

Потом опять. Тишина. Приоткрываю дверь, заглядываю, с непривычки не видно ничего, только чёрная бездна.

– Можно?

– Подожди! – слышу в ответ. – Занята.

Через пять минут выходит демонка эта, руки по локоть в крови, капает на землю.

– Чего тебе? – смотрит нетерпеливо.

– Я это... Не хочу больше лопатой махать... Хочу в котёл.

– Мест нет.

– Как это – нет?

– А вот так, нет.

– Да не может такого быть...

– Я сказала – нет.

– А как вас зовут?

Она посмотрела удивлённо, взмахнула хвостом, но передумала бить, и в воздухе вдруг возникла лопата.

– На, держи, и чтобы я больше тебя не видела. А то сам не рад будешь.

У меня появились коллеги. Меня перевели в другое место. Если раньше я обслуживал небольшие котлы, то теперь меня поставили к большому, вместе с другими кочегарами. В котле было много свободного места, туда поместилось бы ещё столько же, и мне было обидно, что меня не взяли. А вроде говорили, что у каждого из нас «есть выбор»!

Нас тут было полно, а чертей мало, поэтому я старался поменьше напрягаться, чтобы не потерять опять лопату. Я слышал, что с теми, кто портит местное имущество трижды, поступают особенно жестоко, так, что их потом уже никто и не видит никогда, разве что по частям.

И вот поэтому я стоял, помахивал не спеша полупустой лопатой и косился на силуэт чёрта на фоне полыхающего неба. А иногда и вообще останавливался передохнуть.

Как-то раз присел я так на кучу угля, пока надсмотрщики далеко были. И вдруг слышу:

– Эй? Чего расселся?

Я вздрогнул, вскочил, стал как бешеный лопатой махать, а потом вижу: это такой же, как я, грешник-работяга.

– Ну ты и напугал, – говорю.

– И правильно! Ты чего отдыхаешь? Работать нужно!

– Кому нужно? – не понял я.

– А! – криво усмехнулся он. – Умник, значит. Мы все тут горбатимся за своё место, а ты не такой! Ну-ну!

И стоит, красный весь от жара, лицо мокрое, ручьями льёт, еле дышит уже, но кидает в горнило одну за другой, да все полные лопаты и только лучшего угля – покрупнее, а не пыль какую-нибудь. Видно, разозлил я его, не может успокоиться:

– Труд из обезьяны сделал человека, слышал такое? А ты, значит, вот так...

– Ты и сам лучше отдохни, – говорю, – смотри, тебя удар сейчас хватит.

Он покачал головой, криво усмехнулся и обозвал меня очень грубым словом. А спустя минуту за грудь схватился и упал замертво.

Пригласили в профсоюз работников лопаты. Они выступают за нормированный рабочий день и перерывы. Я согласился написать манифест, хотя и не верил, что из этой затеи что-нибудь выйдет. Дело в том, что здесь собственно нет различия между днём и ночью, и часов тоже нет. Во-вторых, ты либо с лопатой, либо в котле. Ну, как вариант четвертование, погребение заживо и прочие ужасы – но это уж для совсем отпетых негодяев.

Я уже слышал тут историю про забастовку кипящих в котле – они требовали снизить температуру воды. Демоны посмеялись и заменили воду на кипящее масло.

Но всё же я решил написать. Взял и начертил на раскалённом песке наши требования. Что требуем двухчасовой рабочий день, что бы это ни значило, иначе просто перестанем делать свою работу, и все котлы остынут, и грешники повылезают наружу, и начнётся такой хаос, что ад превратится в рай. И добавил в конце, что мы ничего не боимся, пускай делают с нами всё что угодно, но с завтрашнего дня объявляется всеобщая забастовка.

После этого меня пригласили на беседу. Там было несколько демонов, в том числе эта демонка. Она сидела, закинув ногу на ногу, шевелила хвостом и чему-то улыбалась. Другие были мужчины, и все ужасно серьёзные. С бородами, козлиными ушами, и очень страшные.

– Садись, – кивнул мне один из них на стул.

Я посмотрел на то, куда он сеть предложил.

– Спасибо, – отвечаю, – я постою.

– Ладно. Ты кем был при жизни? Преподавателем же?

– Да.

– Ясно. Значит, торговал знаниями... С утра до вечера продавал истину за деньги? Выходит, сутенёром зарабатывал?

– Вот тут не соглашусь! – уверенно сказал я.

Они переглянулись весело. Демонка эта глазами стрельнула так, что у меня усы оплавилась.

– Ну не согласись! – говорят.

– Более корректно, – объясняю, – мою профессию называть стриптизом. Преподаватель обнажает перед слушателями истину. И чем лучше обнажает, тем больше получает.

– И поскольку часов в день обнажал?

– Ну по-разному бывало... Бывало не очень много, а бывало и по сорок с лишним часов в неделю... И с переменным успехом, сами понимаете, когда столько обнажаешь, качество страдает...

– Откуда же столько истины взялось, чтобы её обнажать? – удивился один из них. – Да и не засаливается ли она от такого обращения?

– Что есть, то есть. – кивнул я. – Но это уже не ко мне, это к Министерству науки и высшего образования. Они диктуют правила, сколько преподаватель должен обнажать. По чести, и вполногину этого было бы уже много! Но таковы правила.

– Теперь я поняла, за что так у нас с работниками этого министерства, – ухмыльнулась демонка, разглядывая когти. Когти были отполированы и покрашены красным. Мне казалось, что она специально демонстрирует их мне.

– Очень красивые когти, – говорю, – мне нравятся!

Демоны переглянулись с непониманием. А она широко улыбнулась, так что я впервые увидел её клыки. Белые, ухоженные, без остатков мяса, как у других. И пяточок у неё в общем даже весьма привлекательный.

Теперь я сам стою с плёткой на вершине холма, пока грешники внизу работают. Рога стали потихоньку пробиваться, на плечах и бёдрах появилась мелкая щетина. Хвост ещё не растёт, но ступни как будто становятся меньше, должно быть, сворачиваясь в копыто.

Я мог бы и раньше догадаться, что надсмотрщики, черти низшей категории – это бывшие грешники.

Мои недавние коллеги по профсоюзу проклинают меня, глядя снизу вверх, и говорят, что я сволочь. Я стараюсь не бить их в ответ, хотя иногда приходится, добрым тут быть нельзя, разжалеют обратно грешники. А я как подумаю о лопате, так меня в дрожь бросает!

Теперь-то получше, конечно, стою себе, смотрю свысока на полыхающий мир, люблюсь картинками адских мук от горизонта до горизонта. Но скучно бывает. Чем, думаешь, заняться? Делать-то нечего... И так, от безделья, иной раз и хлестанёшь какого-нибудь бедолагу с лопатой.

– Ты ещё пожалеешь! – говорят они мне. – В рай-то тебе теперь точно не попасть!

Это есть такая местная легенда, что кто долго терпит муки в аду, рано или поздно попадёт в рай. Я так не думаю, потому что ну как могут рассчитывать на рай те, кто поддерживает огонь под другими такими же?

И вот как-то стою я такой весь багряный и в языках пламени, щупаю свежие рога, слушаю, как стонут из-под земли бывшие чиновники Министерства науки и высшего образования, и вдруг слышу:

– Вань! Вань? Ты же?

Смотрю, внизу с лопатой у горнила стоит в ожогах весь Виктор Петрович.

– Здравствуйте, Виктор Петрович, – отвечаю, – да, я.

– Тебя не узнать! – говорит.

И робко так говорит, весь начальственный налёт пропал.

– А что это вы не в котле? – удивляюсь. – Помню, не хотели же...

– Так это когда было! – жалко улыбается он беззубым ртом. – Слушай, Вань, подсоби, а? Не могу я уже с этой лопатой... Хочу в котёл обратно, а говорят, там мест нет...

Я рассмеялся, но тут же спохватился.

– Виктор Петрович, да ведь кто я такой? Я же сам грешник недавний, а теперь бес самой низшей категории. Кто меня послушает?

– А можно мне как-нибудь тоже в бесы?

– Что за базар?! – это другой чёрт к нам подошёл, заметив, что Виктор Петрович не работает. – Что такое? Что происходит в рабочее время?!

И давай хлестать его плёткой. Бьёт и бьёт, а Виктор Петрович упал уж на четвереньки, ползёт к горнилу и кричит, сам не свой от боли. Я тут не сдержался, прыгнул в яму, лопату Виктора Петровича схватил и об голову черту обломил.

Меня ведут на казнь. Не знаю, что будет со мной, ясно – что-то страшное. Говорят, за третью сломанную лопату отправляют навечно под землю. А тут ещё и нападение при исполнении служебных обязанностей...

Подводят меня и стучат. Стучат в дверь, и вижу я, что дверь-то очень знакомая, та самая, в красных разводах, царапинах и ржавчине. В самом деле, открывает демонка моя. Смотрит с улыбкой, только я не понимаю, что значит эта улыбка.

– Ах ты, дерзкий! – говорит и локтем лицо утирает, а в руке молоток с прилипшими волосами. – Так и думала, что увидимся ещё. Ну, заходи!

Толкнули меня внутрь во тьму и дверь захлопнули.

Стало мне очень не по себе, испугался я так, как никогда не пугался, особенно как заметил посреди помещения железное ложе.

– Ложись! – говорит она, стоя за спиной.

Я, весь дрожа и трясясь, ногу на ложе закинул, да от слабости промахнулся, и только с третьего раза, под её смех, сумел залезть. Лёг, глаза закрыл и жду, слушаю её дыхание.

Теперь я её заместитель. По связям с общественностью. Поскольку никакой общественности тут нет, как и связей, это означает, что делать мне нечего. Я совершенно свободен и могу наконец всецело предаться тому, чем и должен заниматься человек – созерцанием и самосовершенствованием. Правда, я больше не человек, и Виктор Петрович, например, в очередную встречу меня уже не узнал – с моим новым пятакон, щетинистым горбом, клыками, ослиными ушами и бараньими рогами. Ну и с копытами, что, кстати, намного удобнее ступней – можно очень быстро бегать и ловко скакать. Может, ещё и крылья вырастут, и тогда я смогу здесь летать. Моя демонка говорит, что это вполне возможно, потому что у меня очень хорошие задатки. В общем, и в аду есть свои плюсы, и очень даже может понравится, просто весь вопрос в том, кто ты – грешник внизу или демон наверху.

Кстати, Виктору Петровичу я помог – он теперь снова в котле.

Татьяна НЕШУМОВА

Душа обитает, а тело живет.
Листва облепляет древесный живот,
Но ветер заводит пластинку,
И осень идёт, опустив рукава,
И кажется, можно, а впрочем едва,
Остаться живым и живые слова
Отдать, как ботинки, в починку.

2017

Шварц на балконе без лица
где ночь и дождь
и я как будто без лица
и ночь и дождь
теперь осталась без лица
и грудь и руки беглеца
вышвыривает дрожь
темнеет поздно приходи
в свое лицо сама гляди
и нежное умножь
а фальшь и юности чело
у ночи и весны назло
сотри и уokoшь

2017

Татьяна Нешумова родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. Автор пяти книг стихов (последняя вышла в 2017 в Нью-Йорке), публиковалась в журналах «Юность», «Воздух», «Волга», «Носорог», «TextOnly», «Новое литературное обозрение», газете «Гуманитарный фонд» и др. Автор статей по истории русской поэзии XVIII–XX веков (от Д. Хвостова до Г. Дашевского). Публикатор забытых поэтов первой половины XX века. Старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой.

Мы пока еще не ляжем спать.
Сомов и Улитин не пускают.
Мне не скучно Сомова читать,
А тебя Пал Палыч занимает –

Что еще захочет срифмовать
И какие загадать загадки –
В гугл-буксе вышивая ять,
Юс большой, монтажные накладки.

Чем глупей и «дегугантней» блядь
В холоде и скуке революций,
Тем важнее записать в тетрадь,
Что перечитал между поллюций.

Сомов смотрит милого Жилло,
Переводит контур сквозь стекло,
«Рисовал, пока было светло»,
«Вышло дрянь, сегодня не везло».

2018

Потерял Стефано букву ф
Где-то на ступенях амфитеатра,
Выронил, как сыр вороний, ф:
Свифт и свист,
Фитиль или утиль.
Шумчик эту эфинку нашел,
Посадил в цветочный свой горшок,
Выросла подмога,
Горошек цветной,
Цветик флорентийский
Фыркнул под луной...

2017

Половина пятого, шестого.
Половина Млечного пути.
Половина сказанного слова,
В теньную область уходи.

Дай еще поспать, пока живетcя,
Побродить по Модене во сне,
Ничего, что тонко и порветcя,
Что порветcя – то и не

– не существовало, не бывало,
а приснилось утром перед сном:
линии, квадраты и овалы,
пинии в рассвете голубом.

2017

дерево шершаво
женщина больна
снег идет направо
на небе луна

в небе стало стыло
у лица мороз
инвалидным мылом
утирает слез-

ы и Глена Гульда
слышимое мы
и уже небольно
жить внутри зимы

2020

Александр ВЕРГЕЛИС

СКВОЗНЯК

Рассказ

Что? Да нет... Вообще-то я всегда входную дверь закрываю, когда мусор выношу. Или когда на лестницу покурить выхожу. До мусоропровода и обратно – полминуты ходу, ничего страшного не случится. Соседи у нас, правда, пьянь конченная, но смиренные, да и меня побаиваются. Нет, ничего такого я им не делал – просто видят, что конкретно мужик в квартире, и не выделяются, тихо квасят, чистоту соблюдают. И чтобы там в дверь к нам лезть или ещё что – не может быть и речи. И всё равно я дверь всегда захлопываю, а тут почему-то не захлопнул – щёлку оставил. Почему – сам не знаю.

Помню, торопился – моя вечно недовольна, что вот, дескать, вечер, поздно уже, а ведро, мол, полное. Я, вообще-то, скандалов не люблю, ссор там всяких – терпеть не могу. Но иногда злюсь, конечно, могу и грубость сказать. Сама-то она к ведру никогда не прикасается – графиня, тоже мне... А тут еще у нее мигрень – ну значит, мне и мальчишку укладывать. Что? Да нет, я не из тех, кому это поперёк горла – не мужское, мол, дело, то да сё... Я к кровати подошел, а он всё скулит – чудится всё ему, бедному, что-то в темноте, мерещится. И ведь каждый раз так. То на потолке ему что-то привидится, то под кроватью кто-то сидит. И окно открыть не даёт – боится, что влетит что-нибудь страшное. А что у нас в окно может влететь, кроме пыли-то? И главное, так боится, что без меня заснуть не может. Я обычно рядом на полу ложусь. Ложился то есть. Ну вот...

Что? Нет. Раньше такого не было. Раньше нормально засыпал. А теперь – любой тени боится, любого шороха. Боялся то есть... В детском саду говорят... говорили, мол, возраст такой. Ну да, нормальное дело. Я-то в детстве тоже темноты боялся, мне за это от отца влетало. Он меня с пелёнок мужиком воспитывал – чтоб страха не знал, и всё такое. Но я своего никогда не шлёпал. Не то чтобы считал, что детей бить нельзя, а как-то вот просто не шлёпал, и всё...

Что? Короче, пошел я мусор выносить, а дверь, значит, приоткрытой оставил. Наверное, потому что торопился очень – не хотелось ребёнка одного в комнате оставлять. Сейчас, говорю, не плачь, маленький, я на минутку – только пакет в мусоропровод выброшу и вернусь. А он: папа, папа, не уходи, страшно мне, мол. Я уж и злиться стал. Всё-таки парень растёт. Еле руку отцепил. На минутку, говорю, отлучусь, а то мусор вонять будет. Ну и пошёл... Что? А жена в другой комнате лежит со своей мигренью – душка у нас. Маленькая, но зато своя. От родителей осталась. Так вот, с мигренью лежит, а телевизор не глушит. Я говорю, выруби ты ящик, если башка болит, а она рукой махнула, говорит, телек её от мигрени отвлекает. Ну ладно. Мне-то что. Мне телевизор

Александр Вергелис родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Сибирские огни», «Слово/Word», «Урал» и других изданиях России и зарубежья. Лауреат премии журнала «Звезда» (2006), премии имени Беллы Ахмадулиной «Белла» (Верона, 2013), победитель конкурса имени Н.С. Гумилева (2017). Автор двух книг стихов. Живет в Санкт-Петербурге.

вообще не нужен – я на кухне с планшетом засяду, футбол посмотрю или фильм какой-нибудь. Ну это раньше – сейчас как-то уже не до этого. В общем, взял пакет с мусором и пошёл.

Что? Да не знаю я... Не закрыл, и всё. Может, потому что мальчишка мой всегда просит дверь в комнату открытой оставлять – ну из-за страхов своих. Чтобы нас с матерью слышно было. Но то ведь комнатная дверь, а тут – входная. Я всегда захлопывал – жена сквозняков боится, не любит, когда открыто, а тут я возьми и оставь щель сантиметров десять шириной. Ну вот такую, с ладонь.

Короче, возвращаюсь через минуту. Максимум через две. И понимаешь, сразу почувствовал: что-то не так. Тихо как-то. Сначала подумал – потому, что моя телевизор выключила. А он, телевизор-то, смотрю, работает – только звука нет. Моя лежит без света и в экран смотрит, мне – ни слова. Ну ладно, я – в детскую, к сыну. На ходу сказку придумываю. Я ему каждый вечер сказку новую сочиняю. Моя меня за это Андерсеном называет... называла, вернее. О, если всё, что я ему там понапридумывал, записать, вот такой толщины книжка получится! Да...

Ну вот, захожу, значит, в детскую. А и там тишина. Думал, мой совсем от страха скуксился, молчит. Подхожу – ах ты Боже мой! Спит! Я сначала обрадовался – ну, слава, думаю, Богу – прикрыл его одеяльцем и уже на выход пошёл, да что-то мне показалось... Что? Да как-то всё не так. Не знаю, как и объяснить. Умом-то не поймёшь. А сердце вот прямо тянет, тянет... Никогда такого не было, честное слово.

Короче, душа не на месте, не по себе мне как-то. Смотрю на него и как будто не узнаю. Лицо как будто другое. Чужое какое-то. Ну, у ребёнка. То ли освещение такое – темно всё-таки. То ли мне самому причудилось. И непонятно – то ли спит, то ли не спит. Я в дверях обернулся – а он смотрит. Мне аж не по себе стало – странно так смотрит, долго. И не моргает совсем. И молчит.

Я к жене в комнату, как, мол, голова, спрашиваю. Она спокойно так отвечает: хорошо, мол. А сама на меня и не взглянет. Ты поспи, говорю, а телевизор я все-таки выключу. Хорошо, говорит. Я телек вырубил, дверь ей закрыл. На кухне ещё посидел чуток, зубы почистил и тоже спать пошёл. Жена вроде заснула. Лежит на спине как лежала – в той же позе и одетая. Я думал её растолкать, чтобы разделась, да не стал. Рядом лёг. И в общем, сразу заснул – устал после смены.

Что? Не знаю, сколько времени прошло – думаю, немного, час или полтора – и вот я вдруг просыпаюсь – сам не знаю, что меня разбудило. Темно в комнате, но, в общем, видно: моя лежит всё так же, поверх одеяла, одетая, только голову повернула ко мне. И смотрит. Долго смотрит, и тоже хоть бы моргнула! Я так думаю, глаза её меня и разбудили. Чего ты – спрашиваю – чего не спишь-то? Она молчит, только глаза опять прикрыла, и всё.

Утром встали, туда-сюда. Мальчишка спал ещё. А может, и не спал – я в детскую не пошёл. Думаю, раз тихо, значит спит. Суббота, в садик ему не надо, пускай поспит. Ну вот. Сели завтракать. Всё вроде нормально, своим чередом. Только тихо как-то – не по-нашему. Сидит моя, значит, ест молча. Я ей про то да про сё, а она молчит. Покивает только, и всё. Как голова, говорю – прошла? Прошла – говорит. И опять молчать. Раньше трещала без остановки, как заведённая – и утром, и вечером. С работы придёшь усталый, тишины хочется, покоя, а она треплется, треплется. Да я ж понимаю – пока я на смене, соскучится. Ну посидим, поговорим о том о сём – о работе, о ребёнке. Родичам, друзьям-приятелям кости перемоем. Я иногда пивка принесу – в разумных пределах. Что? Да под пивко она вообще тараторила так, что слова не вставишь. А тут – молчит и всё. Обиделась, что ли, думаю? Спросил – не обиделась ли на что. Нет, говорит, не обиделась. Да нет, я же знаю, какая она, когда обижается. К ней вообще лучше не подходить, плюнешь – зашипит. А тут сидит просто, и всё.

После завтрака пошел сына поднимать. Хватит спать, говорю, соня, вставай. А он и не спит – лежит себе и смотрит. Я его ну щекотать, а он не смеётся. И не улыбнётся даже. Только смотрит, и всё. Я думаю – ну, заболел. Лоб потрогал – ничего лоб, не горячий. Наоборот, даже прохладный. Спросил его про самочувствие – хорошее, говорит.

Что? Да ел-то как раз нормально. Без капризов, без дерготни. А то бывает, это не буду, то не хочу. Сплошная нервотрепка. Кашу манную и блины только любил. Сырники ещё. Ну мы на поводу у мелкого не шли, рацион у нас всегда разнообразный был. В общем, часто ему чуть не силой еду впихивали. А тут – нормально всё, спокойно: сидит, овсянку жуёт и носа не воротит. Но понимаете, жуёт как-то не так. Что? Да не могу словами описать. Раньше по-другому жевал...

После завтрака пошел, вроде, в свою комнату. Я думал – поиграть, заглянул, а он на полу сидит. На полу сидит, и всё. Я ему машинок, кубиков, солдатиков из коробок целую гору насыпал. Сидит, смотрит. А если и возьмёт что-нибудь в руки, то подержит, посмотрит безо всякого интереса и на место положит.

Что? Да, да... А главное, спит он странно. После обеда тихий час – у нас как в садике, всё по расписанию. Он днём спать не любит – всегда ноет. А тут – ничего, спокойно лёг. Я шторы задернул, свет выключил. Минут через десять заглянул. Но так и не понял – то ли спит, то ли нет. Подкрался на цыпочках, а он глаза открыл и смотрит, смотрит. Долго так и... непонятно, чего смотрит-то. И главное – не моргает. Ну да я говорил уже... Я ему: спи давай. Глаза, говорю, закрой. Закрыв. Я, говорю, следить буду, чтобы не открывал – тут лягу и буду смотреть. Хорошо, говорит. И лежит, в общем, тихо – как будто спит. Я матрас принес и рядом на полу лёг. Лежал, лежал, да сам и заснул – ночью-то не выспался, а вечером после смены ушатанный был. Просыпаюсь – темно, тихо. А он на кровати сидит и на меня смотрит. Спокойно так смотрит, тихо. И не моргает совсем.

Что? Короче, не знаю... Смешно, конечно, но я их того... В общем, не узнаю. Как будто не они это. Странно всё как-то...

Слава Богу, сменщик у меня заболел, так меня на работу вызвали. Вот сижу и думаю: что же случилось-то, с чего это всё, почему?

Вообще-то я всегда входную дверь закрываю. А тут не закрыл...

Александр КОРАМЫСЛОВ

НЬ

Ирине Кадочниковой

иногда кажется: положение дел
очень точно отражает пожилой стенд
на стене нашего цеха –
с надписью деревянными клеёными буквами:
ПРОФСОЮЗНАЯ НЬ

всё просто:
за давностью лет –
Ж упало,
З пропало,
даже И осталось в прошлом

НЬ твоя скудна, игемон –
как сказал бы Иешуа,
осуждённый на смертную НЬ,
главе местного профсоюза прокураторов

впрочем, не так уж и скудна
вот, например, в Обратном словаре русского языка
нашлось аж 222 слова, оканчивающихся именно на НЬ

представьте: начинается месяц НЬ,
повсеместно цветёт моя любимая НЬ, особенно лиловая –
а сам я тоже как дерево,
к которому обращался владимир киршон,
ища любимую –
уже не молодой качающий головой НЬ,
но ещё и не старый НЬ

пусть не поймут мои друзья – такая НЬ
(что пьют всегда в такую НЬ такую НЬ),

Александр Корамыслов родился (1969) и живёт в Воткинске. Публиковался в журналах «Арион», «Воздух», «Волга», «День и ночь», «Дети Ра», «Крещатик», «Соло», «Урал», «Футурум АРТ» и других, в различных альманахах и антологиях, профессиональных литературных интернет-изданиях. Книги стихотворений «Песни мудехара» (СПб.: Своё издательство, 2014); «Джаз» (совместно с Андреем Цоем, Денисом Голиковым, Сергеем Ивкиным. СПб: Своё издательство, 2015). Участник Российского товарищества поэтов «Сибирский тракт».

но вы – русская сестра моя НЬ,
китайская сестра моя НЬ,
небесная сестра моя НЬ –
приходите под мою НЬ,
сядьте в мою НЬ,
послушайте мою шуршащую и шелестящую НЬ,
в которой слились
НЬ временная
и
НЬ вечная

.....

но пока писался этот текст,
НЬ профсоюзного стенда оказалась лебединой –
и его отправили на покой

а нам ещё работать и работать
перемещать всякую НЬ
по заводу и вне,
превозмогая матушку-НЬ,
про себя напевая:
я люблю тебя, НЬ –
и надеюсь, что это взаимно

меня попутал без
тебя попутал со
у гаража небес
мы крутим колесо
сансарное такси
нирванного сестра
но отчего так си
и почему так стра

как ответили бременские музыканты
московским разбойникам
наша крыша – небо голубое

ну что ж – сказали русские бандиты
немецким гастролёрам –
тогда пиф-паф

...а пройдут менеджеры среднего звена –
салют трубадуру

и найденным с ним в одной изрешечённой обгоревшей карете
дерзким братьям нашим меньшим

в прихожей висит репродукция возвращения блудного сына
в гостиной – копия не ждали
в спальне – оригинал возвращения блудной страсти
не укрыться ли на кухне
но и там эскиз
завтрака на траве

«Бог попугаем не бывает» –
сказал нам старый какаду
«и поругаем не бывает –
иначе жили б, как в аду»

«Бог не бывает попугаем» –
сказал нам ара пожилой
«и не бывает поругаем –
и без того здесь тяжело»

и только ты, мой друг волнистый,
молчишь да весело свистишь
тебе ль на коже ловиться,
тебя ль на корках провести?

спой про письмо в конверте
в жизни будущего века
человек живёт для смерти
смерть живёт для человека

человек живёт для жизни
вечной временную муча
спой мне ангел ярче брызни
спой мне бес бесаме мучо

птица спой гребенщикова
спой гребенщикова рыба
кем в начале было слово
вы в конце сказать могли бы?

вийным и горгонным смерьте
безмафусаильность века
человек живёт для смерти
смерть живёт для человека

...пусть левая рука твоя не знает, что делает правая
Матф.6:3

вот что-то разладилось в цельной душе
помочь бы мозгами да нечем
и левое сердце не знает уже
что делает правая печень

у прошлого с будущим перерасчёт
они настоящее ищут
и в правом яичке не знают ещё
что делают в левом яичке

но семя с полóвою и с половой
как руку разделит с рукою
кто мыслит пространство одной головой
а чувствует время другою

Андрей ТАЮШЕВ

В кинотеатре «Победа» похожем на праздничный торт
или на праздничный гроб, как когда-то ещё мне казалось
смотришь немецкую фильму в которой является чёрт
в гости к алхимику с редкой фамилией Фауст

Фауст сам вызвал его, угодив на крючок сгоряча
чёрт ухватился за леску и тянет-потянет
хода обратного нет и уже невозможна ничья
в битве, развёрнутой там – на широком экране

Пуделем чёрным, роскошным брюнетом крутятся
чёрт к сердцу доктора ключ подбирает игриво
и модернистской мистерии хитрая вязь
сопровождается адскою музыкой «ТРИ О»

Вечером зимним сгущается облаком страх
бродят по городу стайки шпаны подзаборной
Знаешь, макаров, конечно, в умелых руках
штука сильнее, чем гетевский «Фауст», бесспорно

В шушуне старомодном и ветхом
разорившимся купчиком дом
тот смотрелся. Бывал я нередко
в доме том
да не купчик – сплошной мармеладов
что в трактире мундир заложил
пропивая себя до упаду
превращающий жизнь в миражи
Девяносто какой-нибудь первый
скажем, год... нищета и разор
а вели мы там скрипко и нервно
свои споры, почти что до ссор
а о чём? Да об истине, вроде бы
(вот ни больше ни меньше – ей-ей)
небе звёздном над брошенной родиной
обречённых на близость людей

Андрей Таюшев родился в 1968 году в Саратове. В 2002 году переехал в Вологду, где и живёт по настоящее время. По образованию – историк. Автор двух поэтических книг.

странно всё это? – Как же не странно –
всё болтать, будто нет важных дел
Ежик выход искал из тумана
а туман всё густел и густел

2018

Я волком выгрыз внутреннего Пана
на части рвал, но жив остался Пан
едва живой, в кровотокающих ранах
он вглубь уполз и спрятался в туман

Лишь иногда выходит он из леса
когда весь мир в закате как в огне
и скалится своей ухмылкой беса
напоминая о прошедшем мне

когда в последних отблесках заката
в кричащих красках тонет мир вокруг
из под бровей чудовищно лохматых
глаза, как угли, вспыхивают вдруг

Геннадий КАЦОВ

династия мин разгромлена, универсам закрыт,
на лобовом стекле «дворники» аплодируют под дождём,
над руинами замка в аквариуме косяки рыб,
разрушена троя, на её месте мог быть твой дом

в уходящем году суворов был дерзко суров,
флаг великой британии с предплечья стёр евросоюз,

Геннадий Кацов родился в 1956 году в Евпатории. В середине 1980-х был одним из организаторов московского клуба «Поэзия» и участником литературной андерграундной группы «Эпсилон-салон». В 1989 году переехал в США, где последние 32 года работает журналистом. Стихи опубликованы в антологии «Самиздат Века» (1997), в ведущих литературных журналах США, Европы, РФ; по-английски – в изданиях Cimarlon Review, Blue Lyra Review, Tupelo Quarterly, Verse Junkies, Painters and Poets, Life and Legends и др. Автор семи поэтических книг, также сборника стихотворений, прозы и эссе «Притяжение Дзэн» (СПб.: Петрополь, 1999) и экфрастического визуально-поэтического альбома «Словосфера» (Нью-Йорк: Liberty, 2013). Член редколлегии альманаха «Времена» (США) и журнала «Эмигрантская Лирика» (Бельгия).

контурные карты стран оон – на боках коров,
если тигр для быка – минус, то евфрат – плюс

отцвели хризантемы в январском версальском саду,
улыбается лувр, весь в отверстиях император максимилиан:
сколько вспомнить всего в уходящем високосном году,
столько будет в году наступившем незатянувшихся ран

открывает алхимик из дрездена чудо чумы,
гибкость ртути придав грубой водопроводной воде –
миллионы погибали от жажды, на их месте мы
быть могли, если б знали тогда о курения вреде

сгорела дотла александрийка – это тонны томов,
федор михайлович михаила афанасьевича опередил;
уже написан и переведён на арабский трактат «амок»,
ещё не наколот на иглу-гарпун моби дик

всех спасут когда-нибудь вакцина и корень женьшень,
последний айсберг бросился в ювенильную глубину –
и гольфстрим, не старея, с тех пор попадает в мишень,
в новогодний на циферблате ноль, по-латински – нуль

говорят, что годы по принципу домино
валятся, едва ты появляешься на свет:
человек рождается одноног,
да, и второй руки у него нет

не хватает, обычно, половины лица,
непарным уродствам несть числа:
у мальчиков нет одного яйца,
у царственных девушек – весла

и *тот* начинает половинку искать
свою во фьордах, в песках пустынь,
меж собакой и волком, между скал,
пока стол накрыт и суп не остыл

ну, а *та*, у коей скелета недокомплект
и приличный недобор хромосом,
на любого согласна – хоть президент-элект,
хоть преферансист, хоть масон

а едва сочленятся, то стартует процесс
притирок, приглядок – вечно живой:
так своё отражение в воде нарцисс
изучает на картине караваджо

женщина в прозрачном платке и цветном сари –
что ты знаешь о домашнем борще и сале,
о среднерусской возвышенности и вековом запое,
о двух германиях и между ними заборе,
о кенгуру в австралии отстраненной и там же эму

здесь должна быть пауза на коммерческую рекламу
о том, как тяжело живётся в камбодже имаму

что ты знаешь, женщина в сари и прозрачном платке
о странных странах магриба и пустынном песке,
о свободной либерии для несвободных людей,
о правилах, коим должен следовать иудей,
о солидарности, чью соль воспели мицкевич и лем

здесь должна быть пауза сразу для нескольких реклам
про шведскую мебель ikea и тибетский храм

что ты знаешь, женщина в платке и прозрачном сари,
о ватикане и святейшем католическом сани,
об италии, по форме похожей на твой сапожок,
о стране восходящего солнца, неостывающей, как ожёг,
о брексите, против которого нет приема

на этом месте должна быть короткая реклама
об опасности загрязнения мира виртуальным спамом

что ты знаешь, женщина, про сари и цветной платок,
про венесуэлу, которой правит непонятно кто,
про сша – к ним не подобрать совершенного вида глагол,
про бразилию, где полно обезьян и игроков в футбол,
про нескандальную канаду и профессиональный ее хоккей

здесь должна быть, опять же, реклама – хоть убей,
не вспомнить о ком, хотя, скорее всего о ней

о женщине в цветном сари и прозрачном платке,
идушей к гангу – самой мирной в мире реке:
мы сядем на ранний пароход, освещаемы сми,
и отправимся долго бороться во всем мире за мир,
за братство и равенство разных, несовместимых стран

на этом месте должно быть столько реклам,
что никакого места ни им не хватит, ни нам:
ни на суше, ни на воде, ни в том мире – неизвестно где

Павел РЫБКИН

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ К СЫНУ»

Сказка на ночь

По мотивам «Звездных войн»

Энакин Скайуокер
Отрубил руку
Графу Дуку.
Потому что этот Дуку
Был страшный злока.
Какой-то ситх.
Хотя нет, уж если рассказывать,
То от сих и до сих.
Так вот.
Энакин – породил Люка,
И тому тоже отрубили руку.
Как будто проехал грейдер –
На сей раз это был Дарт Вейдер.
Люку
Он был известен только вот под таким
Именем (а также как – «папа»), хотя Дарт
И был Энакин,
Которому, кстати, тоже (и вполне по заслугам)
Отрубил несколько ранее руку
Учитель его Оби-Ван.
Генерал Кеноби.
«Убиван? – встречается аудитория.
Он всех убивал?»
И удивляется еще больше:
Пиноккио?»
«Нет – Оби-Ван».
«Убивал световым мечом?
Или деревянным носом?»
К черту вопросы!
И без того уже выходит целый роман.
Про Кеноби – больше ни звука.
Потому что Люку –
Как и всем до него (кроме графа Дуку?!)
Приделали после железную руку.
Пареньку удалось подрасти,
И папе он, естественно, отомстил:
Естественно, отрубив руку.

Павел Рыбкин родился в 1971 году в Смоленске. Поступил в аспирантуру Московского городского педагогического университета (МГПУ), переехал в Москву. В 2003-м защитил кандидатскую диссертацию по русской литературной сказке XIX века. Преподавал в лицее и университете. Работал журналистом в «Российской газете», еженедельнике «Большой город», проектах журнала «За рулем», на портале Snob.ru и др. Подборка стихов вышла в журнале «День и ночь» (№9-10, 2004). С октября 2020-го – постоянный автор ежедневного медиа о поэзии Prosodia.

Рука упала со стуком
(потому что и сама была железная, и перчатка)
На пол.
Но тут уже протянул к Люку лапы
(сначала – просто одну руку)
Император (темный, такой же, как некогда Дуку –
ситх,
Хотя на вид – просто старый псих).
Не покладая рук,
Он пускал из них в мальчика молнии
И разряды,
Мол, так тебе, парень, и надо,
Полно, мол,
Корчить из себя джедая.
Раз не захотел встать на сторону зла –
Получи!
«Папа, я умираю!» –
Вырвалось что-то такое у Люка.
Вейдер, хоть и был до того гадюка,
взял себя в руки.
Встал (нежность, видать, нашла).
А потом – уже в смертном обмороке –
взял Император под руки
и сбросил в шахту.
Не с бухты-баряхты,
А твердо на это решаешь:
С сыном – важнее связь.

Финальная сцена.
Ночь. И немного ветрено.
Смертное ложе – костер.
Вейдер –
на
нем,
Объятый огнем.
И наплывом мы видим Люка,
который уже простер
куда-то в сторону руку,
в которой горел факел.

Мой сын? Нет, он совсем не плакал.
Он уже спал, не дослушав страшный рассказ
Про руку
(Пеструю,
Черную,
Железную,
звездную – все равно).
Я снял с моего плеча его руку,
Протянул – свою – к выключателю.
Свет погас.

Только пеплом седело окно
И завывала вьюга –
У нас вообще вечно дует с Москва-реки.
Да, и еще где-то по потолку тихо цокали коготки.

Соседская сука...

Рождество с палачом

Ну и вот: мы с сыном, как теперь говорят, покушали,
с печеньем попили чай
и стали собирать The Executioner:
палача.

Игрушка очень старая,
сувенир из Тауэра,
тюрьмы в центре Лондона,
где она и была нам продана

тому назад года два,
но с тех пор все лежала без дела.
И вот долежала до нового Рождества.
И мне это надоело.

Денек к тому же выдался вьюжный,
сын заболел. И иных задач
в повестке не значилось, кроме как Executioner:
палач.

Сначала надо было вырезать из картона
руки-ноги, плаху-топор,
жабо и такие буфчатые панталоны,
и всяческий мелкий вздор

типа детальки с названием «конец шеи»:
кружок мяса на косточке. Не люблю,
да и не знаю, как такую мелочь приклеить
на шею – с помощью glue.

Но все же приклеить казалось нужным,
пусть даже от злости рыча,
чтобы только добиться главного для Executioner,
палача,

а именно: чтобы получилась из плахи шарманка.
Рукоятка вставляется в эшафот,
крутишь – и начинается танго:
казнь идет и идет!

Удар – и голова в корзине.
Замах – и она опять на плечах.
С Рождеством! С морозом и снегом! С зазимьем!
И все из-за палача.

Ох, если бы... Мы провозились до ужина.
Но ничего не клеилось, хоть ты плачь.
Видно, бракованный был Executioner
(палач).

Столько промучились, вырезая эти фестончики, зубчики, клапаны,
отвороты соединяемых плоскостей!
Руки как оба клеим заляпали!
А ни черта не держал клей...

Спина отлипала от боковин камзола,
волосы – от головы.
Сборка виделась делом веселым,
а теперь я и вправду от злости выл.

Но сыну – тому попросту стало скучно.
И он так сладко и так смиренно скучал,
что постепенно и я успокоился за Executioner,
палача.

Хорошо же ведь! За окошком вьюга,
а нам никуда не надо идти,
кроме как на поправку. Укрывшись в свой в угол.
Слушая скуки тайный мотив.

В чай печенье в форме зверей макая
и вот их уж – точно казня.
«Горелые лапки не ешь!» «А смотри, какая
лиса еще есть у меня».

Момент – и ее голова откушена!
И на сердце приятно и горячо
оттого, как славно убит этот день Executioner,
нерожденным
рождественским
палачом.

Двое в приемном покое (возможно дезориентированы)

И
Из школы пришел –
Мизинец распух и глядит в сторону.
Играли, называется, в пионербол.
Ну, здорово!

Ударил руку о мяч –
Палец и съехал
На бок
На главной из грабок.
Мне не до смеху.
Не мужик растет,
А прям какой-то магнит неудач.

2
Разговор был недолог:
Требуется травматолог.
Понял? Рот на замке.
И вот уже, стоя
В приемном покое:
«Вы за кем?»
«А мы где-то за тут».
С видом – «чего, мол, хотите?».
И главное, тут же куда-то идут
Вон из очереди.

Да и пускай.
Зато мы оказываемся почти в начале.
Висит доска
С объявлениями. Подошли. Почитали.

«Пропал человек».

(Тут рифма замедляет разбег.)

«Красная кофта.
Черные брюки.
Розовые балетки.
С собой: два полиэтиленовых пакета.

Сухощавая женщина. 79 лет. ВОЗМОЖНО ДЕЗОРИЕНТИРОВАННА».

Без запятой
После «возможно».
Как будто не допущение,
А имя. Или степень дезориентации.
В приемный покой
Срочно нужен специалист по пунктуации.

Думаю: а если и я когда-нибудь так же вот
Выйду из дома в балетках, с двумя пакетами, и все:
Пропаду?
Чистый Хармс,
Но покамест
(Про себя) не городи ерунду.

3

Ну, естественно, нужен снимок.
Подходим, а те, кто за тут,
Они уже ТАМ. Мужик в кабинете.
Жена, говорят, отошла. Необъяснимо:
А как же все лучшее детям?

Стоп. Дверь открывается. Но опять заходить нельзя:
«Фотки сушит».

Жена (возвращаясь):

«Ой, я тут к Насте сходила в родильное.

Проведать. А она уже и родила».

Муж: «Пока фотки сохли?»

Дела!

«Ой, ну не так сказала, прости меня».

4

Наконец, и мы: перелом.

А поточнее диагноза не удостоюсь?

Извольте: закрытый эпифизеолис,

Пятый пястный сустав.

По зоне роста.

Гипс нужен, доктор, я прав?

Да, и очень просто.

5

И вот мы двое

Стоим опять на крыльце покоя.

Дождик на улице.

К чугунной оградке цепью примотан велосипед.

Но травматологи не просто паркуются,

Нет!

У них все по теме.

На сиденье

И на рукоятках руля –

Голубые, в каплях, бахилы,

Надежности для,

Чтобы не намочило.

Походили вокруг да около

Так, немного.

Но ведь все верно: штанами будет потом противно на мокрое.

Да и руками трогать.

Андрей КОРЧЕВСКИЙ

ПАДАЯ И ПОДНИМАЯСЬ

С драматургом Дэвидом Довалосом русский читатель уже знаком. В 2017 году журнал «Современная драматургия» ввел широкую аудиторию в его удивительный мир, опубликовав комедию «Виттенберг», где студент-старшекурсник Гамлет выбирал в виттенбергском университете свою будущую специальность, курсируя между классами своих наставников – философа Джона Фауста и теолога Мартина Лютера.

Недавно я попросил Дэвида (который живет в 30 минутах езды от моего дома, в колорадском Боулдере – университетском городке, известном своими либеральными политическими пристрастиями и глубокими культурными традициями – например, ежегодным шекспировским фестивалем на открытом воздухе) прислать мне свою давнюю, первую пьесу, о которой много слышал. Эта пьеса сейчас перед вами. Она называется необычным словом *Darkfall*, которое можно переводить по-разному – «Падение во мрак», «Затемнение», «Помрачение»... (Очень интересно, что в церковнославянском языке есть слово, необычное для русского слуха, но перекликающееся с английским *Darkfall*: например, Иоанн Дамаскин говорит о человечестве как о «темнопадшем во мрак».) При этом специально для русского перевода (а Довалос относится к России с огромным интересом) Дэвид предложил изменить название своей пьесы на что-то «более переводимое». После долгих обсуждений мы остановились на варианте – «Кто-то и Компания, или Темнопад». Итак, кто же этот «кто-то» у Довалоса?

Действие пьесы происходит в Нью-Йорке, в новогоднюю ночь 2000-2001 года – наступает новое тысячелетие, миллениум, весь мир находится в ожидании перемен. И между тем в Госпитале Горы Синай (это одна из самых знаменитых клиник Америки) умирает престарелый глава огромной компании, мистер Поттер. У его постели собрались наиболее верные спутники, соратники, члены команды – Майк (Михаил), Габби (Габриэль) и Рей (Рафаэль). Неожиданно выясняется, что старик переменял завещание, и вместо сына Джоша (от которого уже давно ни слуху, ни духу) вся компания должна отойти Люку, Лукасу Принсу, бывшему приближенному старика. Это именно Лукас, важнейший менеджер команды Поттера, много лет назад устроил в компании бунт, увел с собою треть сотрудников, оказался «падшим» и «изгнанным»...

Не кажется ли вам знакомой эта необычная, фантазмагоричная и в чем-то трагическая группа персонажей? Случайно попавшие на эту элитарную вечеринку (где персонажи разговаривают между собой белым стихом!) «простые американцы» – программист Айк и журналист Сайза – постоянно ловят себе на том, что героев они «где-то видели», «были с ними знакомы». Зрителям (и читателям) предстоит ответить на тот же самый вопрос – случайно ли имена персонажей перекликаются с именами участников совсем другой истории, знаменитого «Потерянного рая» Мильтона, который критики дружно назвали главным источником пьесы Довалоса? Действительно ли мы видим «сиквел» библейского сотворения мира, бунта ангела Люцифера и жертвоприношения Сына Божьего – или же автор попросту рассказывает историю о бизнесе и бизнесменах, лишь опираясь на мильтоновские аллюзии?

Спустя 20 лет после событий (и фактически времени написания) пьесы, история, рассказанная Довалосом, обретает другие краски. Новое тысячелетие началось, как многие в Америке чувствуют, отнюдь не с ночи на 1 января 2000 года, а с 11 сентября 2001 года. Мир изменился, и он не изменился

к лучшему. Вызовы, перед которыми стояло человечество, обострены до предела. Как никогда, мы близки к новой «холодной», если не к третьей мировой войне. В мире бушует пандемия, словно материализовавшись из разговора Айка и Сайзы (которые упоминают вирусные заболевания в качестве тревожных признаков эпохи). Метафоры Довалоса – смерть Бога, ожидание Второго Пришествия, вся Земля, действительно управляемая, как оказывается, «Князем Мира Сего» – обрели еще более фантазмагорическую, еще более трагичную окраску, чем в момент создания и первой постановки пьесы. Мы смотрим на героев из нашего времени – и нам есть что им сказать.

Мне все время кажется, что достоинства Довалоса как драматурга не только в оригинальных идеях и острых, отточенных диалогах. Дэвид умеет придавать персонажам столь необходимую «трехмерность», неоднозначность. Люк – бизнесмен без предрассудков, предатель интересов компании, да собственно сам Люцифер, враг рода человеческого. Но Довалос вкладывает в уста Люка удивительную апологетику человека, с его слабостями и достоинствами, с его поражениями и победами. И при этом – недаром Люк упоминает «Искусство сделки», знаменитую книгу Дональда Трампа. Уж не молодым ли Трампом Люк оказывается в итоге? А Джош – совсем не тот «Сын Божий», от которого ожидается триумфальный въезд в компанию отца (и в нашу реальность) на белом коне. Как мне показалось, у либерала и вольнодумца Дэвида Довалоса (который известен своим страстным анти-трампизмом), получилась удивительно яркая, убедительная, многомерная картина мира, в котором для человека и человечества есть шанс на спасение. Есть шанс на то, что учитель старших классов Джош однажды вернется в «бизнес», обретет новое качество – и кем этот персонаж окажется на самом деле? Что это будет означать для героев пьесы, для всех нас? Финал пьесы Довалоса обнадеживающе открыт.

Дэвид ДОВАЛОС

КТО-ТО И КОМПАНИЯ, ИЛИ ТЕМНОПАД

Перевод Андрея Корчевского

Действующие лица (в порядке появления):

А й к, программист, парень Сайзы
С а й з а, журналист-фрилансер, девушка Айка
П о т т е р, очень старый, очень богатый владелец чрезвычайно разветвленного семейного бизнеса
Р е й, врач, семейный доктор Поттера
М а й к, полицейский, телохранитель Поттера
Г а б б и, адвокат, юрист Поттера
Л ю к, олигарх, конкурент и бывший протеже Поттера
Д ж о ш, учитель и бывший коммерсант, сын Поттера, проживающий отдельно
Санитары скорой помощи (те же актеры, что Рей и Габби)

Время: Вечер 31 декабря 2000 года

Место: Большое Яблоко¹

¹Большое Яблоко – известное прозвище Нью-Йорка (Здесь и далее примечания переводчика. – А.К.)

Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?

Евангелие от Луки, 2:49

Бертран Рассел, по собственному признанию, сказал бы Богу при встрече: «Сэр, вы не дали нам достаточно информации». Я бы еще добавил: «И все же, сэр, я не думаю, что мы наилучшим образом воспользовались полученной информацией. Ближе к концу у нас этой информации были тонны».

Курт Воннегут. Вербное воскресенье. Перевод А. Аракелова

Действие первое

Сцена показывает гостиную нью-йоркской квартиры Айка на шестом этаже. Аик и Сайза, пара лет тридцати, проводят вечер вместе, только что закончив с ужином из китайской кухни. Аик стоит около окна с ведром льда. Сайза сидит за столом с бокалом вина в руке. Это новогодняя ночь 2000-2001 года. Непрекращающийся шум машин доносится с улицы.

А й к. Да заткнитесь вы!

Зажигается свет.

(Сайзе) Не могла бы ты потушить свет? Обезьяны! «Бог мой, Нова, это город обезьян!»¹ Орангутанги с ученическими правами! (Кидает кубик льда из окна с криком) Да хватит уже! Все равно не сдвинетесь с места! Помогите мне.

С а й з а. Я занята.

А й к. Люди – просто идиоты. Святая простота. Налегают на клаксоны, как если бы звуковые волны могли рассеять пробки на улице. (Бросает кубик.) Придурки! (Бросает еще один.) Пустоголовые сучьи дети! (Свешивает голову из окна с криком) Адом клянусь, я этого больше не потерплю!

С а й з а. Поэтому ты, мстящее божество, мечешь на них адский лед, расшибая их стеклянные щиты, и они скрежещут зубами и рвут на себе волосы.

А й к. Да, на самом деле. Кажется, Дэвид Хьюм сказал об этом лучше всего: дерьмо случается². Погода столь непредсказуема, ты никогда не знаешь, не прошибет ли тебе крышу град посреди града Нью-Йорка. (Бросает еще несколько кубиков.)

С а й з а. Но поможет ли это чему-нибудь?

А й к. Мне поможет. Я имею дело с таким количеством дерьма ежедневно, что когда оно угрожает моему душевному спокойствию в моем собственном доме – причем если у меня есть крошечный шанс для невидимого отмщения свыше – этой кавалькаде мудаков лучше скакать в укрытие. (Бросает кубик.)

С а й з а. Зачем тратить лед? Почему бы попросту не помочиться на них?

А й к. Труднее корректировать по ветру. С другой стороны, я должен поддерживать хотя бы фасад цивилизованности. Вот почему я больше не бросаю яйца. Как и бутылки. (Бросает кубик.)

С а й з а. Ты – матерый человечище.

А й к. Ладно, я знаю, что веду себя по-мартышечьи. Я признаю это. Но мое мартышечье поведение – это лишь реакция на чье-то мартышечье поведение. Поэтому оно приемлемо. И практически

¹Очевидно, отсылка к роману «Планета обезьян» Пьера Буля и его многочисленным экранизациям.

² Дэвид Хьюм (1711–1776) – шотландский философ.

неизбежно. По крайней мере я временами возвращаюсь в человеческий режим, и это гораздо больше, чем я мог бы сказать о большинстве обитателей этой помойки.

С а й з а. Не гневись так сильно, Травис Бикл¹.

А й к. Ты ко мне обращаешься? А, проклятье. И, кстати, говоря о водителях такси... Вот этот для тебя, Джоди! *(Бросает кубик.)* Слышал, Зузу? Каждый раз, когда таксист нажимает на гудок, где-то самовозгораются ангельские крылья. *(Бросает кубик.)*

С а й з а. Почему ты просто не носишь затычки для ушей?

А й к. Издеваешься?

С а й з а. Все же почему? Ты же вставляешь их на ночь?

А й к. Совершенно точно. В постели. Чтобы спать. Я не забочусь слишком, что я слышу, когда сплю, лишь бы это было не слишком громко. Но когда бодрствую, я отказываюсь изображать глухого.

С а й з а. Думаю, тебе следует привыкнуть к уличному шуму или умереть.

А й к. Я рассматриваю обе возможности. В этом – мой компромисс.

С а й з а. Жизнь – это компромисс.

А й к. Жизнь – это диетическая кола.

С а й з а. От компании Пепси.

А й к. От Кока-колы?

С а й з а. Нет, Пепси.

А й к. Ты уверена, что не от Кока-колы?

С а й з а. Неважно, продукт один и тот же.

А й к. Один и тот же продукт у Кока-колы и Пепси?

С а й з а. Разве нет?

А й к. Я не знаю. Но почему? В чем смысл того, что их два, если они – одно и то же?

С а й з а. Бедный, милый, наивный друг! Это иллюзия выбора, основа капитализма.

А й к. Ты опять говоришь, как Председатель Мао.

С а й з а. «Винтовка в руках обезьяны рождает власть»².

А й к. Нет, это Маркс.

С а й з а. Карл?

А й к. Она не верит, Карл! Она не верит!

Звук машин постепенно затихает.

Ах, спасибо, приходите снова. Преграда устранена, мокрота отходит...

С а й з а. Обезьянке вбрызнули антиастигматик.

А й к. ...Мое безумие отступает. Ледовый Человек отбыл. *(Направляется на кухню.)*

С а й з а. Нальешь мне бокальчик вина?

А й к. Большой или маленький?

С а й з а. Средний.

А й к. *(выходя из кухни).* Да – жизнь это компромисс.

С а й з а. Ты так думаешь. Но я не уверена. Может быть, согласна наполовину.

А й к. Что я могу сказать: Бог дает жизнь и Бог забирает – это у него довольно забавно получается. У нас кончается красное.

С а й з а. Там есть бутылка белого на нижней полке в холодильнике.

А й к. Открыть?

С а й з а. Хочешь белого?

А й к. Белое пойдет.

С а й з а. Может, ты скорее допил бы красное?

¹Травис Бикл – персонаж фильма Мартина Скорцезе «Таксист» (1976).

²Сайза вольно цитирует высказывание Мао Цзедун «Винтовка рождает власть».

А й к. Нет, оставь красное себе.

С а й з а. Мне без разницы. Выпью, что нальешь.

А й к (*входит с бутылками*). Та же фигня. Так что, если хочешь красного, я открою белое.

С а й з а. Твой выбор. Мне все равно. Я могу выпить белого, если ты любишь красное.

А й к. Как и я.

С а й з а. Хорошо.

А й к. Что хорошо?

С а й з а. Хорошо значит: наливай.

А й к. Я имел в виду: хорошо – красное, или хорошо – белое?

С а й з а. Кому?

А й к. Для кого?

С а й з а. Для кого что?

А й к. Для тебя.

С а й з а. Для тебя что?

А й к. Внимание, вопрос: ты предпочла бы белое прямо сейчас, скорее, чем остаток красного, которое я был бы более чем счастлив налить тебе в эту самую минуту, после чего немедленно налил бы и себе бокал белого?

С а й з а. О, Боже! Я люблю красное, я люблю белое: у меня нет предпочтений. Это не Война Роз¹, ради Христа. Выбери какое хочешь, налей мне другого и, пожалуйста, постарайся это сделать прежде, чем пробьет полночь.

А й к. Я налью по бокалу того и другого. Потом я собираюсь держать их за спиной, по бокалу в каждой руке, и ты должна будешь выбрать руку. Вино из бокала, оказавшегося в выбранной тобой руке, и будет тем самым вином, которое ты выпьешь. Я же выпью вино из бокала в невыбранной руке. Справедливо?

С а й з а. Кажется, да... Но я чувствую, ты должен представить мне эти условия в письменном виде.

А й к. Ты знаешь меня как мужчину слова.

С а й з а. Я знаю тебя как мужчину.

А й к. Не уверен, что ты имеешь в виду.

С а й з а. Я тоже не уверена, что имела в виду.

А й к. Ты сегодня говоришь загадками.

С а й з а. Что сказать? Я себя чувствую сфинксуально.

А й к (*возвращается на кухню, напевая*). Но, но, но, но-но-но, сфинксуально...

С а й з а. Странно. Я действительно что-то чувствую.

А й к. Нельзя ли... поточнее?

С а й з а. Я не замечала этого прежде, но я чувствую себя не в своей тарелке.

А й к. Это китайские специи, которые были в твоей тарелке.

С а й з а. Нет, я имею в виду, что просто не могу расслабиться. Как будто я действительно жду чего-то необычного.

А й к (*входит с двумя бокалами за спиной*). Необычного? Может быть, это приближение конца самого-пресамого последнего дня последнего года последнего столетия этой целиком износившейся тысячи лет – особенно для нас, немногих, кто понимает всю мошенническую математику нашего чертова календаря – (*напевает*) «Доброй ночи, папа Григорий², где бы ни был ты сейчас»... что-то в этом роде, быть может? Выбирай.

С а й з а (*указывая на его руку*). Вот это.

А й к. Красное. Как раз то, что ты по-настоящему хотела.

С а й з а. Я бы так не сказала.

¹Война Роз – имеется в виду война Алой и Белой розы: серия династических конфликтов в Англии в 1455–1485.

²Отсылка к папе Григорию XIII, реформатору календаря.

А й к. Ты хочешь белого?

С а й з а. Я чувствую, что-то должно случиться.

А й к. Полночь, действительно, необычна, когда она висит на самом кончике стрелки, упирающейся в двенадцатичасовую отметку.

С а й з а. Нет, я чувствую, что-то может произойти здесь.

А й к. В Нью-Йорке?

С а й з а. В этом здании.

А й к. Жуутко. Что-то хорошее или плохое?

С а й з а. Не знаю. Не могу сказать.

А й к. Надеюсь, не страшный суд прямо здесь?

С а й з а. Страшный суд? Нет. Не осуждение. Но и не помилование. Просто что-то.

А й к. У тебя начались месячные?

С а й з а. Ты начал лысеть?

А й к. Что, мой вопрос также риторический?

С а й з а. Это не гормональное, нечто другое.

А й к. Ты просто дрейфуешь на самом гребне волны, которую я назвал бы массовым миллениальным психозом.

С а й з а. Это технический термин?

А й к. Что ж, ты только что исключила скоропостижную менопаузу. Так что это либо что-то из Стивена Кинга¹, либо опухоль мозга.

С а й з а. Это не смешно.

А й к. Так что же? Неужели у тебя есть свое кладбище с почившими питомцами?

С а й з а. Не смешно. Не шути об опухолях. В особенности о той, что может оказаться в моей голове.

А й к. Я не хотел тебя обидеть, милая. Я просто прикалывался, забавлялся, дурачился.

С а й з а. Что там еще в словаре синонимов?

А й к. Я просто шучу, метастазирую шутками – я никого не пытаюсь обидеть. Мое чувство юмора – как заточенный скальпель, которым я рассекаю мертвую дубленую кожу страха и отвращения. А как раз ее подсознание использует, чтобы поместить наши хрупкие «я» в кокон бесчувственного комфорта.

С а й з а. Что это... Пинк Фройд?

А й к. «Тот лунатик в моей голове...»²

С а й з а. Ладно, держи при себе свои темные импульсы. Есть вещи, про которые ты не должен шутить. Одно из них – это болезнь на букву «О».

А й к. Прошу прощения, но у меня есть право, данное Богом и защищенное конституцией – шутить над чем угодно, когда угодно. *(Убегает за сцену.)*

С а й з а. Айк –

А й к. Если я должен жить в чумное время, если каждый чих в метро угрожает распространением Эболы, Лассы или Марбурга³, если я должен портить свои оргазмы страхом ВИЧ, которая внедрится в РНК и истощит запас Т-клеток до такой степени, что никакое лекарство не спасет меня от превращения в морковку...

С а й з а. О боже, Айк –

А й к. – Если я не могу сделать ничего, чтобы мое тело не восстало против меня, когда оно решит вырастить новый кусочек мозга или легких или печени без малейшей консультации со мной, и если мне предстоит сосуществовать, если это можно так назвать, с любой новой, улучшенной, экзотической угрозой для здоровья, какую Третий Мир с огромной охотой пошлет к берегам отечества и которую мой правительство с огромным талантом проигнорирует –

¹ Стивен Кинг (1947) – один из известнейших современных американских писателей, автор романа «Кладбище домашних животных».

² Цитата из песни группы «Пинк Флойд» «Повреждение мозга».

³ Эбола, вирус Ласса, лихорадка Марбурга – инфекционные заболевания.

*Звук спускаемого туалета. Вскоре Айк появляется на сцене, вытирая руки
бумажным полотенцем.*

Если я не могу контролировать мой космос и все в нем, я оставляю за собой право высунуть язык и щебетать, как птичка, по любому поводу, который сочту подходящим!

С а й з а. Айк –

А й к. И несмотря на это, я люблю тебя больше жизни, и если я расстроил тебя чем-то, пожалуйста, знай, что это абсолютно ненамеренно и я сожалею о любой обиде, нанесенной тебе, из самой нижней глубины на самом доньшке моего сердца.

С а й з а. Извинения приняты.

А й к. Ты – добрый и любящий бог.

С а й з а. Не испытывай меня больше.

А й к. «Мы так и запишем, и сделаем так».

С а й з а. Что ты сказал про метро... Эбола, Ласса и Марбург?

А й к. Верно, на все десять пунктов.

С а й з а. Что это... виды сыров?

А й к. Нет, скорее импортного пива.

С а й з а. Кстати, дорогой, может ли так случиться, что у тебя завалялась... кое-какая маленькая сигаретка?

А й к. Прости. Разве ты не носишь пачку с собой?

С а й з а. Ничего не осталось!

А й к. Что ж, я думал, ты как раз собиралась бросить.

С а й з а. Завтра. Я приняла решение бросить с завтрашнего дня. Но сегодня мне все еще раз-решается курить.

А й к. «Разрешается» курить. «Разрешается» – кем? Кто устанавливает эти правила? Кто здесь власть? Есть ли некоторый орган, к которому я могу апеллировать?

С а й з а. Нет. Правила есть правила. У тебя нет права на апелляцию.

А й к. О, ради всего святого. Я думал, у меня хорошая улыбка.

С а й з а. Нет курева... нигде?

А й к. Это слишком широко. Нет курева – здесь.

С а й з а. Хорошо, видимо мне придется спуститься в магазин.

А й к. Тебе так сильно хочется поднапрячься?

С а й з а. Ну побалуй меня! Это моя последняя ночь греха.

А й к. Ну нет, надеюсь, что не последняя. Я схожу. *(Начинает собираться для прогулки по холоду.)*

С а й з а. Нет, милый. Почему ты должен идти? Это моя дурная привычка.

А й к. На улице слишком противно. Я не хочу, чтоб ты выходила в такую погоду.

С а й з а. И я не хочу, чтобы ты выходил. Позволь мне сходить.

А й к. Нет. Это мое искупление за то, что я произнес слово на «О» всуе.

С а й з а. Ну, если ты так уверен...

А й к. Я уверен. Что вам угодно этой ночью?

С а й з а. Бенсон и Хеджес, ультралегкие.

А й к. Легко! Что-нибудь еще?

С а й з а. Просто возвращайся моментально.

А й к. Еще лучше; я вернусь в мгновение ока.

Они целуются.

Ты не заметила, они вкрутили лампочку в подъезде?

С а й з а. Я так не думаю.

А й к. Конечно, нет. Это бы нарушило законы энтропии. Богом забытое местечко разваливается на глазах. Я намерен съехать отсюда в наступающем году.

С а й з а. Будь осторожен, Айк! *(Теряется.)* Будь осторожен на ступеньках. На ступеньках во мраке.

А й к. Оооокей. Непременно. Я буду осторожен. На ступеньках во мраке.

С а й з а. Это чувство, которое у меня было весь вечер...

А й к. О, великолепно. И это произойдет со мной? Никуда не деться от кармы? Доктор, я умру? Вот уж чего невозможно исключить.

С а й з а. О мой Бог!

А й к. Что?

Слышен громкий звук из-за сцены.

Какого черта!

С а й з а. Ну да, это случилось. Это случилось.

А й к. Что случилось? Что это было?

С а й з а. Я не знаю.

А й к. А, я понял, это то самое паучье предчувствие, как у человека-паука.

С а й з а. Где фонарик?

А й к. В верхнем ящике. Я достану. Никуда не уходи. *(Уходит на кухню.)*

С а й з а. Мы должны выяснить.

А й к. Ты так думаешь? Кто-нибудь пострадал? Кто-то умер? Что там, Лесси?

С а й з а. *(выходит через дверь на лестницу)*. Я посмотрю.

А й к. Сайза, стой!

С а й з а. Кто-то упал.

А й к. *(у двери)*. Будь осторожна!

С а й з а. Посвети мне!

Он светит для нее фонариком.

О, это какой-то старик.

А й к. Что какой-то старик делал на моей лестнице?

С а й з а. Падал с нее.

А й к. Он жив?

С а й з а. Мне кажется, да.

А й к. Он в сознании?

С а й з а. Не похоже. Звони 911.

Он берет телефон.

А й к. Принято.

С а й з а. У него кровотечение. Порезы. Здесь битое стекло.

А й к. Осторожно. Там кровь.

С а й з а. Он пожилой человек.

А й к. Пожилые люди болеют. Береги себя. Я на автоответчике.

С а й з а. Мне кажется, стекло от битых лампочек.

А й к. Лампочек?

С а й з а. Ну да, у него был пакет с флуоресцентными лампочками от Дженерал Электрик¹. Он, наверное, разбил их, когда падал.

А й к. Старик с лампочками? У него есть какие-то документы?

С а й з а. Думаешь, стоит поглядеть в бумажнике?

А й к. Там может быть медицинская информация. И я хотел бы знать, кто он. Он здесь не живет.

С а й з а. Я посмотрю.

А й к. Он дышит?

¹Дженерал Электрик – ведущая электротехническая корпорация Америки

С а й з а. Подожди. Да. Кажется. Постой. Ну да, дышит. Не могу найти кошелька.

А й к. И никакого удостоверения личности?

С а й з а. Нет, насколько я могу судить.

А й к. Кто он, какой-то бездомный менеджер Дженерал Электрик в отставке?

С а й з а. Он не выглядит бездомным. Хорошие туфли.

Слышен звонок с улицы.

А й к. Что ни дождь, так сразу ливень. *(По домофону)* Да?

Г о л о с. Скорая помощь к мистеру Поттеру.

А й к. Мой Бог! *(По домофону)* Заходите. Лифт сломан, так что по лестнице. Мы на шестом этаже. *(Отключает домофон.)* Вот это да. Ну и сервис. *(Сайзе)* Скорая в пути.

С а й з а. Вот это да. Ну и сервис.

А й к *(кладет трубку)*. Поттер? Мистер Поттер? Мой домовладелец мистер Поттер?

С а й з а. Что ты сказал?

А й к. Я просто подумал...

С а й з а. Они поднимаются.

А й к. Мне кажется, я знаю этого человека.

С а й з а. Неужели? И кто же он? Подожди, они здесь.

А й к. Эти ребята в хорошей форме.

Г о л о с. Не могли бы вы подвинуться, мадам?

С а й з а. Это случилось только пару минут назад...

Г о л о с. Да, мадам. Благодарю за вашу помощь.

А й к. Пойдем, дорогая. Если вам, ребята, что-то нужно, просто покричите.

Г о л о с. Благодарю, сэр.

С а й з а *(входя)*. Это было невероятно быстро. Ты только позвонил.

А й к. Странности сгущаются. Я даже не говорил ни с кем; они появились, когда я еще был на автоответчике.

С а й з а. Что?

А й к. И они знали, к кому они приехали. «Скорая для мистера Поттера».

С а й з а. Как они могли знать его имя? Даже мы не знали его имени.

А й к. Поттер – мой арендодатель. Человек, который владеет этим домом. Черт, да всем кварталом. Я думаю, это он.

С а й з а. Скажи, как он выглядит.

А й к. Не могу; я никогда его не видел.

С а й з а. Ты никогда не видел своего арендодателя?

А й к. Нет, насколько я помню. Это просто имя на договоре; не то чтобы мы с ним катались на яхте каждую субботу.

Г о л о с. Мы бы хотели занести его наверх, если вы не против.

А й к. А, нет, конечно, давайте. *(Сайзе)*. Зачем тащить его сюда?

С а й з а. Я не знаю?

А й к. Какое-нибудь паучье чувство насчет этого?

С а й з а. Ничего не понимаю.

А й к. Та же фигня.

Г о л о с. Извините нас, пожалуйста.

Два санитара скорой помощи входят.

Пер в ы й с а н и т а р. Простите за вторжение.

В т о р о й с а н и т а р. Мы можем попросить у вас свечу?

С а й з а. Свечу? Разумеется. *(Она достает более или менее новую свечу из стола.)*

А й к. Свечу?

С а й з а. Вот, это подойдет?

В т о р о й с а н и т а р. Благодарю, мадам. Как раз подойдет. Прошу простить меня.

Второй санитар выходит со свечой.

С а й з а. Он будет в порядке?

П е р в ы й с а н и т а р. Надеюсь, мадам. Он стар и слаб. Пока мы сделали все, что могли.

С а й з а. Можем ли мы чем-то помочь?

П е р в ы й с а н и т а р. Нет, более ничем. Благодарим!

А й к. Могли бы что-то спросить у вас?

П е р в ы й с а н и т а р. Конечно, сэр.

А й к. Как вы узнали, что вам нужно быть здесь, и как вы узнали, для кого? Я не дозволился в 911.

П е р в ы й с а н и т а р. Мы не работаем на город, сэр.

А й к. Ладно, положим. Но на кого вы работаете?

П е р в ы й с а н и т а р. На мистера Поттера, сэр.

А й к. Вы работаете на мистера Поттера?

П е р в ы й с а н и т а р. Да, сэр.

А й к. То есть вы как бы следуете за мистером Поттером по городу на машине скорой помощи, пока он вкручивает свои лампочки каждый день, на случай если он упадет или подавится куриной костью?

П е р в ы й с а н и т а р. Нет, он вегетарянец, сэр.

В т о р о й с а н и т а р (входя). Готов к полету.

Санитары обмениваются несколькими словами быстро и спокойно на языке, который невозможно понять.

Второй санитар (*протягивает Сайзе огарок почти полностью сгоревшей свечи.*) Благодарю, мадам.

С а й з а. Вам не нужна помощь на лестнице?

П е р в ы й с а н и т а р. К чему нам лестница, мадам?

А й к. Извините, но лифт сломан.

В т о р о й с а н и т а р. Был сломан, сэр.

А й к. Как, вы починили лифт?

В т о р о й с а н и т а р. Да, сэр.

П е р в ы й с а н и т а р. Простите, сэр.

Они направляются к лифту.

А й к. У вас даже нет инструментов!

С а й з а. Куда вы его повезете?

В т о р о й с а н и т а р. Госпиталь Горы Синай¹, сэр.

А й к. Что вы за люди?

П е р в ы й с а н и т а р. Благодарим за ваше милосердие.

В т о р о й с а н и т а р. Благословений в будущем году.

П е р в ы й с а н и т а р. Бог да пребудет с вами.

В т о р о й с а н и т а р. Аминь.

¹ Госпиталь Горы Синай – часть одноименной медицинской и научной сети Нью-Йорка; назван в честь горы на Синайском полуострове, где Моисею были вручены скрижали с заповедями.

Они уходят.

А й к. Я бы, пожалуй, закурил.

С а й з а. Бедняга. (*Кладет огарок свечи в карман и подходит к окну.*)

А й к. Бедный, бедный мистер Поттер, с его личной скорой помощью и бригадой медиков.

С а й з а. Нет никакой скорой.

А й к. Ерунда. (*Подходит к окну.*)

Сайза. Нет. Не ерунда. Нет скорой.

А й к. Следи за улицей. (*Выходит к лифту и вызывает его.*) Мне очень бы хотелось найти какое-то объяснение.

С а й з а. Надеюсь, он благополучно попал в госпиталь.

А й к. Что, Госпиталь Горы Синай? Почему ты думаешь, что они его не доставили прямо на самую гору?

С а й з а. Где же они?

А й к. Я имею в виду, похоже, этот парень был со связями, если ты меня спрашиваешь.

С а й з а. Лифт работает?

А й к. Да, если говорить о хорошем.

С а й з а. Они не выходили из дома.

А й к. И в доме их нет. (*Входит в комнату.*) Пуфф.

С а й з а. Так странно.

А й к. Может быть, пока я кидался кубиками, то случайно выпал из окна, и все, что с тех пор происходит, это просто «Происшествие на мосту через Совиный Ручей»¹, живая фантазия последних минут жизни.

С а й з а. О том, как твой пожилой домовладелец падает с лестницы.

А й к. Так что мы оба с ним падаем.

С а й з а. Скажешь, когда долетишь до мостовой.

А й к. Дай перескажу: мой арендодатель останавливается около дома, чтобы заменить лампочку на лестнице, но не успел он глазом моргнуть, как мрак охватывает его и он падает – событие, которое ты каким-то образом предчувствовала. Мы позвонили в скорую, но не успели мы глазом моргнуть, как помощь прибывает, беднягу укладывают, чинят лифт, благословляют нас и исчезают. Я что-то упустил?

С а й з а. Смысл. Я звоню в госпиталь. (*Хватает телефонную книгу и набирает номер.*)

А й к. Горы Синай?

С а й з а. Да.

А й к. Который из них?

С а й з а. Самый большой.

А й к. Я упускаю смысл. Что это значит?

С а й з а. Это значит... что мы видели чудо.

А й к. А, брось. Это не чудо.

С а й з а. Разве нет?

А й к. Нет! Чудо было бы, если бы эти парамедики вылечили его на том же месте. А они просто изображали бурную деятельность. Это «Секретные материалы»² в лучшем случае.

С а й з а. Но они починили лифт!

А й к. Тросы и веса – это вам не хлебы с рыбами.

С а й з а (*по телефону*). Да, я хотела бы узнать, был ли принят к вам мой дедушка. Мне сказали, что скорая должна его доставить к вам. Да, его фамилия Поттер...

А й к (*шепчет*). Эли.

¹ Рассказ американского писателя Амброза Бирса.

² Знаменитый телесериал, посвященный инопланетному вмешательству в жизнь Земли.

С а й з а. ...Эли Портер. Да? И как он? У-ху. Да. Я понимаю. Спасибо, спасибо вам огромное.
(Кладет трубку.)

А й к. Он уже там?

С а й з а. Просто чудесно, не так ли?

А й к. И как он?

С а й з а. Неопределенно.

А й к. Но кто он такой? С какого по его перепуга чудо случилось по его поводу? Почему этот Номер Первый и Номер Второй просто не возложили на него руки и не потребовали: «Встань и иди»? Что, он припозднился со страховыми выплатами?

С а й з а. Почему ты так сердишься?

А й к. Потому что я не понимаю, что происходит! Что случилось здесь? Мне необходимо связать входы и выходы, чтобы часом не двинуться мозгами; я ждал, что Брюс Ли выйдет из лифта, а вместо этого Джонн Депп залезает в окно. Никто не спросил моей подписи под всем этим. Я не подпишу!

С а й з а. Подумать только! А я еду в госпиталь.

А й к. Что? Проведать Поттера?

С а й з а. Ну да.

А й к. Господи, зачем? На улице ужасно, ад заledenел. Не ходи никуда.

С а й з а. Я должна. Я хочу.

А й к. Но зачем? Кто этот человек? Кто он тебе, и кто ты ему?

С а й з а. Никто. Я просто беспокоюсь о нем. Я хочу сделать для него все, что могу.

А й к. Почему?

С а й з а. Почему нет?

А й к. О, черт. И вот как мы собираемся провести новогоднюю ночь, на дежурстве у постели умирающего в гериатрической реанимации?

С а й з а. Айзек! Не шути про его смерть. Я серьезно. Ты не должен заботиться, но не заботиться хуже. Я не могу объяснить, почему... но это важно, чтобы он выздоровел. Конечно, я не знаю его родословную от Адама и все такое, но я чувствую, что он... нечто вроде моего дедушки. Может быть, он чей-то дед. Я не знаю. Это просто чувство, оно не поддается объяснению, и поэтому я даже пытаться не стану. Я поеду. И никто не сказал, что тебе нужно ехать со мной.

А й к. Не будь дурочкой. Куда ты идешь, я иду. Ты не отправишься туда одна, и я здесь не останусь один. Я буду хорошо себя вести.

С а й з а. Я ценю это, милый, но, честное слово, я не хотела бы, чтобы ты шел со мной, если ты будешь весь сердитый и кислый из-за всего этого.

А й к. Я не кислый! Я просто разочарован, как у нас проходит этот вечер, вот и все.

С а й з а. Он не свалился с лестницы просто тебе назло, знаешь ли.

А й к. Да известно уж...

С а й з а. Ну, время неподходящее, но когда оно подходящее-то?

А й к. Я знаю, но сегодня – из всех ночей...

С а й з а. Мы все равно отпразднуем, но чуть позднее, я обещаю. А может быть, мы найдем какие-то ответы для тебя.

А й к. Нет, я никогда не получаю нужных мне ответов. А только лишь те, что Большой Человек позволяет мне получать.

С а й з а. Противодействуй силе.

А й к. Слишком проблемно. Лучше просто ныть в ответ.

С а й з а. Но не сегодня. Сегодня нет времени.

А й к. Я буду хорошим. Я буду как маленький ангел.

С а й з а. Как-то мне сложно это представить. Ты готов?

А й к. Да.

С а й з а. Все равно, можешь не ходить. Последний шанс.

А й к. Ты тоже можешь не ходить. Последний шанс.

С а й з а. Я иду.

А й к. Я тоже.
С а й з а. Я люблю тебя.
А й к. И я.

Они целуются.

С а й з а. Спасибо небесам, лифт работает.
А й к. Дело временное. О, подожди. Одна вещь. *(Берет бутылку шампанского.)* Это поедет с нами. Полночь ждать не будет, и мы найдем, за что выпить. Еще какие-нибудь предчувствия? Какая-нибудь точка на твоём радаре?

С а й з а. Это правильно, что мы едем. Мы должны быть там.
А й к. Окей, делайте свои ставки, оракул рек. «Да будет по сему».

Они выходят. Сцена меняется на отдельную палату в Госпитале Горы Синай. Пожилой мужчина, Поттер, лежит без сознания на кровати, но больничный экран между ним и залом не даёт зрителю ясно видеть фигуру за ним. Рей, доктор, осматривает больного и делает пометки в истории болезни. На ней нет обуви. Мгновение, и Майк, полисмен в форме, входит.

М а й к
Ну, как? Во что он влип на этот раз?
Видать, как водится, залез в дерьмо?..
О, Рей, прости! Рад свидеться, сестрица.
Ты выглядишь моложе, чем была.
Р е й. Майк, я скучала, старый негодяй!

Они обнимаются. Майк снимает обувь.

Ну, прямиком. Он плох, настолько плох,
Что улучшений ожидать не стоит.

М а й к. Короче, ад.
Р е й. Да, можно так сказать.

Майк подходит к постели.

М а й к. Что, медицина не даёт надежды?
Р е й.
Полно надежд, желаний и молитв.
Реалистичных ожиданий – пшик.
Хоть трудно осознать, но это правда.
Побудь ещё. Мне одиноко, Майк.

М а й к.
Пока я тут, ты точно не одна,
Я надоесть тебе сто раз успею.
Ну, расскажи, что с ним произошло.

Р е й.
На этот раз он с лестницы слетел.
Во мраке поскользнулся, и спиной
Ударился, его хватил удар,
Повлекший слепоту и паралич.

Он то придет в сознание, то назад
Провалится, и речь его темна,
И сердце, Майк, и легкие грешат –
Все рушится, и раны глубоки –
Нет, мой прогноз, похоже, неизменен.
Прости меня.

М а й к .

Ну, что ты. Мне так жаль.
Но, знаешь, кажется, все шло к тому.

Р е й.

Беду предощущала я давно,
Но и сейчас я не могу поверить.

М а й к

Но почему? Со всеми будет так,
И отчего не с ним, в конце концов?
Не гаснут ли ярчайшие из звезд,
Не слабнет ли завод в часах эпох,
Чтоб в срок дыханье жизни прервалось
И в русле времени лишь пыль текла?

Р е й. Развеселил!

М а й к .

Да, болтовня и только.
Но угасанье – сущность всех вещей.
Он знал, что вскоре час его придет,
Точней, о том не мог не думать он.

Р е й. Начертано судьбой? Иль им самим?

М а й к . В чем разница?

Р е й. Да, может быть, и правда.

Габби, юрист, входит с портфелем. Она сразу же снимает туфли.

Г а б б и.

О, горе! Пробки – это просто ужас.
На улице – полнейший зоопарк.
Приветик, парочка – вы бесподобны!
Пardon за опоздание. Как он, Рей?

Р е й.

На троечку. Я Майка в курс ввела.

М а й к .

Ну, как ты, Габби? Вечность не видал.

Г а б б и.

Да, Майк, по-прежнему, все как всегда.

М а й к .

Похоже, все изменится теперь.

Г а б б и.

Так это правда?

Р е й.

Да и нет: решай.

Г а б б и (*подходит к постели*).

Я, кажется, предчувствовала это.

М а й к и Р е й *(вместе)*.

И я, О, черт.

М а й к , Р е й и Г а б б и *(вместе)*.

Мы хором говорим.

Г а б б и.

Мы вновь в единодушии таком!

М а й к .

Как некогда...

Р е й.

Мы были славным хором!

Г а б б и.

В те времена.

М а й к , Р е й и Г а б б и.

В начале всех начал!

Г а б б и.

Коль верить в знаки, это некий знак.

Майк

Что значит этот знак?

Г а б б и.

Я не пойму.

Но если впрямь в сгустившуюся тьму

Больной уходит из Долины Слез,

Его огромное наследство вдруг

Становится проблемой из проблем.

Ведь я Его поверенной была,

И завещание ношу с собою.

Р е й.

Но разве есть с наследником вопрос?

М а й к .

Сын получает все.

Г а б б и.

Когда бы так!

Давно ль читали вы его завет?

Он внес туда немало изменений.

Теперь все посложней, чем до сих пор.

Ведь дело для него всего важней,

Как минимум, важнее кровных связей.

Чтоб выжило все то, что начал он,

Ему ничем не жалко поступиться,

И, верьте мне, действительно ничем.

Вам не понравится, что я прочту.

Коль сын его не явится немедленно,

Чтоб заявить законные права,

Другой наследник получает все.

А кто? Он имя мне продиктовал –

Решусь ли я его произнести?

М а й к .

Он? Невозможно!

*Входит Люк, выглядящий как Крез, только богаче. Он в смокинге, одет формально.
Он не снимает обуви.*

Г а б б и. Черта помянешь...

Л ю к. Салют! Вся банда здесь! Как в первый раз.

М а й к . Эй ты, молчать! Пошел отсюда, мразь!

Г а б б и. Но, Майк...

Л ю к. Постой, бумажная душа.
Я понимаю так, что призван был?

М а й к . Ты, куча лживого дерьма! Заткнись!

Л ю к. Что скажет наш глашатай? Подтверди.

Г а б б и. Он так велел, чтоб Люк сюда явился.

М а й к . Меня забыла ты предупредить.

Г а б б и. Не думала, что он примчится сразу.

Л ю к. Ну, время – деньги в бизнесе моем.
Я б ни за что не пропустил ваш слет.
Съезд партии. Мой ежедневный цирк
Пусть подождет пока. Вот – белый флаг.
Оливковая ветвь. Я с миром к вам.

Р е й. «Побойся греков, что дары несут».

Л ю к. Я стар, как мир, мы старые друзья.
Вам опасаться нечего, поверьте,
От бедной жертвы ложных новостей.

М а й к . Пускай останется, раз так пошло.
Что я был против, в протокол запишешь?

Г а б б и. Внесла.

Л ю к. Подумать только, в протокол!

М а й к . А ну-ка, руки вверх, лицом к стене.

Л ю к. Какого дьявола!

Майк припирает его к стене.

А, все равно.

М а й к (*обыскивает его*). Ты здесь – но на условиях моих.
Один неверный шаг, и ты летишь
В пролет быстрее света, лживый демон.

- И мне на завещанья все плевать.
Просек?
- Л ю к.
- Не синхрофазотрон, чего ж.
- М а й к .
- И первым делом башмаки долой.
- Л ю к.
- Ах, да. Я эту мелочь позабыл. *(Снимает обувь.)*
О, эксцентричность, старческий недуг!
Велел ли он резиновые мне
Носить перчатки, или спутал я?
- Г а б б и.
- Эй, не испытывай удачу, Люк!
- Л ю к.
- Удача? В чем моя удача здесь?
Я в логове у льва лишен когтей.
«Фортуна» – просто глянцевого журнал,
Что в ящики подписчикам кидают.
Какой безумный поворот судьбы
Меня привел бы прямо в вашу пасть?
Мечтал ли я узреть своих коллег
С тех пор, как с волчьим вылетел билетом?
И все ж мы встретились – хоть неясны
Детали мне (надеюсь, объяснимся?).
И пусть я столь же нежеланный гость,
Как был в те дни, когда расстались мы,
Но, кажется, ваш гнев слегка подтаял.
У Провиденья, что ли, новый план?
- Р е й.
- Ты с Провиденьем был накоротке,
Гораздо ближе, чем любой из нас.
А если ты о прошлом сожалеешь,
Ха, я скажу, ты сделал ставку сам.
- Г а б б и.
- И я б на Провиденье чересчур
Не полагалась; что тебе дано,
В миг может быть отобрано назад.
Мы статус кво в минуту восстановим,
И в отношении тебя никто
Не гарантирует нейтралитета.
- М а й к .
- Молчи, как столб, и придержи язык,
А то, едва изменится фортуна,
Я твой скелет в анатомичку сдам.
- Л ю к.
- Прошу прощенья, лишнего сказал,
Речь жмет на газ, хоть на нейтралке мозг. *(Хочет подойти к постели, но Рей загоразживает ему путь.)*
Какой у старика диагноз, Рей?
- Р е й.
- Он до утра навряд ли доживет.
Попробуй только выразить злорадство.

Л ю к.

Злорадство? Я?

Р е й.

Мне тошно от тебя.

Л ю к.

Оставь. Есть уважение во мне
К тому, каким он был в былые дни.
Он этот бизнес выстроил с нуля,
Решительность и хватку проявив,
Любовь к труду...

М а й к .

Эй, некрологи брось!
Он жив пока.

Л ю к.

Вот именно – пока.
Эй, если я закончу так – тотчас
Мой выдернете шнур!

М а й к .

Коль я бы мог
Решать, как ты закончишь – у тебя
Навряд ли будет место, чтобы шнур
Воткнуть.

Л ю к.

Смирйй свой темперамент, Майк,
Стареешь ты, и я не впечатлен.

Майк бросает Люка на землю быстрым, изящным движением, и ставит ногу на шею Люка, затем достает полицейский жезл и заносит его.

М а й к к. Надеюсь, бес, ты впечатлен теперь?

Г а б б и. Майк, нет –

М а й к . А я его предупреждал.

Г а б б и. Дай встать ему.

М а й к . Так не должно быть, Габ!

Г а б б и. Ты прав, но в этот раз так быть должно.

Майк поднимает ногу и отходит. Люк встает и приходит в себя.

Л ю к.

О, Габби, я бы справился и сам.

Г а б б и.

Нет, адвокатом дьявола служить
Не стану больше. Просто отвернусь.

Л ю к.

Не дрейфь, овечка. Слишком я ценю
Свой смокинг, чтоб им заново рискнуть.
Другую щеку подставляю, гляньте!
Я не в обиде, офицер. У нас
Есть много общего. Непросто нам
Привычки прошлого переменить.
Приспособляйся иль умри – закон!

Сменилось время – поспевай за ним.
 Друзья, ну почему б нам не ужиться?
 Пусть прошлое уйдет: забыть, простить, –
 Не в этом ли теперь партийный курс?
 Победы, поражения – все в минувшем.
 Различья мнений – кто припомнит их?
 Я, как простой проситель, здесь стою,
 В носках Армани, но по сути наг,
 В невинном стаде – грешною овцою.
 Друзья, вернем же прежнюю любовь!
 Ведь до раздора были мы едины.
 У каждого был офис угловой,
 Ключи от туалетов класса «А».
 Кто, как не мы, здесь был – душа и мозг?
 А мы гордились штатным расписанием:
 Все Силы, Троны все, Господства все,
 Весь преданный задаче персонал,
 Что был готов трудиться днем и ночью,
 Наш мастер-план сполна осуществить.
 Тогда вы, трое, мне семьей были.
 Не ты ли, Габби, мой бюджет вела?
 Не ты ли, Рей, лечила язву мне?
 Не ты ли, Майк, меня учил кунг-фу?
 Мы неразлучны были в эти годы,
 На ланч ходили вместе, каждый день.
 О, это время света без теней,
 Прогресса век, и мы – его творцы.
 Не забывайте первых днеки творенья,
 А все противоречья – лишь слова.
 Мой меч давно распродан на таймшере;
 Не закопать ли нам топор войны?

Рей, Габби и Майк. Ну-ну!

Рей.

Я говорю за нас за всех:
 Нам вешать роллтон на уши не надо.

Габби.

Твои воспоминанья о былом,
 Похоже, упускают ряд моментов.

Майк.

Как место шефа ты мечтал занять,
 Как персонала треть уговорил
 Забыть лояльность прежнюю к нему
 И вместе взбунтоваться против нас,
 Чтоб разделить компнию на части?

Рей.

Ты помнишь ли, как рынок трепетал?
 Как акции упали в то же утро?
 Какую бурю вызвал твой мятеж,
 Что мир и ныне чувствует толчки
 От темного падения твоего,
 И тень депрессии висит над ним.

Г а б б и.

Все это живо в памяти у нас,
Вкус уксуса в зеленом том напитке;
Не так-то просто прошлое изгнать,
Раз будущее зиждется на нем.

Л ю к.

Как вам угодно. Я понять могу
Враждебность вашу, но жалею все ж
О ней весьма. И все же невдомек,
Как я при этом оказался здесь,
И что за сила сдерживает вас
От ярости, к которой я привык.
В чем дело?

Г а б б и.

В завещании его.

Л ю к.

Неужто я был упомянут там?
Набор столовый, что ли, мне отходит?

Г а б б и.

Тебе, условно, достается все.

Л ю к.

Под «все» мы понимаем...

Г а б б и.

Все как есть,
Его владения, собственность и земли,
Компания, вложения, дома,
Все с именем его. Короче, все.

Л ю к. Ни слову я не верю.

Г а б б и. Уж поверь.

Р е й. Весь труд...

М а й к . И взрыв!

Г а б б и. Весь космос – и вразнос.

Л ю к. Я для него не так чтоб много сделал.

Р е й.

Визитку только не спеши менять.
Он жив еще. Все силы приложу,
Чтоб был он жив так долго, как смогу
В нем теплить жизнь.

М а й к .

Да прекратите вы.
Неясно вам? Весь документ – одна
Приманка. Люк приходит. Шах и мат.
Он арестован, кончена игра.

Г а б б и.

Нет, Мик, не обольщайся. В этом нет
Ловушек, фокусов. Стилль не таков.
Шеф был весьма серьезен, как ни жаль.

М а й к .

Но ты условие не назвала.

Г а б б и.

Наследство будет полностью твое,
Вопросов нет – но если только лишь

Наследник истинный сегодня сам
Не явится, чтоб заявить права.

Л ю к.

Кто, сын его? Он без вести пропал.
Быть может, что-нибудь один из вас
Слышал о нем?

Р е й.

Мы потеряли связь.
И мы не знаем, где его искать.

М а й к .

Он нас найдет. Он явится. Горазд
Являться он, чуть спишут со счетов.
И после, будь спокоен, о тебе
Я позабочусь; ордер на арест
Бессрочный есть.

Г а б б и.

Но ордер истечет,
Коль вступит Люк в права. Страница шесть.

М а й к .

Не истечет. Мальчишка все равно
Появится. Я знаю. Он такой.
Хоть, кажется, здесь больше никого,
Кто б в это верил.

Р е й и Г а б б и . Почему же нет?

Р е й. Надежда есть!

Г а б б и. Как и сомненья.

Р е й, Г а б б и и М а й к . Ждем-с!

Л ю к. Эх, вам бы в шоу выступать.

Р е й, Г а б б и и М а й к . Заткнись!

Л ю к. А что же достается вам троим?

М а й к . Мы здесь на службе.

Р е й. Служба – это мы.

Г а б б и. В чем мы нуждаемся, все есть у нас.

Л ю к. Но есть ли то, чего б хотелось вам?

Р е й.

Имея все, чего ж хотеть? Увы,
Ты этого не понял.

Л ю к.

Хоть убей:
Всегда есть большее; никто б не мог
Сказать, что он доволен на все сто.

Р е й.

Ты только лишь на личный опыт свой
Ссылаешься.

Л ю к.

Мой опыт говорит,
Что только личный опыт в счет идет.

Р е й.

Ты, что ли, солипсист¹?

¹Солипсизм – философская теория, согласно которой весь мир существует лишь в сознании человека.

Л ю к.

Не то, чтоб так.
Случившегося с кем-то, не со мной,
Не говорю, что не было совсем,
Но утверждаю: грош ему цена.

М а й к .

От этих взглядов Боже нас избавь.

Л ю к.

Ты опоздал. Весь мир считает так.
Ты сам узнал бы, если пожил с ними,
С сынами Вавилона хлеб деля,
В Содоме-на-Гудзоне побывав.
Там кличут самоуваженьем свой
Моно-маниакальный эгоизм.
«То хорошо, что хорошо для нас,
Точнее, для меня» – и вся мораль.
Я знаю их желанья, нужды все.
Я в них себя так часто узнаю.
Ничто не изменилось с давних дней,
Одна валюта. Но на биржах я
Свой в доску. Только я не видел там
Тебя, всю троицу – что до Него,
Так он, как все волшебники, незрим.
А с глаз долой, увы, из сердца вон,
И память все короче, к веку век.
А я живу с людьми, на кнопки жму,
Подписываю чеки. Я – делец,
Как им по вкусу: видеть, кто сдает
Колоду карт, и знать, что у него
Чудес дешевых нету в рукаве.
Их утешает мой подход к вещам –
Я не прошу их по воде ходить.
«Мы в Бога верим» – надпись на деньгах,
Но кто бы мог узнать Его в лицо?
А я? На каждой стенке мой портрет,
Мой штамп венчает каждый документ,
Мои следы – по всей Аллее Звезд,
Я в ретро-шоу, как и в Доме-2,
Я тему написал, и сам исполнил.
Я – тот, кем каждому хотелось быть.
Не может быть известности дурной,
Известность есть известность.

Р е й.

Я дивлюсь,
Как это может быть, что ты теперь
Еще невыносимей и наглей,
Чем был тогда.

Л ю к.

Я лишь предположил,
Как в завещанье я к нему попал;
Он счел: компания во всем моя,

За исключением имени его.
 Здесь точно не отцовская любовь,
 И не респект сыновний – никаких
 Сиропных дел. Но может, кто-нибудь
 Бедняге прагматизма подмешал
 В вино?

Г а б б и. Темны для нас его пути.

Л ю к. Вот в чем вопрос. Но почему? – вопрос.
 Он не любил вопросов никогда.
 И потому стал избегать меня.

Г а б б и. А может быть, предательство твое –
 Тому причиной?

Л ю к. То, что ты зовешь
 Предательством – был просто Здравый Смысл.
 История порукой – бизнес-план
 Был непродуман у него.

Р е й. Да ну?
 Пускай пыталась Гордость для тебя
 Служить увеличительным стеклом,
 Твой взгляд всегда был взглядом червяка.
 Неприменим излишне-здоровый смысл,
 Чтоб истины безумные изведать.
 История порукой в этом вся.

М а й к . Туш!

Г а б б и. Блеск!

Р е й. Спасибо...

Г а б б и. Взялся ты судить
 О замысле его. Но дай спрошу,
 Где был ты сам, когда он собирал
 Уставный фонд компании своей?

М а й к . И кто ее фундамент заложил?

Р е й. Ты знаешь ли, где обитает свет?

М а й к . А также тьма. Где место для нее?

Г а б б и. Кто мудрость открывает мудрецам?

Г а б б и, М а й к и Р е й. Кто дарит откровения сердцам?

Л ю к. Ах, ладно, знаю, я дурная кость,
 О, я драконам брат, в том нет сомнений,
 А также совам компаньон, ух, ух.
 Но весь наш мир – неужто это все
 На что способны вы, способен он?

Г а б и. Все так, как быть должно.
Р е й. Поверь, и все.
Л ю к.

Я лишь заполнил тот пробел, что вы
Оставили. Коль разум мне вручен,
Что обвинять за мысли? Коль вопрос
Поставлен – странно ли, что есть ответ?
Хотите, чтоб по правилам играл –
Так не меняйте их в году два раза!
Куда ни глянь – Уловка-22¹!
Его творенье, в сущности, капкан,
Что ловит сам себя; и он сродни
Машине Голдберга², как мог ее
Увидеть пьяный Эшер³. И к тому ж
Инструкция приложена к нему –
Секретный код, что был написан им
При помощи невидимых чернил.
Он детектив разыгрывать горазд,
Ни фотографий вам, ни интервью.
Но долго ль бизнес мог бы протянуть,
Когда он в башне вынужден своей
Вещать в тиши и меж теней сиять?
Для пляжа детективы хороши,
Но руководством к действию, увы,
Они служить не могут каждый день.
Майк, ты спросил, а где обитель тьмы?
Взгляни вокруг. Прохожих расспроси.
Что, кроме тьмы, известно им, ответь?
И я б не стал тьму проклинять зазря,
Коль он позволит мне затеплить свет!

*Входит Джош, с пакетом продуктов и термосом. Майк, Габби и Рей немедленно опускаются
на колени, подняв руки в благословении.*

Ну, что ж. Сюрприз! Та-дам! Вот – человек.

Д ж о ш. Простите, я задержался. Меня ограбили по дороге.

Хор исполняет «Аллилуйя». Затемнение.

Интермеццо

Свет на Люке, он сидит и курит. Он обращается к аудитории.

¹Уловка-22 – термин из одноименного романа писателя Джозефа Хеллера; ситуация, возникающая в результате логического парадокса между обязательными правилами.

²Машина Голдберга – устройство, выполняющее простые действия чрезвычайно сложным способом.

³Мауриц Эшер – нидерландский художник-график, известный своими концептуальными произведениями, исследующими понятия бесконечности и симметрии.

Л ю к.

Что, вспомнили? Меня узнал бы всяк.
 Мой бизнес – информация. Итак,
 Я – сутенер, внаём сдающий Суть,
 Я – менеджер проекта «Светлый Путь»,
 Паук, всемирную плетущий сеть,
 Кто с данных дань берет, и будет впредь.
 У Мейдоффа¹ я принят как родной,
 Весь список Форбса знается со мной.
 Кто Прометею Зиппо одолжил?
 А он не отдал (чтобы я так жил!):
 Видать, печенку совесть не проест...
 Хеопсом спрошен о вложение средств,
 Я парня ввёл в устройство пирамид,
 Мол, пусть свою наличность в них хранит.
 Продвинь недвижимость – и мир спасён!
 Ещё я помню Александра – он
 Был в Малой Азии велик весьма,
 Хоть много пил и был из меньшинства.
 Его учил я сдержанности, но
 С узлами грек не мешкал, все равно!
 На скачки часто брал Улисс меня,
 А окупилась ставка на Коня –
 Мы взяли Трою, он купил корабль...
 Я был матросам друг и королям.
 Чтоб свой закон открыл Ньютон для вас,
 Кто дерево над ним, скажите, тряс?
 Истории перелистайте том –
 Я там меж строк, в повествованье том,
 Слуга прогресса, честно говоря.
 И что ж? Меня винули вы зазря,
 Когда, позвольте, вас самих несло.
 Вы – только люди. Но Добро и Зло –
 Лишь яблок сорт, напомнить вам берусь!
 Запретный плод? Что ж, коль по вкусу вкус,
 Влечет к познанию – я вас не виню.
 Был выбор ваш, я лишь держал меню.
 И что б ни взять ответственность, ковбой,
 Чем древней книге верить, Бог с тобой!
 Возьмём хоть Иова. Грустней всего,
 Я пальца бы не поднял на него,
 Но нанят был, встряхнуть шута всерьёз.
 Есть жалобы? Пусть отвечает босс.
 И расспросите также по пути
 Туроператора о девяти
 Крестовых турах – в том ли цель была:
 Мир посмотреть и тут же сжечь дотла?
 «Ура Святой Земле! Круши трактир!»

¹Бернард Мейдофф (р 1938) – американский бизнесмен, создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды, приговоренный в 2009 году за преступления к 150 годам тюремного заключения.

Вот так святой за святостью ходил.
 А Инквизиция – гляди скорей:
 Мир позабыл, что был Христос – еврей!
 «Зачем в Толедо дым до облаков?»
 «Смягчаем климат. Жжём еретиков».
 Забудешь прошлое – придёт назад.
 Коль вас заносит, я не виноват.
 Там, в Салеме, вы вздергивали ведьм¹,
 Я ни при чем. Как головам лететь
 В разгар террора у парижских стен,
 Решал не я, а доктор Гильотен.
 Вы убивали – рабство учредить,
 И после, чтоб рабов освободить.
 Жаль, что руины мировой войны
 Потомки Канта разгребать должны –
 Но лозунг, что несёт свободу труд,
 Был не моей рукой начертан тут².
 С начальных дней я был ваш педагог
 В тех областях, что ум объять не мог,
 Я сведущ в том, как тень смешать и свет,
 Вопрос поставить и принять ответ,
 Как разбавлять блаженством благодать,
 И к саморазрушенью утешать
 Ваш аппетит, к шизофрении страсть.
 Но если выйдет ниже пола пасть
 И ты очнёшься, весь в чужой крови –
 Грехом свои поступки не зови,
 Не обвиняй меня, черт побери!
 Твой личный Дьявол – у тебя внутри.
 Рогов не носит, на эффекты скуп,
 Гороховый не изрыгает суп.
 Но в зеркалах – его улыбка сплошь.
 Ад с дальней Никогданием не схож.
 Я не в аду живу, а на земле:
 На склонах Аспена³ – мое шале,
 В Нью-Йорке у меня пентхауз есть,
 И дом в Палм Бич, и прочих мест не счесть.
 Но ад – он здесь, доступен он для всех,
 Когда в нечеловека человек
 Перекрещен: Сонгми, Бхопал, Донецк,
 Где в людях зверь проявлен, наконец,
 Везде – от звёзд до темного угла,
 Где даже и надежда умерла.
 Он в Бедфорд-Стай⁴, где в ночь под Новый год
 В микроволновку мамочка кладёт

¹ Имеется в виду процесс над «ведьмами» в американском городе Салем, в 1692-1693 годах.

² Люк говорит о надписи «Arbeit macht frei» – «Труд освобождает» – на воротах концлагеря Заксенхаузен.

³ Аспен – город в штате Колорадо, один из самых элитных горных курортов мира.

⁴ Афроамериканский район в Нью-Йорке.

Свое дитя¹, поджариться слегка,
Чтоб демонов изгнать наверняка,
Тем самым всякий исцелив недуг.
Гашишный дух разносится вокруг,
Над облаками силуэт луны,
Такая тишь, что крики не слышны.
Она одна над пропастью своей.
А Бог – он наверху, и все окей.
Как ржавчиною, съеден цвет весны.
Вы, право, в садоводстве не сильны.
Я даже вам сочувствую, увы.
Я тоже рай утратил, как и вы.

Действие второе

Свет зажигается на том же моменте, где первый акт завершился.

Д ж о ш. Ох, ребята, ну что вы, пожалуйста встаньте. Я не буду держаться церемоний, если и вы не станете. Правда. Это нормально. *(Подходит к постели, трогает руку Поттера.)*

Р е й.

Ты знаешь сам, что с ним произошло.
Удар и кома.

Д ж о ш.

Знаю, как он плох.
Иначе мы не были бы здесь.

Все, кроме Люка, склоняют голову на минуту. Затем Джош обращается к Люку.

Тебя бы точно не было.

Л ю к. Привет, Джош. Вечность, как не виделись.

Д ж о ш. Видел тебя по CNN на прошлой неделе. Как успехи?

Л ю к. А, ты знаешь, как это у нас, приятель. Что-то выиграл, что-то проиграл: я в порядке. Ты побрился.

Д ж о ш. Борода царапается. Ты, как обычно, при параде. А вы трое... Господи, вы такие же, как я помню вас. Это чудо. Ах, как я рад видеть вас всех снова!

Г а б б и, М а й к и Р е й. А мы – Тебя, будь Ты благословен!

Д ж о ш. Ребята, это бесподобно. Я скучал по этому. Вы все такие же крутые.

М а й к. Ты правда был ограблен?

Д ж о ш. Да, в соседнем квартале. Я, должно быть, выглядел как бомж.

Р е й. Ты ранен? Нет ли сотрясения?

Д ж о ш. Нет, нет, я в норме. Он просто забрал мой кошелек. Я не возражаю. Я не ношу кредитных карт, а наличность... ну, вы знаете учительскую зарплату – он сможет купить йогурт или что-то в этом роде. Он оставил мне продукты, так что я считаю, мне повезло.

Л ю к. Ты преподаешь?

Д ж о ш. Пытаюсь. Социология, старшие классы.

Л ю к. Как славно! Нравится?

¹Дэвид Довалос ссылается на разрозненные полицейские отчеты об одном или нескольких случаях такого рода.

Д ж о ш. Мне нравятся дети. Бывала работа и похуже. Хотите бейгл¹? Айнстайн и братья. Вкус – просто небесный. (*Раздает бейглы.*) Майк, с луком; Рей, пшеничный; Габби, с маком. Правильно? Я все еще помню. О, и Люк... У меня есть для всех. Могу ли соблазнить тебя фруктом? (*Достает яблоко.*)

Л ю к. Как хорошо продумано! Яблоко от учителя².

Д ж о ш. И доктора не понадобятся. Я не имею в виду присутствующих. (*Вытаскивает термос.*) Тут у меня вполне приличный кофе, если кто-то хочет. Мой собственный рецепт. Угощайтесь.

М а й к (*Люку*).

Эй, руки прочь. Поскольку Он пришел –

А как иначе? – пропуск твой истек.

Пакуй свой хлам, поганец. Яма ждет. (*Подходит, чтобы арестовать Люка.*)

Л ю к. Погоди минуту...

М а й к .

С его приходом, твой вопрос закрыт,

В убежище отказано тебе.

Л ю к. Джош, да ты что? Разве ничего не изменилось?

Д ж о ш. Изменилось, но не слишком. Извини. Это не мой вопрос.

Л ю к. Что вообще случилось с этим «возлюби своего врага»? Был ли это просто предлог для налоговых поблажек?

Д ж о ш. Правила есть правила.

Л ю к. Чьи правила? Папины? С каких это пор тебе не все равно?

М а й к (*зажимая Люку рот*). Молчать имеешь право, так молчи.

Д ж о ш. Майк, не нужно этого.

М а й к .

Коль предпочтешь, могу ему язык

Отсечь и глотку лживую заткнуть.

Д ж о ш. Нет. Спасибо. Позволь ему говорить.

М а й к . Я повинуюсь. (*Отпускает Люка. Люк судорожно дышит.*)

Л ю к. Узнаю твой старый одеколон.

Д ж о ш. Что? Последняя просьба?

Л ю к. Ничего особенного. Просто хотел последний раз с тобой поговорить.

Д ж о ш. Как брат с братом?

Л ю к. Как мужчина с мужчиной. Как в старые добрые времена. В конце концов, что ты теряешь?

Г а б б и. Вопрос скорей: что ты приобретешь?

Д ж о ш (*оглядывает Люка*). На два слова? Это можно.

Л ю к. Спасибо, приятель. Очень по-христиански.

Д ж о ш. Можно мы останемся вдвоем на пару минут?

Г а б б и, М а й к и Р е й (*вместе*). Прости, но это очень неумно.

Л ю к. О, помилуйте.

М а й к . Тебе нельзя быть с ним наедине.

Г а б б и. Мы здесь для безопасности твоей.

Р е й. Риск для тебя и твоего Отца.

Р е й, Г а б б и и М а й к . Случится что, пусть кто-то будет здесь.

Д ж о ш. Послушайте, я ценю вашу заботу, и я знаю, что вы действуете в моих интересах, но, право, я могу о себе позаботиться.

М а й к . Пусть так, но где твой кошелек тогда?

Д ж о ш. Майк, я тебя обожаю. Там, на улице, это другое дело. Но здесь... С другой стороны, у Лукаса была долгая, выдающаяся карьера, он виноват во многих вещах, но мелкое хулиганство – точно не одна из них.

¹ Изделие из теста в виде бублика, популярный продукт американского фаст-фуда.

² Обыгрывается американская традиция дарить яблоки учителям.

Л ю к. Точно. Никаких судимостей по административному кодексу.

Д ж о ш. Он ничего мне не сделает. Или Отцу. Это не его игра – по крайней мере, теперь.

М а й к .

Я этого позволить не могу.

Ему пора с долгами рассчитаться.

Вот Вечный Ордер на его арест.

Д ж о ш. Мне нужно, чтобы ты отвернулся всего на минутку.

М а й к . Моя работа – соблюсти закон.

Д ж о ш. Ах, пожалуйста, старина. Я знаю, как тебе нелегко. Но сделай это для меня.

М а й к .

Субординацию грешно нарушить,

Но также грех предать служебный долг.

Д ж о ш. Я знаю, и благослови тебя за это Бог, Майк, но сегодня все по- другому. Прошу тебя, как друга, уважь меня.

М а й к . Конечно, и прости мои грехи.

Д ж о ш. Прощены. Забудь.

Г а б б и. Но завешание Отца гласит...

Д ж о ш. Я знаю Его завешание. Я знаю, чего Он хочет. *(Показывает на Люка.)* Что мне нужно знать, так это чего хочет он.

Г а б б и. Чего он хочет – невелик секрет.

Д ж о ш. Никогда не повредит выяснить в точности, не правда ли? Короткий разговор, и это все; ничего такого, чего не случалось прежде. Я буду в порядке. Идите, говорю я вам, досчитайте до пяти, расслабьтесь, вдохните свежего рециркулированного воздуха.

Они начинают обуваться.

Габби, дай отдохнуть своим усталым глазам; Рей, присядь ненадолго; Майк, ты все еще куришь?

М а й к . Нечасто, но...

Р е й. Да что же это, Майк?

Д ж о ш. Ах, ладно, доктор, это новогодняя ночь. *(Шарится в мешке и вытаскивает сигару.)*

Престо. Робусто. Он может бросить завтра. Верно?

М а й к . Да, бросишь тут. Кубинская, мой бог!

Д ж о ш. Si, verdad¹. Кохиба!² Стоящая вещь. Только не спрашивай, как я ее добыл, офицер, я просто нашел ее в сумке.

М а й к . Все может быть. *(Люку)* Я рядом, если что.

Л ю к. Да все будет в порядке.

Г а б б и.

Не верь его словам. Что б ни сказал –

Сверяй со мной, я никогда не лгу.

Л ю к. Юристы все такие.

Р е й. Заметишь измененья у Отца ...

Д ж о ш. Я первым делом сразу позову.

Р е й , Г а б б и и М а й к . Чуть будет в нас нужда...

Д ж о ш. Ну, шагом марш.

Они уходят.

Л ю к. Почему нужно быть такими занудами?

Д ж о ш. Просто они очень серьезно относятся к своей работе, и это все.

Л ю к. И я тоже. И ты тоже. Это началось так давно. Что бы им не расслабиться чуть-чуть?

¹ Si, verdad (исп.) – да, верно.

² Кохиба – бренд кубинских сигарет.

Д ж о ш. Иногда это нелегко. Есть старые раны, которые никогда не заживают. (*Подходит к окну, потирая грудную клетку справа.*) Такое ощущение, что будет снег.

Л ю к. Спасибо за доверие, Джош.

Д ж о ш. Просто я лучше знаю, чем они. И всегда знал. Я могу не соглашаться с твоей политикой, но я знаю, что ты в основе своей неплохой парень. Ну, если относительно.

Л ю к. Я не могу поверить, что никто этого не понимает.

Д ж о ш. Каждый заслуживает доброго слова.

Л ю к. Я ни одного не дождался от нашего больного. Ему всегда казалось правильным строить из меня павшего субъекта, и будь я проклят, если все остальные не присоединились к нему с радостью. Меня порочили всюду: Бродвей, Голливуд, Мэдисон Авеню ... несмотря на то, что я владею ими всеми.

Д ж о ш. Да ладно, помани и меня добрым словом. Были времена, когда ты был мне как брат. И как сын для него. Мы оба любили тебя. Я полагаю, в каком-то смысле все еще любим, хотя он никогда в этом не признавался.

Л ю к. Но не ты?

Д ж о ш. Что ты хочешь, конкретно?

Л ю к. Что ты имеешь в виду?

Д ж о ш. Какое твое сердечное желание? К чему ты стремишься? Ты был в нападении все эти годы – в какие ворота ты хотел бы забросить мяч? Поделись своим видением будущего!

Л ю к. Есть ли у меня мяч?

Д ж о ш. Куда ты метишь? Просто скажи.

Л ю к. Ты не знаешь? Я думал, ты всеведущ.

Д ж о ш. Не верь всему, что читаешь. Опасно делать предположения. Давай, выговорись. Евангелие от Святого Люка.

Л ю к. Я так и не взялся его написать.

Д ж о ш. Расскажи мне. Прямо сейчас, я слушаю.

Л ю к. Конечно. Великолепно. Честно говоря, я думал, ты никогда не спросишь. Я даже не знаю, с чего начать.

Д ж о ш. Попробуй начать со слова.

Л ю к. Ты выражаешься как отец. Без обид.

Д ж о ш. Все нормально.

Л ю к. Это все о бизнесе. И всегда было. Бизнес (с большой буквы Б) – такая сука. Он не для слабых, не для кротких, это бесконечная борьба за выживание против сил разложения, потерь, и энтропии. Ты следишь?

Д ж о ш. Разложение, потери и энтропия. Все понял.

Л ю к. Хороший бизнес – тот, что способен выстоять, что оснащен инструментами выживания. И какой самый большой ключ в этом наборе инструментов? Информация. Память прошлого, осознание настоящего, разумные догадки о будущем. Это все – о том, что ты знаешь и как ты это используешь. Информация равна выживанию, которое равно успеху, который равен уверенности. Уверенность – это бизнес. Правильно?

Д ж о ш. Блаженны уверенные.

Л ю к. Точно. Потому что они унаследуют дивиденды. Рыночный успех – это вопрос восприятия. Если бизнес воспринимается как успешный, потому что все уверены в этом, то он успешен. Его стоимость возрастает, и это ведет к тому, что его владельцы становятся более... что?

Д ж о ш и Л ю к. Уверенными.

Л ю к. Точно. Бизнес зависит от того, чтобы его участники а) знали, что происходит, и б) чувствовали себя по этому поводу чертовски хорошо.

Д ж о ш. Звучит справедливо.

Л ю к. Окей. Мне позволено говорить откровенно, так?

Д ж о ш. Несомненно.

Л ю к. Окей. Со всей откровенностью, объективно и с исключительно деловой точки зрения, понимаешь ли... вы, ребята, в полете.

Д ж о ш. В полете.

Л ю к. Вы слишком нездешние. Глас вопиющего в пустыне. Куча размокшего, размятого бормотания, если честно. «Здравствуй, новый век, точно такой же, как старый». Ничего личного.

Д ж о ш. Ну, что ты.

Л ю к. Я имею в виду, ваши идеи об управлении, и капитале, и труде и все такое – они очень благородные и достойные, но просто они не работают. В реальном мире, я имею в виду. Как раз там, где бизнесы и действуют. Я знаю, что у вас прекрасные намерения, и вы хотите только хорошего, но положи руку на сердце –

Д ж о ш. Кто сказал, что дорога в ад вымощена благими намерениями?

Л ю к. Как раз тот, кто стал жертвой Закона Непредвиденных Последствий. Я полагаю, тебе известно кое-что о непредвиденных последствиях?

Д ж о ш. Кое-что. Есть небольшой опыт.

Л ю к. Видишь, бизнес – такая сука. Мне не нужно тебе рассказывать. Рано или поздно кто-нибудь прогорает, в той или иной степени. Это неизбежно. Ценность – то, что мы выносим из отрицательного опыта. То, что ты приобретаешь собственной болью. А именно: ты должен верить, что у страдания есть смысл. У боли может не быть причины, но должно быть объяснение. В противном случае, страдание невыносимо. Я полагаю, ты согласен.

Д ж о ш. Вопросов нет.

Л ю к. Вы, ребята, всегда были скупы на объяснения. Никакого устойчивого потока информации, а то, что говорилось, было смутно или противоречиво. Это нехорошо. Люди заблуждаются и путаются, и платят высокую цену за то, чтобы оставаться в игре, даже теряя на этом: трудные времена. И погляди, что происходит: те, кто в вашем бизнесе, а) не понимают, что происходит, и б) чувствуют себя отвратительно. Вы просите крупных вложений от акционеров, но никто не может взглянуть на проспект акций. Никто не имеет права прочесть ваши бухгалтерские отчеты. Никто не видит цели, никто не получает объяснений. Никто ничего не знает. Конечно, каждый может делать предположения, разумеется, но, как сказал однажды мудрый человек, предположения опасны. Нет потока информации, нет уверенности, нет бизнеса. Знание необходимо. Знание – сила. И тут вхожу я.

Д ж о ш. Точнее сказать, тут ты выходишь.

Л ю к. Точно. Я ничего не скрываю. С того момента, как он объявил о выпуске акций, я полагал, что он был абсолютно неправ в его основной стратегии. Она была слишком элитарная, если меня спросят. Слишком патерналистская. Наставническая. Но, важнее всего, слишком наивная и нереалистичная. Я не смог переубедить его, я нашел других, у кого были взгляды как у меня, – он проявил слабость, мы сделали шаг. Я знаю, что ты считаешь это предательством –

Д ж о ш. Но у вас были хорошие намерения.

Л ю к. Да, были. Мы слишком переживали за свой бизнес, чтобы терпеть столь бездарное управление. Это было нашей заботой всегда: бизнес и его жизнеспособность. Твой отец воспринял все как личную обиду. Я и в мыслях не имел ему вредить.

Д ж о ш. По крайней мере, в самом начале.

Л ю к. Эй, это он перешел на личности. Написал свой большой бестселлер (ну, или его духи надиктовали), рассказал сказочно однобокую историю его взлета на вершину, и начал демонизировать меня на странице три. Ни одного доброго слова обо мне во всей чертовой книге. После всего, что мы сделали вместе. Как мог он все это говорить с таким честным лицом? Если я был такой змеей, почему меня вообще туда допустили? Как вышло, что я возглавлял его команду? Чтобы принять на веру весь этот бред обо мне, сначала нужно поверить, будто у него были худшие способности судить о человеке, какие только видел свет, раз он изобразил таким дерьмом своего Золотого мальчика.

Д ж о ш. Не размахивай кистью слишком широко, Люк. Говори, что хочешь, о своих мотивах, это нормально, но не пытайся смягчить того, что сделал. Что ты сделал по отношению к нему.

Л ю к. У меня не было выбора.

Д ж о ш. Хватит. Не лги мне. Я этого не терплю, Люк.

Л ю к. Ты начинаешь с обвинений –

Д ж о ш. Нет, хватит. Дай мне любые объяснения, какие хочешь, предъяви аргументы защиты. Я здесь потому, что хочу это услышать. Но не говори, будто у тебя не было выбора. Я там был. Я знаю лучше. И мне пришлось иметь дело с последствиями. Он был опустошен – с бизнесом начались проблемы, и у него не стало надежной правой руки, чтобы рулить его кораблем. Он так расстроился, что собирался снести все это дело до основания, прежде чем я убедил его просто перестроиться.

Л ю к. Да, верно, он запаниковал. Мои акции были на подъеме, и он бы скорее плюнул на все, чем проиграл.

Д ж о ш. И ты винишь его за это? Он учил тебя, поместил лучших людей под твоё крыло, и ты отплатил ему попыткой мятежа и массовым дезертирством. Из соратника в конкуренты – за одну ночь; о-па, дикаря Пятницу теперь зовут Черный Понедельник. Как это должно было отразиться на нем? Да и волновало ли это тебя тогда? А сейчас? Или ты так поглощен убежденностью в своей правоте и ущемленной гордостью, что готов пригвоздить его к стенке за все, случившееся с тобой, но сам ускользаешь с крючка за произошедшее с ним? Как ты можешь строить честное лицо?

Л ю к. Он должен был вести себя как отец по отношению ко мне.

Д ж о ш. А ты должен был вести себя как сын! Он выбрал тебя, практически усыновил, и пестовал тебя, готовя место на самом вершине. Он вложил много сил в тебя, с доверием и любовью, и не так, чтобы ты вел себя слишком уж ответственно.

Л ю к. Я говорил тебе, для меня были превыше всего интересы дела.

Д ж о ш. Да ладно, бизнес не был в опасности. Никаких угроз в тот момент. Мы были только недавно на рынке, чтобы присмотреться, как у нас все получится с публикой, прежде чем ты создал проблему. И внезапно тот бизнес, который ты вроде намеревался защищать, оказался на волоске.

Л ю к. Риск, на который я должен был пойти.

Д ж о ш. Риск, который ты выбрал сам, и не то чтобы у тебя было право на этот выбор. Не переводил стрелки. Ты оставил нам развал, который пришлось вычищать. Все его изначальные планы и вдохновение вылетели в окно вместе с тобой.

Л ю к (*презрительно*). Планы. Какие планы?

Д ж о ш. Я не понял?

Л ю к. Он просто выдумывает вещи в процессе. Танцует четветку. Ты видишь какой-нибудь план?

Д ж о ш. Я вижу достаточно.

Л ю к. Я тоже. Я видел достаточно. У меня было на что тратить время, кроме как удовлетворять его тщеславие и эгоизм.

Д ж о ш. Ты иногда настолько слеп. Настолько глуп.

Л ю к. Да неужели? Посмотри на него. Посмотри на себя.

Д ж о ш. Ох, Люк...

Л ю к. И теперь посмотри на меня. Кто видит свет? Кто здесь процветает?

Д ж о ш. Не путай отражение света с его источником.

Л ю к. О, замечательно. И что это должно значить? Не путать что с чем? Сделай одолжение, мистер Учитель, и оставь лекции для лектория. Избавь меня от горчичных зерен и хижины дяди Тома.

Д ж о ш. Все, что у тебя есть, он дал тебе. Ты талантлив, но ты не создал себя сам. Даже близко. У тебя было место в плане, Люк, как и у каждого; у тебя была своя роль. Все еще есть. Просто теперь это другой план и другая роль.

Л ю к. Нет. Я трудился, чтобы получить то, что имею. Он не имеет к этому отношения. Не пытайся меня купить на этом.

Д ж о ш. Не пытаюсь.

Л ю к. Я много трудился. Я никогда не прекращал попыток добиться успеха.

Д ж о ш. И он тоже. Знаешь, как долго у него не было выходов?

Л ю к. И у меня не было. Мне не нужно. Я на втором месте, я тружусь больше.

Д ж о ш. Но так не должно быть, Люк. Не пытайся сделать его ответственным за решения, которые ты принял.

Л ю к. Кто-то должен был сделать это. Он неверно расставил игроков, и я был обязан это исправить. Разве это не моя prerogativa? Разве он не должен был дать мне право поменять игру?

Д ж о ш. Ну, вот, теперь это – американский футбол.

Л ю к. Да, верно, футбол.

Д ж о ш. Я просто пытаюсь не отстать от твоих мыслей.

Л ю к. Теперь мы говорим о футболе.

Д ж о ш. Прекрасно, футбол. Ты был ведущим игроком. Пейтон Ёканный Меннинг¹. Но Он – был тренером.

Л ю к. А также генеральным менеджером, и владельцем команды, и судьей...

Д ж о ш. А это – командная игра. Так что когда горячая голова квотербека становится слишком велика для шлема, его шлют в душ за то, что он перепутал все тренерские установки –

Л ю к. Точнее – изгоняют из команды. Контракт разорван. Продан в Баффало.

Д ж о ш. – Назови это как хочешь, но, бэнг, это совершенно новая игра, и огромная вакансия в составе, которую нужно заполнить. Команда нуждается в капитане, и кого же тренер вызывает со скамейки запасных? Меня. Я был назначен.

Л ю к. Да, верно, и мне правда жаль.

Д ж о ш. Решения, принятые тобой, отразились на мне. Изменили мою жизнь. От меня никогда не ожидалось, что я займу столь большую роль в администрировании бизнеса. Он видел тебя в этой роли. Мне хотелось карьеры в юриспруденции или медицине, но внезапно «Поттер и Сыновья» превратились в «Поттер и Сын», и он нуждался во мне, а я не хотел, чтобы он разочаровался снова.

Л ю к. Но даже тебе пришлось разойтись с ним, со временем.

Д ж о ш. Это не твое дело –

Л ю к. В конце концов, он и тебя довел до такого.

Д ж о ш. Ты там не был, Люк. По крайней мере, по этому поводу ты точно ни хрена не знаешь, о чем говоришь.

Л ю к. Ты это отрицаешь?

Д ж о ш. Я сделал выбор. Причины тебя не касаются, и, если откровенно, я не обязан их объяснять тебе. Но не обольщайся, будто тебе известно, какую я заплатил цену, так как ты не знаешь. Не можешь знать. У нас с тобой общего в отношении его лишь то, что мы оба приняли свои решения, и не говори, будто у тебя не было выбора. Если он и был в чем-то виноват, так это в том, насколько много самостоятельности он дал каждому.

Л ю к. Конечно же, обращая при этом в пыль каждого, кому случилось с ним не согласиться.

Д ж о ш. Не упрощай.

Л ю к. Ни в коем случае. Он столкнул меня вниз так далеко от того места, где я находился, как только сумел. Было ли это справедливым? Было ли это милосердным?

Д ж о ш. Он столкнул с тебя с того места, куда он же поставил.

Л ю к. И это оправдывает все?

Д ж о ш. Ну, ты знаешь его характер.

Л ю к. И это повод?

Д ж о ш. Люк, послушай, как только ты будешь готов принять ответственность за сделанное, ты поймешь, почему он сделал то, что сделал.

Л ю к. Я никогда не пойму, почему он делал то, что делал. И не пойму, как он определял понятия. Действительно, я был ему как сын. Но погляди, как он обращался со своими сыновьями. Козел отпущения – и жертвенный агнец. Определенно, родитель, который верит в жесткую любовь. Ты можешь возразить, что я сам виноват, но как насчет тебя? Ты тот, кого уж точно прогнали через пресловутую соковыжималку ради компании. Не сердись на меня за то, что я скажу, но если он имел и для меня миссию, подобную той, которую он преуготовил для тебя, то я счастлив, поскольку вовремя сбежал. И ты должен знать, Джош: что бы я ни чувствовал по отношению к нему, я отношусь с глубоким восхищением к тому, как ты справился со всей этой ситуацией. Говоря о благодати...

¹ Пейтон Меннинг – один из самых знаменитых игроков американского футбола, по прозвищу Шериф.

Браво, просто браво. Ты прославился своим гениальным камбэком и вышел из всего этого цореса¹, благоухая, как «Франкингенс» от Кельвина Кляйна. Пресса была в восторге. Но стоило ли это всего, через что он заставил тебя пройти? Не под запись. Просто между нами. Что ты купил своей болью? Лично сам? При всем уважении, клянусь Господом, но я действительно хотел бы знать.

Д ж о ш. Мы собирались говорить о тебе. Давай придерживаться темы.

Л ю к. Конечно. Верно. Как ты скажешь. Пожалуйста, не пойми меня неправильно. Я не говорю, что сделанное мной не должно было вызвать его гнева. Я знал, что было на кону, и я думал, что знаю возможные последствия. Его характер! Как же еще?

Д ж о ш. Он смягчился с тех пор.

Л ю к. По крайней мере, тверже было уже некуда. Когда его правая рука изменила ему, он отсек ее. Было нелегко, но все риски рассчитаны. Видишь ли, у меня были цели, были принципы, и я просто не чувствовал, что он отнесся к моему мнению так, как оно этого заслуживало. Ты хочешь возложить на меня вину за весь этот взрыв – хорошо, окей, виноват. Я всегда говорил, что лучше разбирать почту, чем чистить бассейн в пентхаузе, и все мои деньги были вложены в его бизнес. Справедливо. И я первым признаю, что он по-королевски пнул меня под зад. Столкнул меня с корпоративной лестницы в свободное падение ниже нижней ступеньки, без парашюта любого цвета. И это очень далеко вниз, братец, поверь уж мне. Тогда я буквально упал на дно. Я не имею в виду, что я, фигурально выражаясь, «буквально» упал на дно, я буквально упал... на... дно. Я лежал на спине некоторое время, пытаюсь не захлебнуться, не представляя угрозы ни для кого... и тут как раз началось кидание грязью. Настоящие комья грязи. Тип негативной рекламы, когда рекламодатель не слишком верит в собственный продукт. Я сделал моим первым приоритетом в тот момент продемонстрировать ему, что я могу сделать что-то по-своему, и могу сделать это без него. Нет, точнее, несмотря на него. Это его игра, его правила, но я быстро учусь, и я никому не советую ставить против меня. И знаешь, как я добиваюсь своего? Ты наверняка знаешь секрет, даже если он не знает. Ты работаешь с простыми людьми, а не над ними. Ты вовлекаешь их в процесс. Ты даешь им вкус действия. Ты помогаешь их догадкам, и ты делаешь их частью процесса принятия решений. Ты доказываешь свою значимость, а не просто утверждаешь ее. И это никогда не вредно – быть неудачником. Все любят неудачников.

Д ж о ш. Не похоже, что наш бизнес имел для тебя значение с тех пор.

Л ю к. Черт, Джош, бизнес – это я! Среди развалин и пыли, я построил свою долю с нулевого уровня, выступая против крупнейшего игрока, и посмотри, где я сейчас! Стоя здесь, говоря с тобой, из всех людей, о природе бизнеса! Того, что был его эксклюзивный бизнес! Будь я проклят, если мои инстинкты не оказались точны. Он недооценил меня. Он ошибся во мне. (Пауза.) И очень серьезно. Чего бы я хотел? Немного уважения. Мне не нужна его любовь... но я заработал его уважение.

Д ж о ш. И ты его получил, Люк.

Л ю к. Прости?

Д ж о ш. Он был готов отдеать тебе все, наконец дать тебе шанс, возможность разыграть свое шоу. Для меня это выглядит как важная перемена. И звучит как уважение.

Л ю к. Да нет, он внес это в завещание, чтобы вынудить тебя появиться. Теперь я вижу это. Подстраховаться, знаешь ли. Блеф. Очередная пощечина.

Д ж о ш. Он никогда не блефует. Карты всегда у него. Он имел в виду то, что сказал.

Л ю к. Ты думаешь?.. Что ж, это теперь не имеет значения, не правда ли?

Д ж о ш. Я думаю, так.

Л ю к. И ты теперь снова у руля. Только будь осторожен: эта модель слегка мощнее, чем та, к которой ты привык, и она не слишком хорошо реагирует на острые, внезапные повороты.

Д ж о ш. Я буду иметь в виду.

Л ю к. И этот трактор, который тащится за тобой в зеркале заднего вида... это моя развалюха. Просто одна из всего вашего флота. И даже если ты выкинешь меня из-за руля, машина в наше время может практически водить сама себя.

¹Цорес (идиш) – неприятности, огорчения.

Д ж о ш. Понятно.

Л ю к. Не думаю, что тебе понятно. Я ничего личного против тебя не имею, приятель, ты это знаешь; вражда между нами – это в основном работа кликуш и клакеров, продукт пропагандистов и папарацци. Но теперь все действительно сошлось к нам двоим, к тебе и ко мне. И в терминах пищевой цепи, я ем учителей старшей школы в качестве легкой закуски перед ланчем.

Д ж о ш. Я полагаю, это меня не касается.

Л ю к. Я постараюсь, чтоб это тебя не коснулось. Но – бизнес такая сука, и я не даю обещаний, которые не могу соблюсти. Я не думаю, что дойдет до Армагеддона; это было бы слишком. Хочешь начистоту?

Д ж о ш. Еще бы.

Л ю к. У тебя в аду нет ни малейшего шанса.

Д ж о ш. Это ты жестко.

Л ю к. Но точно. Я хорошо подготовился на предмет нашего соперничества. Провел фокус-группы, читал демографические отчеты. Да, есть поддержка твоего продукта на поверхности, но это мелко, и это слабо. Громкие слоганы, запоминающиеся хиты, но что касается самого товара... что ж, люди скорее взяли бы хороший широкоэкранный телевизор. Сильно в сельской местности, но невидимо на побережьях. В России несколько лучше, но, по правде, кто может соперничать с Ближним Востоком? И, прости за прямоту, твои клиенты седеют. Конечно, детки сходят по тебе с ума, но дети растут. И становятся моими клиентами.

Д ж о ш. Неплохо для тебя.

Л ю к. Конечно же, хорошо для меня. «Бейсбол к Чико был очень, очень добр»¹. Но, если конфиденциально, мои виды на просто взрывной рост в ближайшие несколько лет просто очень обещающие. Добро пожаловать, прежде всего, в информационный век. Всеобщий доступ, 24 часа, мгновенное удовлетворение запросов. Все языки, все цвета кожи, все конфессии, все сексуальные наклонности; мы не дискриминируем никого. Ты Пользователь; этого для меня достаточно. Спроси, как насчет диверсификации? Брат мой, мое имя Легион. Электрические сети, все четыре железнодорожных компании, два отеля, казино, да весь Лас Вегас. Парковка больше не бесплатная, но для клиентов скидки. Ни одна тюрьма не может меня содержать слишком долго, мои благотворительные фонды ломаются, и я ничего не оставляю на волю случая. Но теперь твоя очередь кидать кубик. Желаю удачи!

Д ж о ш. Я хотел бы задать тебе только один вопрос.

Л ю к. Только один? Давай.

Д ж о ш. Любишь ли ты свою работу?

Л ю к. Любовь? Мы говорим о коммерции. Об Искусстве Сделки². Как говаривала Анна Мэй, какое отношение к этому имеет любовь³? Привела ли тебя любовь хоть куда-нибудь?

Д ж о ш. И это твой ответ?

Л ю к. Я получаю удовольствие от работы. Любовь... это роскошь. Слишком много накладных расходов. У меня не хватает на нее бюджета. Это не тот драгметалл, в котором я опытен, и я справлялся прекрасно без нее. С другой стороны, разве это не тот самый рынок, где тебя в конце концов и приперли?

Д ж о ш. Времена меняются. Спасибо за откровенность.

Л ю к. Похоже, дискуссия окончена.

Д ж о ш. Я слышал достаточно. Ты изложил свою позицию.

Л ю к. Ну что ж, hamdu lillah⁴, рад это слышать. Кажется, я все еще способен на что-то. Так что теперь? Коп подберет для меня наручники и колодки? Могу ли я позвонить своему адвокату?

¹ Имеется в виду Чико Эскуела – вымышленный персонаж американского комедийного шоу «Субботняя Ночь в Прямом Эфире».

² «Искусство Сделки» – книга Дональда Трампа.

³ Анна Мэй Буллок – американская певица, известная также как Тина Тернер; «Какое отношение к этому имеет любовь» – название биографического фильма, посвященного ее судьбе.

⁴ Начало одной из сур Корана.

Д ж о ш. Если ты не против, я хотел бы остаться наедине с отцом ненадолго.

Л ю к. Конечно. Не вопрос. Мой сотовый вибрировал как сумасшедший все это время. (*Надевает обувь.*) Так что... я буду ждать в коридоре.

Д ж о ш. Постарайся не сбиться с пути.

Л ю к. Прости, это ты говоришь фигурально или буквально?

Д ж о ш. Буквально. Я ненадолго.

Л ю к. У меня есть выбор?

Д ж о ш. Всегда, Люк. Всегда.

Л ю к (*идет к выходу, затем останавливается в дверном пролете*). Послушай, Джош... Говоря о сегодняшнем вечере... я просто хотел... как бы там ни было, спасибо за то, что выслушал меня сегодня.

Д ж о ш. Да что там? Было давно пора.

Л ю к. И еще, в духе миролюбия, не будешь возражать против бесплатного совета?

Д ж о ш. Предлагаете что-то бесплатно, мистер Принс? Как я могу отказаться?

Л ю к. Будь осторожен, когда начнешь все это. Ты вернешься в игру, ты начнешь мощно, и успех будет бежать вперед тебя. Но потребители изменчивы, особенно когда их ожидания не оправдываются. Если они поймут, что ты продаешь не совсем то, чего они ожидали при покупке, после всего этого хайпа и роста...

Д ж о ш. Я знаю. Они начнут отваливаться пачками.

Л ю к. Хуже. Они тебя просто распнут. Так что будь осторожен. Бесплатный совет.

Люк выходит. Джош пододвигает стул к постели больного.

Д ж о ш. Ну что, папа. Спасибо за открытку в день рождения. Рад, что не забываешь. Прости, что я не показывался так давно, но мне нужно было побыть с самим собой, и в любом случае, не так чтоб у нас было много о чем поговорить. Я никогда не думал, что ты можешь выглядеть столь старым. У меня не было малейшего намерения сделать тебе больно. Я надеюсь, ты это знаешь, и что ты примирился с этим. Уйти от тебя, из твоего бизнеса, было вторым по тяжести поступком, который я совершил за всю жизнь. Было время, когда это казалось немыслимым, по крайней мере нереалистичным. Но все годы, которые я провел в дороге, скитаясь от двери к двери... они изменили меня, папа, можешь ли ты понять это? Они дали мне совершенно другой взгляд на то, что важно, и на что стоило тратить время на этой планете. Работа, которую ты предназначил для меня, была намного труднее, чем я думал, и мой карьерный рост, намеченный тобой... он был просто уже не для меня с тех пор. Я не знаю, смог ли ты понять, что мой опыт жизни *там* отнял у меня. Я думал сначала, что овчинка стоила выделки, что ты был прав, что мы должны были выйти на улицу, что наша искра разгоралась и все менялось к лучшему для нас. Но спустя время я не мог даже сказать в точности, в чем был замысел. Наша целевая аудитория, они же как дети во многом; ты даришь им лучшие подарки на Рождество, а они влюбляются в обертку и бантик. Я должен в чем-то согласиться с Люком; наш товар – это просто материал для упаковки и маркетинга. Вот в чем все заинтересованы. И все эти ребята из пиара, которых мы нанимали, кампания, раздутая ими, не так чтобы сильно помогала. Они смотрели на мою работу, выбирали, что им нравилось, что им казалось продаваемым, и они затушевывали по-настоящему ценное или игнорировали это вообще. Главную идею они печатали мелким шрифтом в конце. Я бы предпочел быть более вовлеченным на этом этапе. Когда я смотрел иллюстрации и читал текст, я думал: и это то, ради чего все было затеяно? Вот чего стоили моя кровь, пот и слезы? Моя работа была моей жизнью, отец, я отдал ей все, что у меня было. Ты думаешь, будто что-то значишь, ты общаешься с людьми, и потом ты вдруг обнаруживаешь, что из всего твоего времени с ними они запоминают как раз тот момент, который ты предпочел бы, чтобы они забыли. Это унижительно, и, если честно, это так больно. Это разбило мне сердце. Это не то, что, как я полагал, станет моим наследием. И попробовать вернуться к этому теперь, после всего прошедшего времени... это не то чтобы делать прежнюю работу снова, но в большей степени – бороться со всеми дурными привычками, которые они подхватили после

первого раунда. Бог мой, я даже не знаю, осталось ли во мне хоть что-то с тех пор. По крайней мере, сейчас не знаю. И до тех пор, пока они не решат для себя, нужно ли им то, что мы можем предложить, я не вижу причины, чтобы начинать все заново. Да, что-то сгущается в воздухе, я могу ощутить это в биении собственного пульса – лихорадка, голод, ожидание, но почему мне кажется: то, чего они жаждут так сильно, просто еще одно шоу? Я уверен, многие хотели бы видеть меня въезжающим в город на белом коне, очищающем центральную улицу и приносящим немного законности и порядка в этот бардак. Но, знаешь ли, тремя днями позже, после того как пыль уляжется и фейерверки смолкнут, они будут ностальгировать по прежним добрым дням, когда они могли устроить тут небольшую преисподнюю. *(Закрывает глаза на мгновение.)* Нет. Они не готовы опять взяться за дело. Пока нет. Может быть, позже, когда им захочется отодвинуть то, чего они хотят, чтобы увидеть то, в чем они нуждаются. Этот день придет, когда-нибудь. Я надеюсь. Несмотря ни на что, я все еще верю в них. У них есть потенциал. И я все-таки не могу не любить их, черт меня побери. Но, прямо сейчас... знаешь, у меня уже есть работа. Хорошая работа. Моя работа, не твоя. Я знаю, что ты возлагал на меня большие надежды – следовать по твоим стопам и так далее – но у меня есть своя дорога. Моя дорога, моя правда, моя жизнь. Я готов умереть для тебя, отец, но я не стал бы зря тратить свою жизнь. Ты знаешь, что моя любовь к тебе... невыразима. И я все еще верю, что делаю лучшее для твоего бизнеса... для нашего бизнеса. Вот почему я не принимаю чашу на этот раз. Я не хочу пить из нее сейчас. Мне с лихвой хватило прежних страстей.

Стук в дверь.

Да, войдите.

Входит Рей.

Рей. Прости, что прервала.

Джош.

Все хорошо.

Я все сказал, что должен был.

Рей.

Там ждут два посетителя... Пришли

Проведать пострадавшего.

Джош. Да ну?

Рей. Я им сказала, что спрошу тебя.

Джош. Конечно, проводи их сюда. И еще, Рей, ты можешь не снимать туфли сегодня. Он был бы не против.

Она проводит в палату Сайзу и Айку; Аик с растянутой лодыжкой на костылях.

Добро пожаловать. Я – Джошуа Поттер. Спасибо, что пришли.

Сайза. Здравствуйте. Я – Сара Готтлиб.

Айк. Айзек Эндрюс.

Джош. Рад познакомиться. Айк, садитесь сюда.

Айк. Спасибо.

Джош. Вам не следовало выходить из дому на костылях в такую ночь.

Айк. Я и не выходил на костылях.

Сайза. Он растянул лодыжку прямо перед гоститалем.

Айк. Мне везет.

Сайза. Просто бездомный на тротуаре поскользнулся и упал.

Айк. Он жаловался на свою спину, и мы решили довести его до приемного покоя.

Сайза. Но когда мы стали поднимать его, Аик потерял равновесие и ударился ногой о бордюр.

Айк. Это также стоило мне бутылки неплохого шампанского.

Сайза. Могло быть хуже, милый.

А й к. Если вести счет, то общее соотношение: Гравитация – 3, Человечество – 0.

С а й з а. Мистер Поттер ваш отец?

Д ж о ш. Это так.

С а й з а. Доктор рассказал нам о его состоянии.

Д ж о ш. Да. Не так чтобы слишком.

С а й з а. Мне так жаль. Можем ли вы что-то сделать для вас? Может быть, что-то принести, или... я не знаю.

Д ж о ш. Нет, благодарю за предложение. Вы очень добры. *(Придвигает стул для Сайзы.)* Вы хорошо знали отца?

А й к. Мы вообще его не знаем.

С а й з а. Айк живет в одном из его домов.

А й к. Он свалился прямо под моей дверью. Мы попытались вызвать ему скорую помощь...

Д ж о ш. Но помощь подоспела еще раньше, чем вы дозвонились.

С а й з а. Так и было.

А й к. В точности. Кстати, как это работает?

Д ж о ш. У папы всегда все налажено.

А й к. Но они еще починили лифт –

С а й з а. Айк, не здесь. Не сейчас.

А й к. Простите. Я слишком эгоистичен, похоже. Я просто ненавижу, когда части не сходятся.

Д ж о ш. Это не мозаика, Айк. Не детектив, не загадка, и не тест. Книга Жизни не выходит с приложением для учителей, и в конце нет ответов на задачи. Единственный вопрос, на который стоит искать ответа, это зачем тебе дана жизнь, и единственный ответ, который ты можешь дать, это то, как ты ее живешь. Все остальное это... кажется, Дэвид Хьюм сказал: всякое случается. Когда это хорошо, поделись. Когда плохо, будь выше. И что б ни происходило, будь добр к другим, и будь добр к себе самому. Уменьшай боль и умножай любовь. И это все.

А й к. И все?

Д ж о ш. И все. В этом нет ничего загадочного, не правда ли?

А й к. Кажется, нет.

Д ж о ш. Я знаю, что это не тот ответ, которого бы ты хотел, мой друг, но поверь мне, он единственный, который я могу дать. Я хотел бы, чтобы однажды, глубоко в душе, ты согласился бы, что этого достаточно. Но пока сражайся достойно, закончи курс... не теряй веры. *(Улыбается.)* Рей, я хочу поговорить со всеми. Можешь их собрать для меня?

Р е й. Должна ли я и... Падшего позвать?

Д ж о ш. Конечно.

Рей выходит.

А й к. Еще кто-то поскользнулся?

С а й з а. Мы, видимо, пришли не вовремя?

Д ж о ш. Ни в коем случае.

С а й з а. Может, нам уйти?

Д ж о ш. Нет, ни в коем случае, если только вы не против. Я знаю, что отец хотел бы, чтоб вы остались. Я должен позаботиться об одном деле, которое он не успел завершить.

С а й з а. Простите меня, но я не могу избавиться от ощущения, что мы встречались прежде. Нет, правда!

Д ж о ш. Я не знаю. Не исключено. Я работаю за городом, но часто путешествую.

С а й з а. Вы кажетесь мне знакомым.

Д ж о ш. Это бывает. Очень приятно.

Рей, Габби, Майк и Люк входят.

Прошу вас, заходите. Это друзья отца. Я попросил их остаться. Айк, Сайза, познакомьтесь с Габби, Рей, Майком и Люком.

А й к. Люк? Вы имеете в виду Люка Принса?

Л ю к. Он самый.

А й к. Бог мой! Этого не может быть! Я имею в виду, в моем мире вы – великий человек. Я тоже в бизнесе. Я программирую, работаю на Эппл.

Л ю к. Правда? Умеете хранить секреты?

А й к. Конечно.

Л ю к. К концу месяца вы будете работать на меня.

А й к. Не может быть! Вы покупаете Эппл?

Л ю к. Забираю обратно. По правде говоря... яблоки – это моя сфера.

А й к. Слава тебе Господи! Вы – как раз тот, кто нам нужен.

Л ю к. Спасибо за поддержку, приятель. Я сделаю, что смогу.

Д ж о ш. Я в вас не сомневаюсь.

Л ю к. Спасибо за комплемент.

Д ж о ш. Вот тебе еще один, Люк. Бизнес – твой.

Г а б б и. Как – бизнес?

Р е й. Как – его?

М а й к. Постой, что-что?

Л ю к. Опять шутки?

Д ж о ш. Бизнес... Его бизнес, мой бизнес... мы отдаем его тебе. Он твой.

М а й к. Не может быть.

Р е й. Что это значит, Джош?

Д ж о ш. Это значит, что я поступаю в соответствии с Его волей. Он так рассудил. Он определил Люка в наследники, и я доверяю Его мудрости.

Г а б б и. Ты здесь; и Люк утратил все права.

Д ж о ш. Отец просто хотел, чтобы я принял решение в выборе. Задействовал немного свободной воли. Завещание показало мне ход Его мыслей, и я принял решение... согласиться.

М а й к. Ты права не имеешь так решать.

Д ж о ш. Майк, просто подумай о том, что ты сказал.

М а й к. Наследник выбран им, а не тобой.

Д ж о ш. И он сделал свой выбор. В данный момент времени Люк – человек для этой работы.

Л ю к. Товар не контрабандный, без подвоха?

Д ж о ш. Люк, будь серьезней, пожалуйста.

Л ю к. Я просто ошарашен. Ты совершенно непредсказуемый сукин сын.

Пауза. У Айка срабатывает сигнал на часах.

А й к. О, кстати, мне неловко вас прерывать, но осталась минута до полуночи.

Д ж о ш. Да, и я хотел бы сказать еще одну вещь. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Твое назначение – это своего рода опека. Я сохраняю за собой право востребовать отцовское наследство в любое время в будущем, если того потребуют обстоятельства. И если ты будешь сопротивляться, я готов сразаться с тобой по полной программе, насмерть. Учитель старших классов или нет, я все же сын своего отца, так что не сделай ошибки, недооценив меня. У тебя – целая команда высокооплачиваемых адвокатов, но большая часть Судей – все еще мои старые друзья. Но на сегодня... ты хотел шанса? Бери. Покажи нам, что ты можешь сделать.

Л ю к. Будь уверен. Я не разочарую.

Д ж о ш. Постарайся. Я сторож своему брату, но только до определенной степени.

М а й к. Эй, я не сплю?

Г а б б и.

Джош в силах сделать так.

М а й к.

Все это неприемлемо для нас.

Пакт с этим негодяем?.. ради Бога!

А й к. *(считает вместе со всей зоной восточного времени)*. Три... два... один... С Новым Годом!

Р е й. Неужто свой мы завершили срок?

А й к. Эй, да вы что, год две тысячи первый! Двадцать первое столетие!

Р е й. Что будет с нами? Нам – работать с ним?

А й к. Третье тысячелетье! Эй, вы слышите?

С а й з а. Аик, сейчас не время.

А й к. Но другого времени у нас не будет!

Л ю к. Я не хотел бы начинать сейчас охоту за головами, но в моей организации найдется место каждому из вас. Я приглашаю ваши таланты в мою команду. Более высокие зарплаты, конечно же, и пакеты акций... Я могу быть очень гибким. Ну, что ты скажешь, Майки? Начнем с чистого листа? Снова друзья?

Майк смотрит на протянутую руку Люка, потом переводит взгляд на Джоша. Мгновение, и Майк берет руку Люка.

Ах. Я ждал этого момента так долго.

М а й к. Я тоже ждал. *(Закручивает руку Люка за его спиной, захватывая его шею аккуратным движением левой руки.)*

Г а б б и и Р е й. Мой Бог!

М а й к. Не подходить!

Д ж о ш. Майкл, так ты ничего не решишь –

М а й к. Заткнись.

Г а б б и. Но Майк...

М а й к. Не подходить ко мне.

Д ж о ш. Это не ответ.

М а й к. Довольно! Я довольно слышал! Стоп! *(Тянет Люка к окну.)*

А й к. Эй! Офицер, возьмите себя в руки!

М а й к.

С ним по-другому поступить нельзя,
Я знал, когда он только вполз сюда.
Я это сделал раз, и вновь смогу.
Не знаю, как он смог пролезть червем
К тебе под сердце, чтоб тебя склонить
На сторону свою, но все, конец.

Р е й.

Майкл, прекрати! Назад! Не делай так!

Г а б б и.

Его – в окно? Не по закону, Майк!

М а й к.

По Высшему Закону. Замолчи!

Г а б б и.

Закон был изменен давным-давно.

М а й к.

Законам не учи. Я сам – закон! *(Распахивает окно.)*

А й к. Да Христос с вами, кто-нибудь собирается сделать что-то?

Джош начинает приближаться к Майку, но Сайза и Аик загораживают Майку путь к окну первыми.

С а й з а. Офицер, пожалуйста. Я не знаю, в чем он виноват, но то, что вы собираетесь сделать, ничего не исправит.

А й к. Чем бы он не довел вас до такого состояния, вы не можете просто выкинуть его в окно за это – вы коп, в конце концов! А мы все свидетели!

С а й з а. Прошу вас, Майкл – Майк – это неправильно. Вы не такой. Я знаю, что не знаю вас, но знаю, что это – не вы.

М а й к. Нет, вы не знаете – кто я, кто он.

С а й з а. Я знаю, вы порядочный человек. Вы пытаетесь все сделать правильно. Но так нельзя. Что бы он ни сделал, что бы вы ни чувствовали по отношению к нему сейчас, но по крайней мере – проявите чуть-чуть милосердия. Совсем чуть-чуть – не больше.

М а й к.

Нет, вы не знаете, что на кону,

Я только ради вас иду на это.

С а й з а. Пожалуйста, не делайте ничего такого для нас. Ничего такого – ради нас. Ради нас – отпустите его. Ради себя – отпустите его.

Майк впитывает сказанное. Что-то изменяется в нем.

М а й к.

Ну, ради вас. Для вас, и лишь для вас.

(Отпускает Люка и отталкивает его.)

Я умываю руки – к черту все.

Надеюсь, час придет, и правда вам

Откроется, и будет явлен Свет,

Пока не поздно. А пока – я пас,

Для вас, и для него, и для всего.

(Снимает свой значок и кладет его на стол. Затем он подходит к постели и опускается на колени, обращаясь к Поттеру.)

Мне очень жаль, что вышло так, как вышло.

«Пусть песни ангелов твой сон сластят»¹.

(Встает и поворачивается к Джошу.)

Когда способен будешь поступать

Как сын Его достойный, позовешь.

(Надевает свой плащ и фуражку, и обращается к Габби и Рей.)

Прощайте же. Молитесь за меня,

Как я за вас.

(Остнавливается в дверном пролете; потом обращается к Люку.)

Увидимся в аду.

(Выходит.)

Р е й. Пойти за ним?

Д ж о ш. Не стоит. Пусть идет.

А й к. Просто отпустить его?

Д ж о ш. Это к лучшему.

Габби закрывает окно. Рей укрывает Поттера еще одним одеялом.

С а й з а *(Люку)*. Вы в порядке?

Л ю к. Тело ноет слегка, но все нормально, спасибо. В сравнении с альтернативой, я просто свеж как персик. Спасибо вам двоим за старания по моему поводу. Не забуду.

А й к. Меньшее, что мы могли сделать.

С а й з а. Поступили бы так для любого.

Л ю к. Спасибо за то, что оказались в нужном месте в нужное время. Какая жалость, относительно Майка. Из него был бы приличный директор по безопасности в моей компании.

¹ Цитата из «Гамлета» Шекспира, реплика Горацио. Он, в свою очередь, цитирует католическую заупокойную мессу. *(Перевод мой. А.К.)*

Быстрый ум, крепкое сложение. И все еще твердо стоит на ногах. Ну, ладно. Невозможно завоевать каждого. Надеюсь, он не пропадет.

У Рей звонит телефон.

Рей? Как насчет директора медицинской службы? Большой исследовательский бюджет.
Рей.

Нет, я в реанимации нужней.

Прости, я выйду, очень срочный вызов. *(Выходит с телефоном.)*

Люк. Трудно найти хороший персонал. Габби? Что мне предложить тебе?

Габби.

Владельца смена – непростой процесс,
И мы не вправе в этом ошибиться.
Чтоб гладко и законно все прошло,
Я, будучи поверенной в делах,
Останусь, проследить за сменой власти.
Но оставляю дверь открытой, Люк.

Люк.

Я рад. Но уж давай без сквозняков.

Габби.

Остаться – долг, что я плачу Ему;
А как потом – прости уж, без гарантий.

Люк. Очень здравая политика. Но постарайся мыслить широко – мы были отличной командой когда-то, могли бы снова.

Габби *(Джошу)*. А ты что думаешь об этом, Джош?

Джош. Ты делаешь все так, как нужно, Габ.

Люк. Но нам нужно все сделать быстро. Если пока нет вопросов, мне необходимо поспеть на самолетах.

Джош. Уходишь так быстро?

Люк. Срочные дела в Риме. Не хочу опаздывать. Итальянцы любят пунктуальность. Вот почему Муссолини имел такой успех.

Джош. От имени Отца благодарю за то, что ты заглянул.

Люк. Эй, Джош, мое сердце остается с ним, но время марширует дальше. У меня много обязанностей теперь, и работа – прежде всего. Вот почему я получил это место, правильно?

Джош. Правильно.

Люк. Так что приходится все время видеть цель и держаться на один шаг впереди. Дьявол в деталях.

Сайза. Я думала, что Бог – в деталях.

Люк. Ладно, деталей хватит на всех. Но могу сказать про нашего Старика: так или иначе, он достиг своей цели. У него не отнимешь.

Джош. До свиданья, и желаю тебе того же.

Люк. И тебе, Джош. *(Дает Джошу визитную карточку.)* Не пропадай. Увидимся.

Джош. Хотел бы я узнать твои планы поподробнее.

Люк. Бизнес.

Джош. Бизнес, как обычно?

Люк. Подожди, и увидишь.

Джош. Терпение – это добродетель, насколько я знаю.

Люк. Кому как не тебе знать! *(Протягивает руку Джошу.)* Pax vobiscum¹.

Джош *(пожимая руку Люка)*. Шолом алейхем².

Люк. Габби, к полету готова?

¹ Мир да пребудет с вами *(лат.)*.

² Мир вашему дому *(ивр.)*.

Г а б б и. Ты путь показывай. Я на хвосте.

Л ю к (*вытаскивает пиццалку из кармана*). Эй, посмотри. Сувенир. (*Прикладывает к губам Габби.*) Давай. Дуй, Габби, дуй.

Она смотрит на Люка. Потом дует в пиццалку.

Ну, вот. Это могло бы порадовать баптистов.

Г а б б и. Я верю, что мы свидимся опять.

Д ж о ш. Верь.

Л ю к. Было здорово познакомиться, ребята. И спасибо, опять же. Большое спасибо. (*Дает Айку и Сайзе визитные карточки.*) Хочу вам сказать, тут номер моего сотового. Если я что-то смогу сделать для вас, просто звоните. Я у вас в долгу, и друзья Поттера – мои друзья.

А й к. Он был собственником моего дома. Значит ли это, что теперь вы им владеете?

Л ю к. Похоже, так.

А й к. Не можете ли вы наладить свет в подъезде?

Л ю к. Прямо с утра, ребята, первым же делом.

Габби и Люк выходят.

А й к. Не совсем то, что я планировал делать этой ночью.

Д ж о ш. Разочарованы?

А й к. Я бы не сказал.

Д ж о ш. Просто не могу сказать, как я благодарен за что, что вы пришли, побыли со мной. Я уверен, Люк это оценил также.

С а й з а. Мы думали, что будет правильным сделать это.

Д ж о ш. И вы это *сделали*. Вот что я ценю.

Рей входит.

Р е й. Есть перемены?

Д ж о ш. Я бы не сказал.

Р е й.

Мы ожидаем раненых у нас
Из множества, затоптанных в толпе;
Там, в городе, похоже, сущий ад.

С а й з а.

Но что произошло?

Р е й.

Все говорят про бунт на площадях;
Полицией оцеплена Таймс Сквер.

А й к.

Объем бухла на площадь поделив...

Р е й.

Картины полной нет ни у кого,
Полиция, похоже, сбилась с ног,
Но госпитали наготове все.

А й к. С Новым Годом!

Р е й.

Моя проблема, как обычно, кровь.
Четверой группы нет ни у кого?

А й к. Позвольте представиться, универсальный донор. Как всегда, везет.

Д ж о ш. Если это может утешить, ты не одинок. Встань и иди за мной. *(Помогает Айку подняться.)* Засучим рукава и за работу.

А й к *(на мгновение потеряв ориентацию)*. Вот это да.

С а й з а. Ты в порядке, милый?

А й к. Я сейчас как будто хлебнул рюмочку чего-то вроде дежавю. Вы уверены, что я вас не знаю?

Д ж о ш. Нет, совсем не уверен. Поговорим чуть-чуть, выясним.

Р е й. Ты... Сайза? Сможешь ли побыть с больным?

С а й з а. Конечно, мадам. Несомненно.

А й к. Так. Теперь иглы. Эта ночь становится лучше с каждой минутой. Один поцелуй, пожалуйста. Чтобы умножить любовь.

С а й з а *(целует его)*. Чтобы уменьшить боль.

А й к. Будем надеяться.

Д ж о ш *(прикасясь к сердцу)*. Спасибо, Сара. Ничего не бойся. Мы вернемся.

Рей, Аик и Джош выходят. Сайза садится рядом с кроватью, смотрит на Поттера. Тишина в комнате. Снег падает за окном. Звук сирен с улицы, и отголоски непрекращающейся суеты в холле за дверью. Она приближается к постели, берет руку старика и держит ее. Чуть помедлив, она вытаскивает огарок свечи из кармана. Потом встает, зажигает свечу, ставит ее на подоконник и склоняет голову. Свет на сцене постепенно гаснет, и свет из-за кулис очерчивает силуэт Поттера.

Еще мгновение, и он дышит тяжело и кашляет, чуть приподнявшись.

П о т т е р. Пить... Я... пить...

С а й з а. Да, я здесь.

Сайза подходит к постели. Окончание сцены разыгрывается ситуэтами за ширмой.

Она наливает стакан воды и подносит к его губам.

Вот.

Поттер пьет.

П о т т е р. Будь благословенна, девочка. Темно... очень темно... уже так поздно?

С а й з а. Да, поздняя ночь. Я включу лампу.

Сайза включает лампу. Свет на сцене гаснет полностью, оставляя только освещенные ситуэты.

Вот так. Лучше?

П о т т е р. Тьма... так холодно. *(Его рука протягивается вверх.)* ... Нет!.. Больше света!.. Дайте свет!..

Вспышка света, затем затемнение. Только свеча остается гореть.

Играет новогодняя музыка.

ЗАНАВЕС

Татьяна ГРАУЗ

АЙГИ – МАНДЕЛЬШТАМ: В МОГУЧЕЙ И БЛАЖЕННОЙ НИЩЕТЕ
(разрозненные заметки)

*

Тишина осеннего вечера. В сумерках комнат проплывают мыслей лёгкие облака, а между ними поблёскивают чашка и чайник, глухо звенит ложка в стакане – и *самоосвещаются вещи души*¹.

*

Во «Второй книге» Надежда Яковлевна Мандельштам писала, что Москва (а это были 1920-е годы) была периодом клятв, что обет *нищеты*, данный Осипом Эмильевичем в «Алексее»² был потом дополнен в «Аликсансе». Видимо, перевод со старофранцузского для Мандельштама оказался не столько переводом – здесь воплощалась, пульсируя сквозь другой язык, другую культуру, живая и пока ещё не проявленная до конца мысль поэта о себе самом. Речь здесь, конечно, не о бытовой нищете, а о той утешительной *могучей нищете*, благодаря которой только и возможен поэтический труд.

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и выюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен...

15-16 января 1937

К 1937-му году – ко времени завершения «Воронежских тетрадей» – нищета стала «путеводной звездой» Мандельштама, освещая смиренным светом его жизнь, внутренний строй его стихов и все те мучительные испытания, которые были посланы ему судьбой.

*

Вряд ли Геннадий Николаевич Айги когда-нибудь помышлял давать обеты нищеты – жизнь в далёкой чувашской деревне в 1930-е годы – годы его детства – была чрезвычайно бедной, почти нищенской, хотя отец его работал учителем в местной школе. Фотографии тех времён, бережно сохранные Айги³, пронизаны тихим достоинством бедности, не покидавшей его, как верная подруга, всю жизнь. Правда, в последние годы были и поездки за границу, и как замечает Ольга Седакова:

«...У нас мало кто представляет меру признания, меру востребованности Айги в мире: она огромна. Айги был звездой первой величины в современной мировой поэзии, о нем говорили как о живом классике, новом Малларме или новом Целане. Дело даже не в разнообразных наградах: он

¹ Курсивом в тексте даны цитаты из стихов Г. Айги и О. Мандельштама.

² О. Э. Мандельштам перевёл со старофранцузского «Жизнь святого Алексея» и «Аликсанс» в 1922 году.

³ Речь идёт о фотографиях из книги Г. Айги «Разговор на расстоянии» (2001).

был, вероятно, самым читаемым поэтом современности. Его книги – на французском, английском, немецком, итальянском – я видела в руках, на книжных столах, в дорожных сумках читателей в самых разных местах Европы»¹.

Но дом Айги в «Рабочем Посёлке»² – это крошечная типовая двушка в хрущёвке, первый этаж, зарешёченные окна, за ними – густо заросший палисадник. Зимой в оголённых ветках кустарника сновали синицы, и Айги, прикармливая птиц, рассказывал о них с какой-то невероятной теплотой и любовью. Комнаты от пола до потолка заставлены книжными полками, на стенах – картины любимых друзей-художников (Яковлева, Вулоха, Дронникова, Петрова и мн. других), большой письменный стол (рукописи – книги – рукописи). В углу, за перегородкой из книжных полок, диванчик, телевизор, проигрыватель и небольшой журнальный стол, за которым обычно устраивались «званые обеды» – Айги любил приглашать своих друзей. Мне посчастливилось не раз бывать на посиделках за этим журнальным столиком в скромном, но невероятно гостеприимном доме Айги, где царил атмосфера радости, труда и доброжелательной сосредоточенности. А летом – деревянная изба на краю деревни Денисова Горка³, за хлипким забором из нескольких перекладин – пустырь и лес. Дом почти без мебели, только самое необходимое: обеденный стол, стулья, диван; и просторная веранда-кабинет с письменным столом, за которым работал поэт.

*

...Продолжается наше деревенское житье. Хозяйственные заботы; грибы; возня в огороде (мы здесь кое-что посеяли). И еще – сохранение-охранение какого-то «нового» безмолвия с внутренней «молвью», – некое «береженье души». Я часто пишу, стараясь быть не «активным», – иное невозможно – с превышающим нас ⁴.

9 июля 1980

...Был очень трудный – «матерьяльно» – год.

3 июня 1982

...Я – в круге мелко-зарабатывательной суеты (настоящая мелкая поденщина; ничто более серьезное от меня не принимается).

13 апреля 1983

...более месяца я – в состоянии очень уж не-трудовом, но воспринимаю это спокойно. Верю, что будет хорошее лето, хотя наши планы сопряжены с большими трудностями (в деревню мы должны ехать очень далекую – четыре раза дальше, чем было в прошлом году... хотя и в этом – исполнение давнего желания: совсем углубиться «в Русь...»; но главная трудность – безденежье). <...> Небывало, невероятно хочется – работать много и непрерывно, как работали «старики». Верю, что это – будет (дай, Боже...).

29 мая 1983

...За год провалились две мои «зарабатывательные» книги, обстоятельство это стало разворачиваться в явную бесперспективность. Но внутренне я оптимистичен (относительно моей «собственной» работы).

13 июля 1983

¹ О. А. Седакова. Айги: отъезд // Собрание сочинений Г. Н. Айги в 7 томах. М.: Гилея, 2009.

² Рабочий Посёлок – станция (платформа) МЖД Белорусского направления; район Москвы, находящийся в Западном административном округе, на границе районов Кунцево и Можайское.

³ Денисова Горка – деревня в Бологовском районе Тверской области.

⁴ Эта дружеская и творческая переписка поэта Г. Н. Айги и филолога В. К. Лосской освещает периоды работы Айги над изданием книги «Отмеченная зима», которая в 1982 году вышла в издательстве «Синтаксис». благодаря стараниям Вероники Константиновны Лосской (1931–2018).

...Лето выдалось для нас чрезвычайно тяжелое. <...> Я же – весь был в очень мучительной работе. Думаю, что я своего добился: что-то во мне тяжело переломилось, – в моих вещах возникло новое качество, наступил (надеюсь) новый период. <...> В Москве нас ожидали сплошные трудности и лишения. Некуда и не на что было выехать на оставшиеся месяцы. Но нет худа без добра: я стал работать очень интенсивно (почти «бурно») и составил небольшую книжечку из стихотворений этого года. Кроме этого получилась еще одна крохотная (м. б., даже «уникальная») книжечка: «Тетрадь Вероники (Первое полугодие дочери)».

17 августа 1983¹

*

Нищий, нищета, нищенский – эти слова встречаются в стихах Айги довольно часто. Нищета входит в его поэтику, плотную и разреженную, сдержанную, ускользающую от бытописания и восходящую к религиозно-философскому осмыслению, однако наполненную скрытой экстапно-взрывной энергией, в которой слова *являют*, а не описывают предельно сложное взаимодействие человека и мира. Возможно, поэтому так своеобразна архитектура его стихотворных текстов. Поэтому и возникает неординарная, ставшая легкоузнаваемым авторским стилем графика и пунктуация: скобки, тире, многоточия, восклицательные знаки, чёрные и красные квадраты, круги (иногда буквы в его стихах заключены в круг), нотные вставки, рукописные комментарии, написанные чернилами разного цвета². Правда, в его книгах 1960–1970-х годов такого рода графических элементов ещё довольно мало, но понятие нищета (*нищий, нищенский*) появляется неоднократно: *нищие тряпки, нищий брат, нищая заря*.

Облака

В этой
ничьей деревне
нищие тряпки на частоколах
казались ничьими.

И были над ними ничьи облака,

и там – рекламы о детстве
рахитичных и диких детей;

и музыка о наготы
гуннских и скифских женщин...

1960

Тема нищенства в книгах «Отмеченная зима» (стихи 1959–1961) и «Поля-двойники» (стихи 1961–1965) – горькая, земная, а семантика слова *нищий* ещё довольно плотная, болевая, трагически-тяжелая, как в стихотворении о смерти матери «Облака». Но иногда *нищета* входит в просветлённо-щемящий круг детства («Утро в деревне»), и сквозь неё сияет высокая – морозная – соединённость со всем божьим миром, с этой царапающей – о детские царапинки! – драгоценностью жизни.

¹ Благодарю Национальную библиотеку Чувашии и лично художника О. А. Улангина за любезно предоставленную переписку Г. Н. Айги и В. К. Лосской.

² Более подробно см.: Т. Грауз. Слово. Буква. Образ. О визуальном в поэзии // Дискурс: <https://discours.io/articles/theory/slovo-bukva-obraz-o-vizualnom-v-poezii>; О стихотворениях «без названия» у Геннадия Айги // Волга. 2016. № 5-6; О неподцензурной музыке в поэзии Айги // Интерпоэзия. 2018. № 3.

...с мороза,
и на руке –
впервые след пореза

а этот плач средь трав:
– я богу отдан заново!

а нищий брат, мой ангел под зарей! –
уже тогда задумали,

чтоб объяснил,
и чтоб ушел,
и чтоб осталась эта суть:
царапинки... заговорю – царапинки...¹

1961

*

Через понятие *нищенства* в поэтике Айги воплощается живая связь с русской религиозной традицией – «Блажени нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное...», хотя, как пишет Геннадий Николаевич в эссе «Обыденность чуда», в начале 1960-х религиозность его была ещё весьма абстрактной². Тема *нищенства* создает незримое силовое поле между поэзией Айги и русской словесностью: вспомним «О, бедность» Пушкина, лермонтовского «Нищего», «Эти бедные селенья» Тютчева, «Бедные люди» Достоевского, а ещё любимого им Анненского («Здравствуй, нищета») и Хлебникова, чья скитальческая жизнь всегда-навсегда озарена нищенством. *Раненный хлебниковскими «сонными пулями»*, младенчески чистой синью души велимировой Айги пускается в путь по тяжёлым *безвинным дорогам*, проторённым будетлянином. На этих дорогах можно встретить и Мандельштама с его «Воронежскими тетрадами», и Арсения Тарковского, в нищете идущего мимо всей вселенной³. Сквозь щели-прорехи священной нищеты просвечивают терпеливо молчащие людские поля и обездоленный – с годами всё более расширяющийся в свет – мир Айги.

*

...Да, я, безусловно, считаю, что современное состояние русской поэзии – катастрофическое без-Словие, недействие Слова, приостановленность («отложенность») движения поэтики по кардинальному пути. Оживление мертвого, в общем, языка поэзии «академическими» инъекциями или пост-футуристическими, пост-обериутским уколами <...> даст ему лишь отвлекающие возможности для «сегодняшне-завтрашнего» преходящего говорения. Надо искать свободный, совершенно новый язык сегодняшнего, качественно нового духовного сопротивления «современному искусству», занятого неполнотой человека, или его пустотой, или его отсутствием. <...> И вообще начало того языка, о котором я говорю, – у Зощенко, Мандельштама, Хармса, Платонова. И, пожалуй, более некого и вспомнить.

12 марта 1978

*

В стихах Айги⁴ имя-голос Мандельштама возникает не однажды. Это имя, этот голос он воспринимает как некую *опору*. Голос Мандельштама сплетается в сознании поэта с голосом, сквозь

¹ Из стихотворения Г. Айги «Утро в детстве» (1961).

² Г. Айги. Обыденность чуда (Встречи с Борисом Пастернаком. 1956–1958) // Разговор на расстоянии. СПб.: Лимбус-Пресс, 2001. С. 107.

³ А. Тарковский. Бедный рыбак (1957).

⁴ Имеется в виду семитомное Собрание сочинений Г. Айги (М.: Гилея, 2009).

который пульсирует настоящая – нас таящая – жизнь, явленная в словах: Поэзия с большой буквы. Сквозь свето-сгусток живого и зелёного – сквозь синицу, мелькающую то здесь, то там в стихах Айги, обнаруживает себя – обнажает себя – подлинное бытие.

...словно опорами в памяти фразы-двустипия
цепкого-мандельштамового) –

это живое зеленое
в белой метели Москвы¹...

*

Для Мандельштама внутренний голос его Поэзии, его *Бог Нахтигаль*² – щегол (в христианстве щегол – символ страстей /страданий/ Христовых; в некоторых переводах Библии упоминается птица, сорвавшая колючку с тернового венка Иисуса, после чего лоб Спасителя обагрился кровью, а вокруг глаз и клюва птицы появилось красное оперение; образ щегла довольно часто появляется на картинах эпохи Возрождения, например, у Рафаэля в «Мадонне со щеголом» /1506/). У Айги *Бог Нахтигаль* принял облик синицы. В скобках заметим, что в чувашском языке нет категории рода ни в существительных, ни в местоимениях, поэтому можно предположить, что хотя существительное *синица* в русском языке и женского рода, однако для Айги *синица* рода не имела. (Мы не говорим о правописании, а лишь о внутренней сути того явления, которое поэт видел – как в магическом кристалле – сквозь облик этой птицы). *Синица Поэзия*³ мелькает, скребётся в стихах Айги, вздрагивает, грустью расширяясь, *облако силы безвинной* в умном сердце его поэтического я. И невозможно ответить: *чей свет?* // *чья синица? чей щеголь?*⁴

*

Русский язык для Мандельштама, выросшего в многоязычной среде (вокруг него звучал немецкий, польский, русский, идиш, иврит), вызревал и развивался в нём как язык поэзии. Правда, по словам Надежды Яковлевны, в стихотворении «К немецкой речи» Мандельштаму важна была проблема «верности и измены: для него чужой язык, чужая поэзия, наслаждение чужой речью равно измене». Утверждение Н. Я. не кажется мне столь очевидным. В этом стихотворении именно по о – э з и я (*Бог Нахтигаль*), звучащая сквозь лирического героя, её *бунтующее, шипящее* слово, дают подлинное спокойствие поэту – в нём, в этом спокойствии он обретает силу. Другая культура, другая речь для Мандельштама это ещё одна возможность вслушаться в суть языка, в его мелос, услышать щёлкающий голос по э з и и – и быть разбуженным этим властным голосом, его *дружбой – как выстрелом* – быть разбуженным к творчеству, даже если стихи обретут судьбу «безязычия»⁵. Такая поэзия не умещалась в прокрустово ложе советского способа говорения – книги Мандельштама перестали издавать в советской России с 1930-х годов и до начала перестройки (где-то до середины 1980-х гг.). Но стихи ссыльного поэта, скончавшегося в 1938 году в лагерном подразделении Владперпункт⁶, удивительным образом ходили в самиздатовских списках и находили своего читателя. Через самиздат «Воронежские тетради» попали и к Айги.

¹ Из стихотворения Г. Айги «Промельк-синица: вместо письма» (1979).

² О. Мандельштам, из стихотворения «К немецкой речи» (1932); в переводе с нем. Nachtigall – соловей.

³ Из стихотворения Г. Айги «Есть где-то – А : “был”» (1979).

⁴ Из стихотворения Г. Айги «Утро в Переделкине» (1961).

⁵ Имеется в виду строка: «...иль вырви мне язык – он мне не нужен...».

⁶ Владперпункт (Владивостокский пересыльный пункт Дальстроя) – лагерное подразделение, действовавшее в структуре Севвостлага ГУ СДС «Дальстрой» ОГПУ – НКВД СССР.

*

Большую часть своей жизни Геннадий Айги жил в ситуации двуязычия: родной язык для него – чувашский (древний, с особым мелосом, морфологией), на котором он с юности писал стихи, а позже переводил на чувашский русскую и мировую поэзию. С 1960-х годов язык его собственных стихов – русский, авангардный по духу, вобравший в себя и европейский модернизм, и религиозно-философскую абстрагированность. Однако русское слово поэта сохранило в себе и древний накал – его особую магию. Возможно поэтому *Бог Нахтигаль* Айги глядит на нас умным глазом природы – [синицы], цепляя острыми коготками-строками сущности бытия и того неведомого, что озаряется пытливым умом сердца «за» бытием.

*

...«Да,
я
лежу
в земле»)... –

:

и ш е в е л я т с я
губы – свето-стуски
превосходя и зреньё
(как нечто «до» – при зарожденьи света!)
и все же ярко-есмы:

(и зримо-разрывающе: «Я – Есмы!»)...¹

Первый раз Мандельштам приходит в стихи Айги ещё в 1973 году («Окраина: тишина»). Болевая мысль поэта углубляется в оголённую суть мандельштамовских строк «Да, я лежу в земле, губами шевеля...», и в застенке-камере секундном (в телесном бытии человека) через свето-стуски слов, превосходящих зреньё, сверх-чувствие Айги возвещает о жизни – вечной жизни – в свете истины, когда станут явственно зрими все подлинные поэты. Стихотворение Мандельштама, как мы помним, заканчивается строкой: «...Покуда на земле последний жив невольник» с безусловной отсылкой к лермонтовскому «Погиб поэт! – невольник чести...», а через него – и к Пушкину. Так возникает живая цепочка, по которой движутся-пульсируют свето-стуски слов.

*

Постепенно тема *нищенства* в стихах Айги обретает всё более просветлённое, надмирное – н е – о т м и р н о е – звучание: *совместность их нищенская; светлое нищенство века; нищенство – тепло страдания; не пламя ли это незримое нищенства; увидеть бы вас / сутью нищенства.*

Нищенство, заключённое в болевую камеру-секунду человеческой жизни, – это и соединённость с миром людей, с миром их страдания и горя, но для Айги это и «...ориентация на человека в его сопряжённости с природой, с её неотменимой чудесностью»². Поэт не только верил, но и хотел «...свидетельствовать собой, что человек *не оторван* от природы»³. А такое возможно лишь в умалении себя, в смиренном и терпеливом приятии мира и человека и в доверии к тому, что больше человека и мира. Вспомним слова Айги к Веронике Лосской (от 9 июля 1980 года): «...пишу, стараясь быть не “активным”, – иное невозможно – с превышающим нас». Да, только так и только тогда *нищие* – смиренные – духом смогут обрести блаженство и познать, как *самоосвещаются вещи души.*

¹ Из стихотворения Г. Айги «Окраина: тишина (Памяти поэта)» (1973), с посвящением Н. Я. Мандельштам.

² Цитата из текста Г. Айги «Несколько абзацев о поэзии» (СС. Т. 4. Ш.: 2019); также на эту тему можно почитать и статью Т. Граз «Всё далее навстречу» (журнал «Интерпоэзия», 2020, № 2).

³ Там же.

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ:

«С ПОЭЗИЕЙ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ БЛАГОПОЛУЧНО»

Беседа с Борисом Кутенковым

Борис Кутенков: Узнав о выходе книги избранных стихотворений **Валерия Шубинского «Тёмная ночь» (М.: НЛО, 2020)**, я захотел на неё откликнуться. Но довольно быстро понял, что хочется не одностороннего отклика – а именно диалога. Во-первых, потому, что какие-то мысли о стихах Шубинского (в том числе и вошедших в новую книгу) я излагал семь лет назад¹, а на его книгу критических статей отзывался в позапрошлом году²; во-вторых, потому что наш сегодняшний собеседник – один из самых интересных людей в современной литературе, с которым я часто веду внутренний диалог и даже спор. Для меня он важен не только своими стихами и статьями, но и примирительной позицией, – что чувствуется хотя бы в фейсбучных дискуссиях, где его взвешенные слова среди баталий оказываются дорогими и ценными. Сегодняшний наш разговор – о неоднозначных сторонах этой «примирительности» и избегании «пакетного мышления»; о литературной традиции; и, конечно, о той книге, которая стала поводом для нашей встречи, её смыслах и работе с историческим нарративом.

Б.К.: Валерий Игоревич, Алла Горбунова в предисловии к книге пишет – мне кажется, весьма точно, – о Вашем «нежелании испытывать границы поэзии и выходить за её пределы. Многие сейчас в стихах пытаются сделать поэзию чем-то немножко другим, чем просто поэзия – политикой, философией, наукой, чем-то ещё. А Валерий в своих стихах всегда остаётся поэтом, причём сохраняя древнюю и отрицаемую многими нашими современниками сакральную ипостась поэзии как демиургии и посредничества между мирами...». Согласны ли Вы с ней? Действительно ли для Вас так важна «поэзия как она есть», в её исконно-демиургическом значении? Если да, вызывают ли у Вас недоверие тексты на грани документалистики, «новая» поэзия с её претензией на то, чтобы быть больше, чем поэзией?

В.Ш.: Всякие разговоры о том, что поэт может быть чем-то «большим, чем поэт», поэзия – чем-то «большим, чем поэзия», действительно кажутся мне нелепыми и оскорбительными для нашего ремесла. Не то чтобы поэзия была для меня объективно высшим занятием, достойным человека (об этом я знать не могу и не думаю), но это занятие не содержит в себе никакой недостаточности, никакой ущербности. В этом смысле нет ничего «большого», так как нет ничего, что нуждалось бы в дополнении. Поэзия не может быть инструментом политического действия, то есть она будет плохим, нефункциональным инструментом. Она не может быть средством выражения философских идей – у философии есть другой, собственный язык. Более того, поэзия не может быть качественным инструментом прямой коммуникации между людьми. Когда-то это было иначе: кабальеро отправлялся петь серенады не просто так, а в расчете, что дама сбросит ему веревочную лестницу, боевая песня вдохновляла солдат на бой, какой-нибудь Тит Лукреций Кар излагал гекзаметром свои философские идеи. Но культура в своем развитии привела к обособлению искусства, освоению его от всяких прикладных функций. В сущности, мы не знаем, зачем оно существует (я боюсь излишне высоких слов), мы только можем сказать, что в рамках нашего мира эта работа со словесными энергиями, с пространством и временем в языке более или менее афункциональна. Но она самодостаточна. Если ты выбрал этот путь, бессмысленно привязывать его к каким-то другим жизненным задачам. Это все равно что требовать от шахматной партии, чтобы она еще и помогала в военном деле или логистике.

¹ https://www.promegalit.ru/public/8675_boris_kutenkov_zh_polemika_do_sryva_o_knige_valerija_shubinskogo_vverkh_po_techeniju.html

² <http://textura.club/obzor-treh-knig/>

Это не значит, что философия, физиология или политика не могут быть материалом поэзии. Но именно материалом. В том наша работа, чтобы делать поэзию из всего. Извлекать, как сказали бы каббалисты, божественные искры из непроницаемого вещества. Напомню, что я написал вполне благожелательную рецензию на две книги Марии Малиновской, которая как раз занимается «документальной поэзией». Почему нет? Вопрос в том, что является целью работы. А материал может быть любым – роза и соловей, вагина и Навальный. И приемы могут быть любыми. Документалистика, коллаж – почему нет? Посмотрите, что из этого делает Сергей Завьялов!

Б.К.: Вы – как мне кажется – извлекаете искры из материала исторического. Когда-то, в рецензии на Вашу «Вверх по течению», я дал определение: «Валерий Шубинский – историк в стихах». Это кажется очевидным, но что за этим кроется? Что для Вас история (в значении Большого Нарратива), насколько обращение к прошлому (отражаемое и в названии новой книги – как отсылка к известной фронтовой песне) для Вас граничит с Вашей работой историка литературы – и насколько то и другое раскрывает те грани личности, которые представляются Вам значимыми?

В.Ш.: Собственно история как материал у меня присутствует в стихах довольно редко. В последней книге есть несколько стихотворений о Петербурге, о средневековой Англии – все это лишь повод для создания какого-то мифа, не более того. Есть еще память о недавнем прошлом в таких стихах, как «Темная ночь» или «Лемурии». Но это не Большой Нарратив, это семейные или почти семейные дела. Мне все-таки через две недели 56 лет, я этих фронтовиков видел и помню, когда они были моложе, чем я сейчас. Это все (история семьи, детство) – тема прозы, которую я закончил в этом году.

А время, его течение, жизнь человека во времени – это меня действительно очень волнует. Вы знаете, я в детстве любил гулять по кладбищам и читать даты на могилах. Сама мысль о том, что какой-нибудь Иванов Фёдор Сергеевич родился в 1898 году, а умер в 1962, например, как-то меня невероятно волновала. Я не знаю почему. Самый старый человек, которого я в своей жизни как-то знал, с которым разговаривал, был 1886 года рождения (коллега и старший друг моего деда). То есть он был ровесником Гумилева и Ходасевича, чьими биографиями я потом занимался. И он мог знать человека, помнящего войну с Наполеоном. Вот что всё это означает? Что такое история вообще? Я сейчас пишу книгу об этом для детей.

И, конечно, это тоже материал для поэзии. Поэзия вообще – на девять десятых работа с временем. Стихи либо фиксируют мир в состоянии покоя, либо в них что-то происходит. Но не всегда, наверное, читателю понятно, что именно происходит, это может быть скрыто. Именно потому, что время в стихотворении идет не так, как во внешнем по отношению к нему мире.

Б.К.: Многим запомнились Ваши слова: *«Хорошие стихи делятся на стихи “миростроительные”, где работа образов, метафор, ритма создает некую новую/иную реальность... и стихи “человеческие”, основанные на конкретном и прозаическом “посюстороннем” опыте. Мне лично несколько ближе первый тип поэзии, но второй объективно ничем его не хуже»*. Их цитирует и Алла Горбунова в предисловии (но я помнил и так). Как Вы пришли к такому разграничиванию стихотворений «миростроительных» и «человеческих»? Близки ли Вам были когда-то «человеческие»? Такая позиция для Вас – путь сложной и продолжительной эволюции или же она была присуща Вам издавна?

В.Ш.: Я бы не абсолютизировал это разграничение. Ведь если взять самые великие стихи – например, у Тютчева «Тени сизые сместились...» и «Вот иду я вдоль большой дороги», то мы видим, что результат один: достигнута некая победа над телесностью и временем, выход в некое абсолютное состояние. Но путь к этому состоянию различен. В обоих случаях все исходит из человеческого опыта, но в первом случае это опыт транса, перестраивающего мир, и видим уже результат этой трансформации. А во втором случае – просто опыт человеческой жизни, который поэту удалось почувствовать и осознать как универсальный. Это можно назвать по-буддийски: «малая колесница» и «большая колесница». Но результат один и тот же.

Почему мне несколько ближе первый путь? Это связано и с чертами моей личности (я не люблю изливать душу и испытываю стыд, неловкость, когда это делают другие), но и с опытом поколения.

Одним из наших печальных открытий в 1980-е годы было то, что наши драгоценные личности и наш личный опыт вне поэтического преображения никому особенно не интересны.

Но в «Темной ночи» есть и конкретно-автобиографические стихи. Например, про Пушкин (Царское село) моего детства. То есть это не принципиальный выбор.

Б.К.: Интересно, насколько автобиографично одно из стихотворений книги, ранее опубликованное в «Новом мире». «...а где хватит на полразговорца / там помянут его – жизнетворца», – говорите в нём Вы. Ошибётся ли критик, который увидит здесь историко-литературную позицию – как тонкое чувство момента, в котором «жизнетворчество» для поэзии неактуально? И, если да, то что актуально, по-вашему, вместо него? А ещё, если не секрет (и принимая во внимание, что стихи вообще-то не принято объяснять), для чего Вам понадобилась аллюзия на известную эпиграмму?

В.Ш.: Это неожиданное понимание. Но оно имеет право за существование. У меня было ощущение некой силы, тяготеющей над человеком и природой и такой же мощной и безжалостной, как сила тоталитарной диктатуры. Существования после смерти или между жизнью и смертью. Как вы помните, вероятно, Клайв Льюис в «Письмах Баламута» использовал образ диктаторского государства как метафору ада. Отсылка к Мандельштаму здесь, конечно, ироническая. Трагико-ироническая, я бы сказал.

Б.К.: Валерий Игоревич, в последнее время как-то активно зазвучало слово «метареализм» – под это определение, впрочем, подверстывают любую «сложность». Вы сами видите это течение как данность истории литературы – и как ветвь, безусловно плодотворную для современности? Сами Вы могли бы отнести себя к последователям метареализма?

В.Ш.: Метареализм был довольно эфемерной школой, существовавшей в конце 1970-х и в 1980-е годы и включавшей всего трех поэтов – Ивана Жданова, Александра Еременко и Алексея Парщикова. Поэты хорошие, но общего между ними немного. Странно, что об этой группе стали опять много говорить. У меня, конечно, нет с ней ничего общего. Я дебютировал позже, в Ленинграде и принадлежал, как, по-моему, более или менее общеизвестно, к группе «Камера хранения», вместе с Олегом Юрьевым, Ольгой Мартыновой и Дмитрием Заксом. Мы относились к третьему поколению ленинградского андеграунда, и у нас были свои непростые отношения с предшественниками. Мы и учились у них, и спорили с ними, и дружили. Особенно важна была дружба с Еленой Шварц. Вообще про двух людей я могу сказать, что они были великими поэтами и моими друзьями – про Шварц и Юрьева. И обоих уже нет.

Конечно, и метареалистов мы с интересом читали, и немного общались с ними. Многие ранние стихи Жданова я и сейчас люблю. Но их подход к поэзии был нам чужд, для нас это был какой-то бодрый комсомольский конструктивизм. Мы думали о сложной исторической жизни языка, о трагедии культуры, много о чем. У метареалистов все упиралось в самодовлеющий образ, хотя тоже, конечно, теоретически – на самом деле это были очень разные поэты с разными судьбами.

Б.К.: А что касается обэриутства – ошибусь ли я, если скажу, что эта традиция важна для Вас как для поэта? Ваши отношения с ней – скорее отталкивание или притяжение?

В.Ш.: Главные линии петербургской поэзии – мандельштамовская и обэриутская. Путь Мандельштама – от внятных и физически конкретных смыслов к дикой и непредсказуемой языковой стихии, путь Введенского – обратный. Хотя Гумилев говорил именно про Мандельштама, что тот идет от иррационального к рациональному, и противопоставил его в этом смысле Блоку.

Я генетически скорее вышел из мандельштамовской линии, так мне кажется и так я помню, но потом испытал достаточно сильное воздействие раннего Заболоцкого, Введенского, Хармса. Не на микроуровне, а на уровне структуры, пожалуй. А как историку литературы мне пришлось ими заниматься довольно много.

Б.К.: Вы в стихах – фиксатор состояния мира перед каким-то моментом, трансформирующим его существование, – причём сдержанный фиксатор: «Хористки, бандиты, солдаты / И бывшие чле-

ны бюро / Все едут и едут куда-то / В удобных и длинных вагонах метро»; «Одичавшая юшка и пыльная пена / Били катер о красный причал. / Вот таким был тот мир за полмига до срыва». Правильно ли я понимаю, что это бесстрастное фиксирование мира «за полмига до срыва» – часть Вашей историко-литературной работы, в том числе и в стихах, и эмоциональность тут неуместна (выше ведь Вы сказали, что не любите изливать душу)? Или страстность всё же есть, но именно взятая на себя роль «хранителя» её не подразумевает?

В.Ш.: Это допустимая интерпретация. В конце концов, поэт не всё знает про свои стихи. Но мне кажется, это не единственная у меня модель отношений со временем и миром. Например, в таких важных для меня стихах, как «Circus» и «Песня из слов», есть движение времени и изменение мира внутри текста. А, скажем, в «Осени в Чумном форте» и «Из-за реки», наоборот, выпадение в некое междумирье, где время остановилось. Чумной форт, кстати, действительно есть, он в Кронштадте, там находились в изоляции, на карантине матросы, у которых находили чуму. Но стихотворение, конечно – очень вольная фантазия. Метафора какого-то параллельного Петербурга, Петербурга мертвых, петербургской Нави.

Что касается бесстрастности, то я могу вспомнить только слова Пушкина – «не следует путать жар поэзии и жар лихорадки». Ну а касательно роли «хранителя»... Я могу еще раз напомнить название группы и проекта, к которому я имел отношение. Но это не пассивное хранение раз навсегда неизменного сокровища. Я не могу в этом смысле ничего говорить о себе, но Олег Юрьев и Ольга Мартынова вовсе не гладкописцы-пассеисты, а революционеры в поэзии, причем в очень разных направлениях. Именно неожиданность этих направлений иногда приводит к тому, что революционер кажется иногда несведущему наблюдателю консерватором. Так было с Мандельштамом, Ходасевичем. Изменение и развитие языка – условие хранения поэтического огня, в том числе в эпохи, которым огонь не нужен. Такие бывают. И нам самим в юности казалось, что мы живем в такую эпоху. Хотя на самом деле это была эпоха блестящего расцвета русской поэзии...

Б.К.: Тогда поделюсь ещё одной допустимой – надеюсь – интерпретацией. Вам – кажется мне – в стихах и в жизни свойственна примирительная позиция, учитывающая две стороны медали, но не переходящая в релятивизм. «...и сказано будет о нас, чего стоим, / в какой-то из них. Или нет». Для Вас эта позиция – итог продолжительного пути? Было ли когда-нибудь иначе – возможно ли представить Вас страстным, скандальным, настаивающим на единой точке зрения? Если да, каких ситуаций Вашей жизни это касается?

В.Ш.: А тут Вы меня удивили, потому что я сам всегда казался себе человеком достаточно конфликтным.

Б.К.: Неужели?!

В.Ш.: Мои статьи и книги часто вызывают и провоцируют споры, и не потому, что я этого хочу. Причем одни считают меня радикальным модернистом, другие – замшелым консерватором, для одних я ограниченный наследник ленинградского андеграунда, не видящий ничего другого, для других – предатель этого андеграунда. Я думаю, это связано именно с «учетом обеих сторон медали». Человек, который пытается посмотреть на вещи с двух разных сторон, не хочет ни с кем шагать в ногу и избегает «пакетного мышления», иногда выглядит в глазах обеих партий презренным двурушником, который пытается усидеть на двух стульях.

Со временем, конечно, многое меняется. В 1980–90-е годы я был во многом более нетерпим и радикален, и не только я. Тогда мне казалось, что та линия в петербургской поэзии, к которой принадлежу я и мои друзья, и линия таких поэтов, как Аркадий Драгомощенко и Александр Скидан, совершенно несовместимы. А сейчас Скидан – редактор моей новой книги, которому я за это благодарен, и я со своей стороны с большим интересом и удовольствием читаю его новую книгу, и чувствую, что, хотя, конечно, мы по-прежнему пишем по-разному, у нас есть и общее эстетическое пространство, и общее ощущение проблем, стоящих перед культурой и языком. Наверное, это общая судьба каждого поколения. Чтобы услышать друг друга, на каком-то этапе надо размежеваться, осознать свою отдельность.

Б.К.: Видите ли Вы традицию Валерия Шубинского в современной поэзии? Иными словами, сложились ли вокруг Вашей поэтики – однозначно узнаваемой – какой-то круг последователей, и, если да, кого бы Вы могли назвать в их числе? Что они перенимают у Вас – и что из этого Вам кажется плодотворным заимствованием, а по поводу чего Вы могли бы сказать словами пушкинского священника: «Живите хорошо, а мне – не подражайте»?

В.Ш.: Ни один поэт не может отследить свое влияние и не должен его отлеживать, это просто вредно. Но воздействие той линии в поэзии рубежа тысячелетий, с которой я себя соотношу, линии, условно говоря, петербургского неомодернизма, я вижу и считаю благотворным, потому что она позволяет реализоваться самым разным индивидуальностям.

Очень часто за эту четверть века возникло ощущение, что «все кончилось». Что наша эпоха в поэзии, начавшаяся в середине XX века, исчерпала себя, и что дальше будет что-то совершенно другое, нам чуждое и непонятное. Это возникает с каждым новым поколением – ощущение, что оно последнее, в котором у нас есть собеседники, а для тех, кто придет через пять лет, мы будем уже неинтересными мастодонтами. Но всякий раз этого не происходит, по крайней мере, до сих пор.

Например, на смену поколению Булатовского, Полякова, Степановой, Воденникова, Зельченко, Барсковой (она моложе по возрасту, но не по времени дебюта) пришло поколение Горбуновой, Бородина, Порвина, Беляева, Югай, Баженовой. Где-то в промежутке между этими поколениями Симонова, Сучкова, Боярских и уже ушедший, к сожалению, Иванів. Конечно, список в обоих случаях далеко для меня не исчерпывающ. И, конечно, в обоих поколениях есть другие линии – и постмодерн, и постсоветский традиционализм. Но все-таки меня самого сейчас поразило, сколько имен я смог назвать просто так, с налету, и как эти авторы географически диверсифицированы. Симферополь и Иркутск, Вологда и Тула... (И, кстати, я назвал поровну мужчин и женщин – честное слово, я не старался).

Мне кажется, важен диалог между поэтами, его возможность, которую открывает, в том числе, интернет. А кто на кого влияет... Все мы друг на друга влияем, и это прекрасно.

Б.К.: Вы – один из немногих профессиональных критиков, которые внимательно следят за так называемой «молодой» поэзией (хотя страшно не люблю это определение, но другого нет). А кто Вам интересен из современных двадцати- и тридцатилетних – может быть, не столь очевидных для так называемого «сообщества» – молодых поэтов, кроме названных?

В.Ш.: Проблема тут такая: поскольку поэтов сейчас очень много, иногда многие важные авторы попадают в сферу внимания данного читателя с опозданием. Да и слишком многое меняется с взрослением поколения. Кто не оправдывает ожиданий. А кто-то появляется словно ниоткуда. Например, всего несколько лет назад в центре внимания оказался Дмитрий Гаричев. Сегодня он один из наиболее признанных поэтов и прозаиков поколения тридцатилетних, и это, на мой взгляд, вполне заслуженно. Есть, конечно, еще несколько авторов, за чьим творчеством я с интересом слежу. Ксения Чарьева, Ростислав Амалин, Евгения Ульяновкина, Егана Джаббарова. Наталья Явлюхина, Денис Безносос – они постарше. Недавно открыл для себя Анну Гринка и Марию Гладдинову. Многого жду от Ростислава Ярцева, который давно уже умеет писать «просто хорошие» стихи, но сейчас, мне кажется, обретает собственный язык и голос (очень не хотелось бы ошибиться). Это все авторы, которым все-таки заметно больше двадцати (даже Ярцеву, которому, кажется, двадцать три), но, например, поэты группы «За стеной» действительно двадцатилетние. Так что все продолжается.

Может быть, произошло очень важное, исключительное событие – мягкий, без разрыва преемственности переход позднесоветской поэтической эпохи в другую, новую. Это не значит, что все так уж благополучно. С поэзией вообще никогда не бывает благополучно. Но у русских стихотворцев есть, я бы сказал, определенный диапазон возможностей, и общекультурных, и стилистических, и просодических. И это хорошо.

Владимир КОРКУНОВ

ВЫВЕРНУТАЯ ПЕРЧАТКА МИРА

Павел Кричевский. Над плечами минут.
– М.: ЛитГОСТ, 2021. – 58 с.

Стихам, как винам, черёд наступает не всегда. Иногда человек как вино – и *дозреть* должен именно он, а стихи придут вслед. Именно это – случай Павла Кричевского. Несколько десятилетий (!) он писал конвенциональные тексты, а на шестом десятке, поставивший *всего себя на кон* – перечеркнул себя – а точнее, свои тексты – прошлого.

Это смелый шаг – а я знаю, что Кричевскому пришлось столкнуться с непониманием и даже осуждением близких друзей. Так освобождение (а рифма и избитые темы/образы его очевидно сковывали) бьётся о взгляды тех, кто привык видеть узника в конвенциональных тисках.

Или ещё живого существа, сдавленного со всех сторон традициями, как в фильме Шьямалана «Таинственный лес».

Павел Кричевский совершает маленький подвиг *над собой*, перестраивая свой мир, оправдывая слово «своеобычный»: из *обычных* стихов он создаёт *свои*.

Необходимое условие – пусть и на шестом десятке лет. Особенно на шестом десятке. Это вызывает уважение – и робкую радость и гордость. Переход из конвенциональных куш в верлибр – зачастую и есть единственный путь для человека, который, отряхиваясь от чужих слов и образов (обычно застрявших на уровне Серебряного века или шестидесятников, ну хорошо, от Пастернака до Бродского), находит, наконец, свои.

Примеров немало: Ирина Котова, Мария Малиновская, Александра Шевченко, Андрей Костинский, Егор Мирный и т.д. Те, у кого получилось. Тех, у кого не вышло, – куда больше.

Рецензируемая книга – небольшая. Я бы сказал, удачно небольшая, потому что публиковать *все стихи*, случившиеся после личного обряда перехода, было бы ошибкой; всё же

язык автора пока неустойчив, и наряду со стереоскопично прописанными текстами, такими как «свет вянет по хрупкому лучу осени...» или «кода реквиема», в книгу помещены и не, скажем, совсем обязательные, вроде «кот норкин» или «фрагменты дневников первых колонистов Марса».

Книга нужна, чтобы зафиксировать изменения, произошедшие в авторе, стать отправной точкой для дальнейшей работы.

В текстах Кричевского объединён его прошлый опыт, новая техника, а главное – новое видение. Оптика и её регистры. В них множество выхваченных из мира наблюдений, флоры и фауны. Кажется, оппозиция «человек – природа» (а это путь по направлению «человек – мир») для него сегодня ключевая. А метафора, через неочевидные регистры которой просматривается мир, – основной троп.

свет вянет по хрупкому лучу осени
пчелы стали воспоминаниями
последних хризантем

ткнут нитями неслышимых запахов тело
ветра

кожа воздуха истончилась –
и если присмотреться
в каплях дождя спрятаны зародыши снега

или:

вода в озере становится гладкой
чувствительной
дышит пытается вернуть к жизни
отражения
давно нашедшие в ней покой имена
будущих жизней

дыхание воды тень ветра

Здесь не только отражения. Но и проникновение за грань неведомого, прорыв (в прямом смысле от «разорвать») в небо. Кричевский доводит приём *негатива* до абсурда (см. текст Хельги Олышванг «Я не ворон, я мельник...» –

отражение известного пушкинского текста), тем самым расширяя пространство слов.

Он и расширил – и разорвал узилище пространства, выйдя на павичевской оборотной стороне ветра наружу. И вот – с этой оборотной оптики и описывает то, чего касается взгляд/мысль. Здесь две основные оптические модели:

– отстранения от субъекта говорения:

...где воздух
уплотнившись в воду достиг черного
горизонта
он смотрит рыбам в зрачки и знает
о чем их молчание

– приближения к нему, через
(пере)воплощение в рассказчика:

когда нас унесло в море
в крошечной резиновой лодке
взятой у кого-то на плоском как ночь
без снов
утоптанном криками смехом плачем
городском пляже
унесло настолько что стало ясно
дороги назад не существует
даже в воспоминаниях скользящих
куда-то вниз
где должно быть дно но его конечно нет
когда мы поняли что смерть – это
всего лишь
капля небытия в этом море

Поэтика Кричевского строится на вычитании, личной форме минус-приёма: вначале он отказывается от рифмы, затем от пунктуации, после – от прописных букв. Освобождая и *очищая* текст. Видимо, это необходимая форма обнажения – и истончения, когда языку больше не нужно *проговаривать всё*.

В текстах Кричевского ещё чувствуется словесное излишество – но оно редуцируется, стёсывается чичибабинскими пунктирами; он оставляет мир без себя, как Чичибабин оставлял помидоры, и сам себя высылает из прошлого мира (заключения) в новый (свободы). Вот она, вывернутая перчатка ветра!

А вот предчувствие поэзии, что важно – данное в начале сборника:

рисуеть ночь
на тонком пергаменте сна

кляксы выпавших звезд –
тайнопись неба
о наших еще не прилетевших
днях

Длинных текстов в книге не так много, про одно («когда нас унесло в море...») мы коротко сказали, остановимся ещё на одном. Это: «Астронавта Армстронга похоронили на дне океана...» Оно апеллирует к известным строкам Виталия Пуханова: «Гагарин соврал лишь раз в жизни...» – но Кричевский опрокидывает меседж пухановского текста. Не просто декрализируя мысль *космос – это где-то рядом с Богом*, а помещая полёт к звёздам в декорации античной трагедии.

И это получается лучше, чем в недавнем фильме Йоргоса Лантимоса со схожей аналогией «Убийство священного оленя» (там олень Артемиды приравнен к отцу бога-героя, что, на мой взгляд, как минимум неубедительно).

жизнь Армстронга – вдох взлета и
выхода посадки
смерть Армстронга – прилив океана
и отлив

прилив <...>
видит изнанку отражений –
из чего сотканы движения и паузы
из чего соткан лунный свет в котором
он плыл
думая что идёт по твердой поверхности
Луны и Земле слов и мыслей

отлив
при чем здесь паузы? <...>
прилив
Армстронг сух изнутри <...>
где воздух
уплотнившись в воду достигает черного
горизонта
смотрит рыбам в зрачки и знает
о чем их молчание

Армстронг предстаёт в роли Бога, а явная театральная бутафория (приливы и отливы – конечно же, античный хор) снижают пафос текста.

Но главные стихи – о мире и – уже – о приходе, через которую происходит познание мира и себя. Практически из таких стихотворений составлена подборка Павла Кричевского в недавней «Артикуляции», чуть отстранённое (но не без главных интенций) получила публикация в «Цирке “Олимп”+TV» – я называю главные пока публикации Кричевского после трансформаций, произошедших с его поэтикой.

В книге есть и переводы – с английского и украинского языков. Первый – профессиональный язык Кричевского-педагога (тут уместно вспомнить о его победе на конкурсе Кембриджа и стажировке в Великобритании), второй – родной (автор родом из украинского города Сумы, но с начала 90-х живёт в Подмоскowie).

Константа, на которой держится сборник Павла Кричевского – мир изменён. Вопрос, возникающий у критика: приручен ли? Не произойдёт ли возвращение к себе прежнему, в условия комфорта и местечкового одобрения? Я думаю об этом сейчас и спрашивал себя, когда читал книгу и писал эту рецензию.

Демидур себя раз за разом переживает семь дней творения в попытках его приручить. Изучать других и бродить проторенными тропами – в этом нет ничего плохого. Но клубок поиска должен когда-нибудь привести к себе – дать возможность говорить собой, найденными словами, найденным миром.

Каждым текстом творения.

В каждый из бесконечно проживаемых дней.

Юрий РЫДКИН

ПОЭЗИЯ РАВНОВЕСИЯ

Александр Уланов. В месте здесь. – М.: Новое литературное обозрение, 2020. – 288 с. – (Серия «Письма русского путешественника»).

Жить в постоянном исчезновении
(А. Уланов. В месте здесь. С. 40)

Книга Александра Уланова «В месте здесь» – это поле взаимодействия и взаимозависимости двух свобод – эссеистической

и поэтической. И если первая отвечает за выбор рефлексивной материи, то вторая концентрирует её до состояния поэтического вещества. Непринуждённое изложение/движение таким образом переходит в обдумывание/торможение, чтобы продолжиться в другом направлении. Это (не)последовательная смена состояний сопряжена с неизбежными сдвигами и разрывами как в формально-содержательной структуре текста, так и в его синтаксической связности. В итоге повествующий субъект вытесняется процессами, запущенными им самим, низводится до подразумеваемого. Процессуальное повествование превращается в орнаментальное письмо, красота которого в едва видимой мелодии узора.

Первая часть книги называется «В()месте». Она представляет собой своего рода художественную экскурсию по ряду европейских городов, путешествие посредством поэтического текста, детальную и скрупулёзную регистрацию проявлений живой и неживой природы, достопримечательностей реальных и воображаемых. Места с разными культурными телами связаны между собой уникальной авторской оптикой. Одно и то же слово или вербальный конструкт, употребляемый в описании сразу нескольких городов, меняет свои содержательные и художественные свойства с каждой новой географией. Читая первую часть книги, ты словно видишь живописно выполненную операторскую работу. И если в качестве эксперимента сопоставить друг с другом отрывок из книги и кусок закадрового текста из фильма «В прошлом году в Мариенбаде»¹, то смысловой/стилевой переход от первого ко второму будет практически незаметен:

Дома из лоскутов. Стены, в темноте углублений несущие память подходивших к ним этажей и крыш. Память заложённых окон и надстроенных арок. Входы в исчезающие здания. Двери в никуда на высоте третьего этажа. Загорелые тела домов, лишившихся мраморных тог (С. 12).

В этой постройке века иного, в этой огромной, роскошной, барочной гостинице – мрачной,

¹Режиссер Ален Рене, сценарист Ален Роб-Грийе. 1961 год.

где нескончаемые коридоры сменяются коридорами – безмолвными, пустынными, перегруженными сумрачным холодным убранством: деревянные панели, гипс, лепнина, мрамор, чёрные зеркала, картины в чёрных тонах, колонны, резные обрамления дверей, анфилады дверей, галерей, поперечных коридоров, приводящих, в свой черёд, к пустынным гостиним, гостиним, перегруженным убранством века иного.

Если довести до конца сравнение книги с предложенным фильмом, то в кино субъект «путешествует», не выходя из замка, а в книге – не выходя из себя. И замок, и субъект книги являются хранилищем мирового культурного наследия, которое требует перечисления, повторения и упорядочивания. Но при этом сценарный шизизм Роб-Грийе транслирует увядание, а неодушевлённость вещей/предметов/строев/достопримечательностей Уланова, наоборот, витальна за счёт поэтической парадоксальности умозаключений автора, не позволяющего монотонности перейти в сонность: *Держать в руках собственный сон* (С. 83).

Первая часть книги в основе своей написана лапидарными предложениями. Автор словно предлагает им ветвиться не в тексте, а в читательском воображении/мышлении/домысливании. Она требует для себя разных подходов, именно во множестве способов прочтения или, тоньше, восприятия эта часть книги не только обретает масштаб художественной сложности, но и, как ни странно, целостность или, радикальнее, себя. Вот лишь несколько интересных оптик, с которыми можно подходить к читательскому/критическому исследованию первой половины книги:

Идея бессмертия Вадима Руднева. Суть: если допустить, что время нашей реальности течёт в соответствии со Вторым законом термодинамики (согласно которому любые процессы ведут к необратимому увеличению энтропии/беспорядка/хаоса/антиинформативности/смерти), то время текста как информационно упорядоченного объекта течёт в сторону, противоположную вектору энтропийной реальности, движется вопреки разрушительной смерти¹.

¹ Руднев В. П. «Идея бессмертия в культуре заключается в том, чтобы постоянно глушить энтропию»: Вадим Руднев о моделях времени

Тексты Уланова являются ярким подтверждением этой идеи, поскольку они представляют собой художественное картографирование/упорядочивание географических и культурных феноменов и в этом смысле плодят бессмертие: *Время – на границе неподвижного порядка и беспорядка* (С. 12).

Одновременность. Это понятие притягивает к себе множество теорий – от научных до фантазмагорических. Впрочем, здесь нет противоречия. Учитывая географическую основу текстов (первой части книги) Уланова, для наглядного объяснения заявленного понятия лучше всего использовать следующую метафору. Представим себе карту (текст) той или иной местности, по которой ползёт муравей (герой, говорящий). Так вот для муравья пройденный им путь остаётся в прошлом, каждый шаг делается в настоящем, а горизонт ждёт в будущем. Но для наблюдателя (читателя), который сверху смотрит на всю карту целиком, прошлое, настоящее и будущее муравья существуют одновременно, а значит, без начала и конца, как бы всегда, без смерти. В этом смысле тексты Уланова заставляют читателя подняться над ними и объять их в памяти целиком как нарративные острова бессмертия.

Цепь отрицаний Михаила Эпштейна. Здесь речь идёт об утверждении посредством отрицания, о негационной легитимации оригинального существования, о вселенной как совокупности бесконечных отрицаний, каждое из которых как раз и подтверждает уникальность отрицаемого: белое отрицает чёрное, чёрное отрицает красное, красное отрицает жёлтое, etc².

На примере текста «Возможно возможны (Венеция)» отчётливо видно, как работает эта теория и как череда инополаганий утверждает существование противоположного/другого/подразумеваемого:

Ни суша, ни море <...> ни улиц, ни каналов <...> для воды, не для воздуха <...> воды, не царя

(интервью Фуркату Палванзаде). Т&Р, 2015. (<https://theoryandpractice.ru/posts/7481-rudnev>).

²Эпштейн М. Н. Двойное небытие и мужество быть. К философии неустойчивого вакуума. Вопросы философии. 2013. № 4.

<...> стены не берега <...> стоящая ни на чем <...> быть не собой, не быть <...> Не площади, а поля <...> не столько для выхода дыма, сколько для вливания в дом неба <...> не воздух, а обман <...> не стенной, а валунами <...> ни колес, ни даже копыт (С. 15–19).

И поскольку поэтика Уланова снимает разницу между объектами и субъектами, то к его текстам применимо и высказывание Мориса Бланшо: «Существо стремится не к признанию, а к оспариванию для того, чтобы существовать, оно обращается к другому существу, которое оспаривает и нередко отрицает его с тем, чтобы оно начинало существовать лишь в условиях этого отрицания»¹.

Многовариантность. Это понятие тоже имеет массу интерпретаций как в научной среде, так и в смежных, поэтому будет правильным показать художественное воплощение этого понятия на примере отрывка из текста с красноречивым названием «Варианты (Гент)»:

Девушка, на которой только лента на лбу и ботинки, загорает на остатках деревянного причала. Другая спокойно летит рядом с космонавтом, и ей не только скафандра, вообще никакой одежды не нужно (С. 36).

Закольцованность. Вадим Руднев включает данное понятие в «мифологическую модель времени»². Она довольно проста: условная стрела времени закручивается и замыкается в круг, а всё сущее, таким образом, воскресает после смерти и продолжает жить вновь.

Давайте сравним отрывок из Евангелия и отрывок из текста «Регенсбург», чтобы проследить, как они перекликаются в пределах заданной модели:

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода³.

*Дерево, высохнув, стало лицами, руками, ко-
стями домов (С. 20).*

¹ Бланшо М. Неописуемое сообщество / Пер. с фр. Ю. Стефанова. М.: МФФ, 1998.

² Руднев В. П. Там же.

³ Евангелие от Иоанна, гл. 12, ст. 24.

Уланов открывает нам мир в его непрерывной стихийной гибридизации и художественной динамике, где камень – это медиум (С. 23), время – попутчик (С. 13), а текст о российских городах не скрывает избыточного напряжения (С. 92–93). Автор размышляет о вере, о свободе, об одиночестве, о печали, об искусстве и о многом другом, но нигде не позволяет собственному умозаключению затвердеть в категоричности.

Вторая книжная часть «Здесь» состоит из четырёх глав с говорящими названиями и представляет собой эпистолярный диалог двух влюблённых, современных Одиссея и Пенелопы, которые крайне редко встречаются вне компьютерной сети, поскольку профессиональная деятельность обоих связана с постоянными поездками в разные точки мира. Обоюдная занятость делами и собой лишает мужчину и женщину возможности видеться регулярно. Тем не менее они лелеют и защищают разделяющую их дистанцию как то, что сохраняет связь между ними, как то, что препятствует *стиранию друг о друга* (С. 190). Любовь пары к расстоянию (пространству-времени) и его способности говорить воображением – не меньше, чем друг к другу. Их диалог есть весы, где обе чаши не позволяют одна одной возвыситься или унизиться, поэтому между ними сохраняется равновесие более-менее спокойной, ясной и, как итог, стабильной коммуникации без «избыточных потенциалов». Виртуальное общение этих влюблённых есть вдумчивая и чувственная беседа их внутренних миров, в которых скорости и ставки не так высоки, как в суете мира внешнего. Чем больше влюблённые предоставляют друг другу «знаки своей занятости <...> образ тела в ситуации»⁴, тем сильнее они завораживают один одного. Их диалог напоминает причудливую карточную игру: если фраза бита, то это признак «сходства, согласия и близости»⁵. Эпистолярные тексты пары есть не что иное, как графическая фиксация всегда ускользающих и неуловимых моментов здесь-и-сейчас. Из-за внезапной болезни женщины влюблённые утрачивают дистанцию и обретают близость, которая увеличивает

⁴Барт Р. Фрагменты речи влюблённого. М.: Ad Marginem, 2002.

⁵ Там же.

силу трения между ними, надрывая хранимую любовную связь. Картина предстаёт ещё более тяжёлой и сложной, если допустить (а это предположение здесь не исключено), что мужской субъект ведёт эпистолярный диалог с самой собой, буквально со своей второй половиной – вторым Я:

С кем быть – с тобой или с тобой? Вопрос нерешаемый. Потому что с тобой будет не хватать тебя, а с тобой – тебя. И если я буду с тобой, то печальнее будет тебе, а если с тобой – то тебе (С. 108).

В книге Александра Уланова «В месте здесь» поэзия возникает из способности автора удерживать текст в равновесии, только в таком состоянии все его элементы в полной мере проявляют себя во всей своей спокойной уникальности и художественности, когда каждый субъект/объект одинаково весом и значим для культурной картины мира, несмотря на множество и разнообразие его красок.

P.S. Чем глубже я погружался во вторую часть книги, в текстуальное вещество эпистолярного диалога, тем яснее понимал, как же сильно он похож на переписку Аркадия Драгомощенко и Маргариты Меклиной¹, похож взаимноуважением, рассуждениями, трепетным отношением друг к другу, боязнью потерять связь...

Алексей МОШКОВ

«БОЖЕ, ПРЕКРАСЕН ТВОЙ МИР»

Максим Матковский. Бельё землян. – М.: Стеклограф, 2019. – 58 с.

С точки зрения классической поэзии (даже в ее самом современном, демократичном варианте), тексты Матковского не имеют к оной никакого отношения. Ну совершенно никакого.

¹ Драгомощенко А. Т., Меклина М. М. Год на право переписки. Эпистолярный роман. Lulu-Press, 2008. (<http://kolonna.mitin.com/books/drag&meklina/letters.shtml>)

Не спасает и деление на строки (отмечать отсутствие рифмы будет уже откровенным моветоном): приращение смысла не наблюдается ни под лупой, ни под микроскопом (возможно, нужна более мощная оптика?).

Уж скорее здесь напрашивается сравнение с Даниилом Хармсом, тем более что семантически линии преемственности налицо. Так, может, на сем и успокоиться – на том, что это прозаические тексты?

Однако отнести их к прозе (что-то наподобие японского дзуйхицу на отечественный манер – вроде лимоновского «Дневника неудачника»), даже перенабрав/переписав по ширине страницы, не выходит при всем желании (так, «запись прозой» нисколько не мешала издателю текстов Анри Мишо считать их стихами, даже несмотря на то, что сам поэт их таковыми не считал!²).

К слову, сам автор свои тексты полагает именно за стихи: «Одному парню нравились некоторые мои стихи», – пишет он. Более того, как следует дальше из текста, в принадлежности к славному/проклятому роду художников сомнений у него никаких нет: «Слышишь, Деня? /хватит уже, если ты уважаешь меня, как поэта – / то хватит».

И как-то не очень красиво и абсолютно излишне кокетничает с читателем, как бы стараясь проговорить/утвердить свой статус, чтобы даже намек на скепсис в отношении рода его деятельности (или возьмем выше: призвания?) – не оставалось:

Если бы я не писал стихов,
но читал бы свои стихи, которые бы
написал кто-то другой,
то стихи бы эти мне обязательно нравились.

(«Если бы я не писал стихов...»)

Так, возможно, все дело именно в этом? Вот они – плоды революции Дюшана?!

И снова – мимо: удали из книги Матковского все его определения своих творений как стихов, а его самого – как поэта – это ничего не меняет. Стихами от этого его тексты не перестают быть.

² Анри Мишо. Портрет А./ Сост. О. Кустовой, А. Поповой. СПб.: Симпозиум, 2004.

На это указывает, прежде всего, сама структура высказывания, в которой, по определению поэзии Жана Козна, «блокируется всякая возможность отрицания»¹ (допустим, появление умершего родственника лирического героя, в котором, по всей видимости, угадывается alter ego автора, не вызывает недоумения, но воспринимается как факт художественной реальности). Затем – синтаксис, присущий именно поэтическому языку, и с формальной стороны позволяющий отнести тот или иной текст к *поэтическому* (в частности, риторические фигуры и тропы, проще – приемы). И обратная сторона синтаксиса – Смысл (именно с заглавной буквы!) высказывания, четкий, как цель военной спецоперации, и одновременно недостижимый, как линия горизонта. Смысл не столько заложенный, как посыл в пропагандистском спиче, сколько вырастающий из текста; часто неоднозначный, колеблющийся, как пламя свечи под натиском озорного или, наоборот, зловещего ветра; меняющийся от взглядов (философских, идеологических) и времени; то сужающийся до точки, то расширяющийся до масштабов вселенной. Иными словами – душа стихотворения.

И вот если с первым мы уже определились, то на двуликом Янусе «формы-содержания» («тела и души») стоит остановиться подробнее.

И первое, что бросается в глаза при чтении стихов Матковского – это его склонность к фантастике, если не сказать – абсурду. И в этом плане поэт довольно прилежно следует в направлении, заданном уже вышеупомянутым Хармсом и вообще обэриутами – вплоть до образности и «семантических скреп» – сакральных символов/атрибутов, одним из которых, например, у приверженцев реального искусства был шкаф, точнее, шкап. «Искусство – это шкап» – таким был один из лозунгов обэриутов. «Я услышал, дверь и шкап / сказали ясно...», – писал Александр Введенский («Гость на коне»). Ну и как не вспомнить их знаменитое появление на сцене, когда несколько участников объединения толкали шкаф, на котором восседал сам Даниил!

В стихах Матковского шкаф появляется не раз, причем он является своеобразным порталом, связующим мир живых с миром мертвых: «...я и так у неё каждый день, / то под кроватью,

то в шкафу, / или за ногу в душевой схвачу», – «цитирует» автор «одного парня», выбросившегося из окна («Одному парню нравились некоторые мои стихи...»).

Или вот еще пример, более красноречивый:

Она позвала меня на день рождения,
я погладил рубашку, подарок купил
и пришёл.

Она сидела одна и плакала:
он бросил меня, представляешь? В мой
день рождения!

Я сказал, что ничего, так бывает,
вот мой дедушка, например, умер,
когда я получил повышение.
При чём здесь твой дедушка?! спросила она,
у меня день рождения!

Я сказал: вот подарок, держи,
она сказала спасибо и начала
разворачивать.

Это специальная сковорода для блинов,
сказал я,

мой дедушка обожал блины.
Да при чём здесь твой дедушка?
спросила она.

Эй, дедушка, заходи! позвал я

и шкаф со скрипом открылся.

И вместе с ним – творческий метод поэта – совмещение несовместимого, их столкновение, из которого(-ых) и вырастает Смысл.

И, дедушка, в стране вообще сейчас
такое происходит,
лучше заberi меня в свои края!

– В ад? – спросил дедушка.

В ад, ответил я, у вас там, наверное, жара,
и электричество дешёвое...

(«Возле супермаркета покойного дедушку
встретил...»)

Говорить нам о методе в данном случае позволяет то обстоятельство, что этим приемом (условно: антиномия) поэт пользуется не только, когда речь заводит его в пограничье/

¹ Мишель Уэльбек. Человечество, стадия 2. М.: Иностранка, 2011.

инобытие, где фактами нашей действительности становятся и мертвый дедушка, и бабушка-циклоп, питающаяся человечниной, и женщина, поддерживающая инопланетную оккупацию и даже ухаживающая в госпитале за ранеными инопланетными существами и, по всей видимости, сама являющаяся представительницей внеземной расы, и много еще кто, но и тогда, когда происходящее в тексте ограничивается сугубо рамками объективной реальности. Допустим, история про то, как знакомая удалила лирического героя из друзей в социальной сети, и именно это стало причиной его болезни:

И прохожие на улице мне твердили:
 смирись,
 ты удалён, живи, как живётся, забудь её.
 А я не мог – похудел, по всему телу сыпь,
 слабость в ногах, и температура –
 тогда я пошёл к врачу, он сказал: всё
 понятно,
 типичный случай, она удалила тебя
 из друзей.
 Извини, дружище, это смертельно,
 остался месяц,
 по самым оптимистичным прогнозам.
 Сегодня, похоже, мой последний день,
 если ты это читаешь, дорогая,
 добавь же меня скорей!
 («Страшный сон приснился...»)

(По всеобщему помешательству на соцсетях, которое стало частью нашей жизни, Матковский проходит крепко и не раз).

Или как поэт обыгрывает житейскую практику некоторых прагматичных особ, которые, попав в места, превышающие по качеству жизни их собственные, перетаскивают – или, по крайней мере, пытаются – туда же и всех своих родичей:

Ты сказала:
 боже, у тебя дома есть ванна!
 У нас дома ванны нет, и горячей воды нет...
 Можно я у тебякупаюсь?
 Я сказал, что, конечно, давай.
 И ты начала купаться,
 много горячей воды, много пены,
 и много шампуня,

и всю соль морскую только тебе.
 Длилось это пять дней.
 Я зашёл посмотреть, не стало ли тебе дурно
 от горячей воды?

А там сидели твои дяди и тётки,
 далёкие родственники приехали
 из Владивостока,
 и родители, бабушка с дедушкой, друзья...
 Всех, всех в ванну ты пригласила,
 кроме меня.

Я начал раздеваться,
 но все кричали: ужас, ты в извращенца
 влюблена!

К чести поэта надо сказать, что он не только критикует наш погрязший в ложных ценностях мир, не только выворачивает наизнанку те или иные феномены социальной реальности, тем самым во всей красе демонстрируя их абсурдность, но и дает положительный идеал: «А рядом было море, горы и прекрасные растения. / Творец, создавший их, взирал на меня и думал: / ну ты, Володя, и придурок», – так Матковский заканчивает стихотворение, в котором девушка упрямивает лирического героя отвести ее в бар, где продают коктейли два по цене одного.

Ну да, здесь трудно не согласиться
 с творцом.

Вообще же, Матковского немного с натяжкой, но все же можно отнести к современным стоикам за его прославление/стремление к простой, незамысловатой жизни:

Я иду по коридору,
 коридор наш невелик,

Тут дорожка, обувь, щетка,
 зонтик на крючке висит.

Каждой вещи рад я,
 обращаюсь к тумбочке
 на «вы».

Захожу тихонько в спальню,
 там кровать, подушка, простынь,
 женщина лежит.

Засыпаю хорошо, просыпаюсь хорошо,
чай горячий на плите,
масло с хлебом и немного соли,
кошка, миска, молоко.

Господи, спасибо, жизнь прекрасна,
ну, а больше грех просить.

На что тут стоит обратить внимание: в тексте не ощущается иронии (каковая, допустим, проскальзывает в тематически близком «Много работал, копейку копил...»: «Рак-отшельник, /хочу быть, как ты, / рак-отшельник, я тебя полюбил, / боже, прекрасен твой мир»), хотя теоретически присутствовать она должна бы: Матковский пользуется ей довольно часто. И это говорит о том, что поэт взаправду, искренне ратует за эту идею.

Но вот это его и подводит: какое-то неумное желание донести мысль – что оборачивается чудовищной прямоотой его message. Матковский столь прямолинеен, что впадает в откровенную дидактику (и через критику – включительно) и проговаривание совершенных банальностей, а где оные – там, как известно, нет поэзии, ибо в ее функции не входит ни исправление нравов, ни морализаторство.

И это просто катастрофически девальвирует эстетическую, поэтическую значимость текстов Матковского. Ну, не был бы уж автор таким завзятым любителем лобовых атак! – так и хочется воскликнуть. Но – увы. В сокровищницу свободного стиха книга не попадет.

Тем не менее стоит отметить два момента, на которые пусть и косвенно, но вполне однозначно указывают (либо, как вариант: о которых свидетельствуют) тексты Матковского. Первый – это неоспоримая эволюция русского верлибра: уже не поиск путей, но самостоятельное развитие жанра, демонстрирующее его разнонаправленность и до сих пор не израсходованный потенциал (так, если Оксана Васякина в «Ветре ярости» за точку отсчета берет – по крайней мере, это так видится – уитменовскую линию, то Матковский отталкивается от опытов Мишо, Хармса, обэриутов и, пожалуй, русских концептуалистов, прежде всего – Пригова).

Второй, в особенности если брать верлибр, – это такая планомерная тенденция, которую, в принципе, можно было бы определить как движение к истоку, к некоей точке поэтический син-

гулярности (прежде всего – за счет редукции, отсеечения таких формальных признаков – элементов культурного кода! – принадлежности к поэтическому, как рифма, ритм и проч.), основе поэзии как таковой и, в конечном счете, ответу на вопрос: что делает стихи стихами?

Может, ответ уже содержится в формулах Дюшана? Хотелось бы верить, что нет. И книга Матковского, как ни странно, укрепляет эту веру.

Елена ЕЛИНА

«В АМФОРЕ, ЯРКО РАСЦВЕЩЕННОЙ...»

Монахов С.Ю., Кузнецова Е.В., Толстиков В.П., Чурекова Н.Б. Амфоры VI–I вв. до н.э. из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – Саратов, 2020. – 218 с.

Кто не знает, что такое амфора... Да все знают, что это красивый двуручный сосуд для вина, что делали его древние греки и римляне, что в более поздние эпохи она стала предметом интереса и что своей пластичной амфора напоминает гибкий стан прекрасной девушки.

Если взглянуть на амфору с лингвистических позиций, это слово окажется древнегреческого происхождения, означающее нечто, что следует нести с двух сторон. Известно также, что слово «амфора» позволяет произносить с ударением на первый слог – *амфора* и на второй – *амфо́ра*. В русской поэтической традиции принят был второй вариант. Вот почему стихотворение Федора Сологуба «Амфора» звучит так торжественно и возвышенно:

В амфо́ре, ярко расцвещённой,
Угрюмый раб несет вино.
Неровен путь неосвещённый,
А в небесах уже темно, –
И напряжёнными глазами
Он зорко смотрит в полутьму,
Чтоб через край вино струями
Не пролилось на грудь ему...

Интернет-энциклопедия Вики-2¹ дает кратко, но вполне внятно информацию об амфорах – о том, как они выглядели, из чего делались, что в них могло храниться, кроме вина, чем отличались греческие амфоры от привезенных из Этрурии или Финикии. Подчеркивается важная деталь: амфоры использовались для транспортировки жидкостей. Так вот в этой доступной каждому энциклопедии названо всего лишь две фамилии наиболее известных специалистов в области изучения амфор – это немецкий археолог Генрих Дрессель и российский ученый Сергей Монахов.

Заведующий кафедрой истории древнего мира Саратовского национального исследовательского государственного университета профессор С.Ю. Монахов – создатель и директор университетского Института археологии и культурного наследия. В составе института работает небольшой, но наполненный собственноручно найденными во время научных экспедиций артефактами и современными интерактивными чудесами археологический музей. Получается, что один из двух знаменитых «амфороведов» мира всю свою жизнь связал с Саратовом и Саратовским университетом. Автор множества книг и статей, С.Ю. Монахов со своей группой в последние пять лет занимается важной и благородной работой по составлению каталогов, в которых описываются и регистрируются амфоры, находящиеся в музейных коллекциях нашей страны.

Даже человек, далекий от исторической науки и археологии, понимает, с какой целью ищут и описывают эти уникальные, созданные руками изощренных мастеров прекрасные сосуды. Они нужны не только для того, чтобы насладиться их красотой и эстетическим совершенством, что само по себе уже кажется важным. Амфоры, материал, из которого они сделаны, клеймо, которое на них сохранилось, и еще масса понятных только специалисту подробностей – все это дает вполне точные и достоверные ответы на множество исторических вопросов. Амфоры рассказывают, где и как были расположены территории заселения, где проходили пути передвижения товаров, как формирова-

лась культура эпохи, какие традиции поддерживались той или иной народностью.

В 2016 году вышел первый такой каталог, посвященный амфорам VI–II веков до нашей эры из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Обращение именно к этим амфорам было знаковым для научной группы – со студенческих лет С.Ю. Монахов участвовал в археологических экспедициях в Крыму, а затем возглавлял эту работу, выезжая на раскопки со студентами и коллегами. Именно в работе над этим каталогом сложились исследовательские и публикаторские принципы монаховской амфорологии.

В 2017 году появился каталог, посвященный амфорам V–II века до нашей эры из собрания историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». В 2019 году каталог был посвящен амфорной коллекции VI–II до нашей эры из собрания государственного Эрмитажа. Этот каталог-определитель включает 300 целых и фрагментированных амфор. Продолжая принятую в предыдущих книгах маркировку сосудов, авторы уточнили и расширили количество параметров, характеризующих музейные экспонаты. Стала богаче и красочнее иллюстративная часть издания.

Совсем недавно, в 2020 году, на свет появилась очередная грандиозная работа саратовских историков. Свой каталог они посвятили амфорам VI–I веков до нашей эры из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В этом издании все описания переведены на английский язык, и такое двуязычие комментариев к каждому сосуду расширяет круг заинтересованных читателей. Все книги серии снабжены подробными приложениями, включающими библиографический список, указатель географических названий, именной указатель, указатель греческих имен магистратов (местной власти) и фабрикантов.

Прежде, чем вынести на суд публики свои уникальные альбомы-каталоги, группа Монахова разработала обоснованные и полноценные типологические и хронологические классификации керамической тары древних эпох. Классификация амфор рассматривается Монаховым как инструмент, помогающий максимально точно различить исторические периоды. При поддержке Российского гуманитарного науч-

¹ <https://wiki2.org/ru/Амфора>

ного фонда (РГНФ), затем Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), затем (после преобразования научных фондов) – Российского научного фонда (РНФ) коллектив авторов выявил целый ряд количественных и качественных признаков, позволяющих установить место производства каждой амфоры и ее специфику.

Что удалось выявить и описать, расположив этот интереснейший материал рядом с фотографией амфоры, ее чертежом и чертежом ее отдельных фрагментов? Это так называемое описание морфологии сосуда: глины и системы орнаментации. Определяется емкость, даются размерные характеристики, указывается происхождение сосуда, место и год его находки, приводится расшифровка клейма. Подробнейшее техническое и историческое описание каждого сосуда сопровождается большими текстовыми разделами, посвященными истории археологических находок в том или ином регионе, обозначаются вехи в локализации амфор, даются очерки основных исторических комплексов. В общей сложности в четырех книгах даны портреты и описания 870 амфор.

Разглядывая книги, не перестаешь удивляться разнообразию, творческой выдумке и искусности древних мастеров. Ведь оснащение керамических мастерских было предельно простым: гончарный круг и печь для обжига. При этом античные мастера – создатели амфор обеспечивали ими весь известный к тому времени мир. Углубляешься в древнюю историю и понимаешь, что настоящему искусству важнее творец, художник, чем приспособления для его творчества.

Понимаешь и правоту О. Мандельштама, утверждавшего отсутствие прогресса в литературе. Он писал: «Теория прогресса в литературе – самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества. Литературные формы сменяются, одни формы уступают место другим. Но каждая смена, каждое такое приобретение сопровождается утратой, потерей. Никакого

“лучше”, никакого прогресса в литературе быть не может, хотя бы потому, что нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать»¹. Не только в литературе, как доказывают авторы книг-каталогов, но и в искусстве вообще. Совершенные по форме и орнаменту, античные амфоры являются результатом не только творческого процесса. Чтобы сделать такой сосуд, необходимо было владеть законами геометрии и физики, обладать пространственным мышлением и знать законы пластических искусств.

Превосходно изданные в соответствии с самыми взыскательными требованиями современной полиграфии книги увидели свет в Саратове. КATALOGИ альбомного формата, альбомной фактуры и качества предназначены в первую очередь специалистам – археологам и искусствоведам. Между тем они исключительно интересны и широкой публике, имеющей склонность к историческим исследованиям и музейным коллекциям.

Научные каталоги, стоящие в одном ряду с такими основополагающими для гуманитаристики науками, как библиография, источниковедение, текстология – тот самый черный хлеб науки, без которого не формируется и не встает на ноги ни одно настоящее научное открытие. Наверное, поэтому в ученых кругах людей, профессионально занимающихся кропотливым каждодневным, порой монотонным, но исключительно важным трудом, считают настоящими подвижниками. И вот их список – тех, кто продолжает свою неустанную работу по созданию каталогов, описывающих уникальные творения – древние амфоры: С.Ю. Монахов, Е.В. Кузнецова, В.П. Толстиков, Н.Ф. Федосеев, Д.Е. Чистов, Н.Б. Чурекова при участии других саратовских историков, чьи имена значатся в предисловии.

¹ Мандельштам О. О природе слова // О. Мандельштам. Слова и культура. М.: Сов. писатель, 1987. С. 57.

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 15 февраля 2021 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.